Бойцы моей земли: встречи и раздумья

Владимир Иванович Федоров

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

У поэта и прозаика Владимира Федорова счастливая творческая судьба. Ему довелось непосредственно общаться со многими мастерами советской литературы. Впечатления от встреч с ними и раздумья над их произведениями легли в книгу «Бойцы моей земли». Книга состоит из четырех разделов. В «Памятных встречах» — лаконичные и эмоциональные новеллы о М. Шолохове, Ал. Прокофьеве, А. Фадееве, Н. Тихонове, М. Исаковском, А. Твардовском, В. Инбер, Б. Ромашове, В. Овечкине, С. Борзенко, С. Смирнове, А. Макарове и других.

В «Портретах товарищей по перу» читатель найдет биографические штрихи и раздумья над творчеством Г. Маркова, С. Сартакова, В. Закруткина, С. Михалкова, В. Кочетова, А. Софронова, Н. Грибачева, Л. Жарикова, Э. Казакевича, В. Козаченко, Ю. Збанацкого и других.

В разделе «Мое поколение» в центре внимания автора творчество писателей–фронтовиков, «бойцов моей земли». Здесь даны портреты–миниатюры А. Кешокова, М. Луконина, А. Калинина, Д. Ковалева, Р. Гамзатова, М. Алексеева, С. Викулова, С. Алексеева, Е. Исаева, А. Люкина, В. Марьинского, И. Стаднюка и других.

Раздел «О жизни и литературе» составлен из заметок и статей о А. Блоке, С. Есенине, А. Довженко и других классиках советской литературы, а также о наших современниках А. Югове, А. Топорове, Н. Ушакове, Н. Шундике, С. Воронине, С. Баруздине, Ю. Нагибине и других, чье творчество неразрывно связано с нашей действительностью.

- ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ
  - ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
    - РАЗДУМЬЯ У КНИЖНОГО ПРИЛАВКА
    - ЗОРКОСТЬ
    - ЩЕДРОСТЬ
    - ДОЛГ
    - ЛАДОЖСКИЙ ВЕТЕР
    - ДУШЕВНОСТЬ
    - ЯРОСТЬ
    - ХВАТКА КУЗНЕЦА
    - ПРОСТОТА
    - НЕУКРОТИМЫЙ ТЕМПЕРАМЕНТ
    - ВДУМЧИВОСТЬ
    - ОХОТНИК С АЛТАЯ

- КНИГОЛЮБ
- ГРОЗНАЯ ПУЩА
- НА КРУЧЕ
- ГРАЖДАНИН
- МАГНИТОГОРЕЦ
- НА ВЫСОКОЙ ВОЛНЕ
- ПРАВДИСТ
- МЕТРОСТРОЕВЕЦ
- ИСКАТЕЛЬ И ПОЭТЫ

○ ПОРТРЕТЫ ТОВАРИЩЕЙ ПО ПЕРУ
- СИБИРЯКИ
- ГУМАННОСТЬ
- УМЕЛЕЦ
- СТОЙКОСТЬ
- ДЫХАНИЕ СТЕПЕЙ
- НАСТУПАТЕЛЬНОСТЬ
- ЛИРИЧЕСКОЕ ЗВЕНО
- ВЕРА
- РАЗВЕДЧИК
- ПАРТИЗАНЫ
- ЗАПЕВАЛА
- РАЗНОЦВЕТЬЕ
- СКВОЗЬ ТЕРНИИ — К ЗВЕЗДАМ
- ТАНКИСТ
- ЗАПАС ОГНЯ
- ЗА НЕВСКОЙ ЗАСТАВОЙ
- «ОКТЯБРЕНОК»
- ПЕСНЬ О ПОДВИГЕ

○ МОЕ ПОКОЛЕНИЕ
- ОТ ИМЕНИ ПОКОЛЕНИЯ
- ПУТЬ ВСАДНИКА
- СЕРДЦЕБИЕНИЕ
- У САМОГО ДОНА
- ПОДВОДНИК
- СЫН ДАГЕСТАНА
- ВПЕРВЫЕ
- ПРЕОДОЛЕНИЕ
- ПОЛЕТ В ИСТОРИЮ
- ВОЗВРАЩЕННЫЕ ПУЛИ
- МИННЫЕ ПОЛЯ
- ОТ СЕРДЦА ДО ЗВЕЗДЫ
- СОБРАННОСТЬ
- ЗАЩИТНИК
- ЗЕМЛЯ ОТЦОВ

- БЕСПОКОЙСТВО
- ПАМЯТЬ
- БЕЛГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ
- ЛЕН КОЛОСИТСЯ
- ГДЕ ТЕЧЕТ ДОНЕЦ
- ЧАЙКА НА ВОЛНЕ
- ЕМКАЯ ЧАША
- ИЗ ГЛУБИНКИ

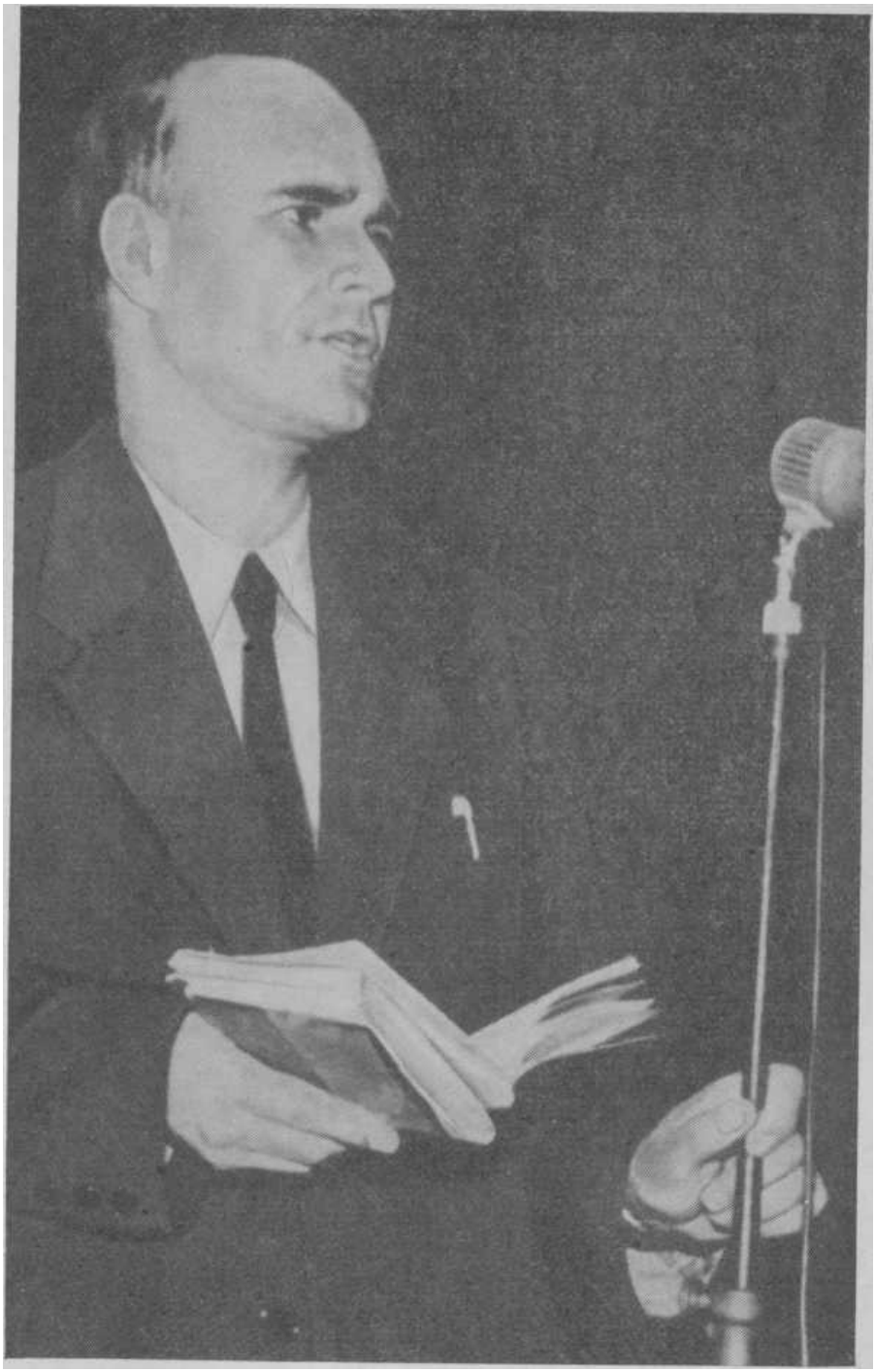
○ О ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ

- ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА БЛОКА
- ЕСЕНИНСКОЕ
- ХУДОЖНИК И НАРОД
- ПАТРИОТЫ
- СОЛНЦЕЛЮБЫ
- БОЛЬШОЙ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ КРИТИК
- ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА
- ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ
- ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
- ПОДВИГ КОМИССАРА
- ДОЛГ ПЕРЕД ЗОЕЙ
- В КОЛЬЦЕ
- СТАТЬ БЕРЕЗОЙ
- СТАЛЬНАЯ ДУГА
- ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ
- РОЖДЕНИЕ ГЕРОИКИ
- ОТ ЯРОСЛАВЛЯ ДО АСТРАХАНИ
- ЛИРИКИ-ДОКУМЕНТАЛИСТЫ
- НАШИ ПОИСКИ
- ВТОРОЕ ПРИЗВАНИЕ
- ОДНОПОЛЧАНЕ
- ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ
БОЙЦЫ МОЕЙ ЗЕМЛИ
(встречи и раздумья)

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

РАЗДУМЬЯ У КНИЖНОГО ПРИЛАВКА



Владимир Федоров

Какие разные книги лежат на прилавке магазина совсем рядом! Они отличаются друг от друга не меньше, чем цвета их

обложек. Знакомые, малознакомые и совсем незнакомые фамилии авторов. Не так–то легко читателю разобраться в этом все прибывающем океане книг.

В самом деле, кто же их написал?

К сожалению, часто в книге ничего о писателе не сказано. А ведь еще Лев Толстой говорил об интересе к личности автора, к его убеждениям, его взглядам на жизнь. Кто стоит за книгой? И вправду — как можно отрывать книгу от человека, который ее написал? Разве мыслимо представить настоящего писателя без напряженной духовной жизни?

Я буду счастлив, если мои штриховые портреты товарищей по перу помогут добавить к образу любимого поэта или прозаика несколько живых черточек. А возможно, они познакомят читателя с еще неведомым, но интересным автором, еще неизвестной, но увлекательной книгой. О многих произведениях, о которых пойдет речь, автор этих строк сказал первое слово в печати. Например, о «Вишневом омуте» М. Алексеева, «Эхе войны» А. Калинина, «Червонных саблях» Л. Жарикова, «Войне» И. Стадиона, поэмах Н. Грибачева, А. Софронова, С. Викулова, Е. Исаева, Ю. Герасименко и других.

Разные книги лежат на прилавке. Рядом с фамилией маститого — фамилия начинающего. Что ж, мне нравится такое соседство. Пускай оно будет и в этой книге! Жизнь есть жизнь.

А больше всего я встречаю фамилий литераторов моего поколения, тех, что почти мальчишками ушли на фронт, ходили в атаки по дымному щебню Сталинграда, в упор расстреливали пятнистые «тигры» на Курской дуге, ползли по–пластунски в вешнем Венском лесу, штурмовали горящий рейхстаг, с непокрытой головой стояли над братскими могилам своих друзей.

Я вглядываюсь в разноцветные обложки на книжном прилавке и делаю в своем блокноте первые штрихи. Невольно вспоминаются интересные встречи, разговоры, лица… Не удивляйтесь, если я кое–где перейду на стихи. О поколении победителей трудно говорить только прозой.

ЗОРКОСТЬ

Вот он — по колено в прибрежной траве–стоит на рассвете над тихим Доном. В руке — папироса. Чуть склонилась большелобая голова. О чем он задумался в эту минуту? Многое передумано, многое пережито… Еще в отрочестве смерть бандитским обрезом заглядывала в его зоркие, удивительные глаза. Говорят, смелой и доброй украинской женщине, не

побоявшейся вступиться за него перед самим батькой Махно, юный продармеец Миша Шолохов обязан своим спасением.

Позже могли попасть в него и пули, посланные врагами в Семена Давыдова и Макара Нагульнова, — двадцатипятилетний писатель был в самой коловерти коллективизации. А разве осколок фашистского снаряда, сразивший у родного дома его мать, не попал в его большое сердце?

Может быть, самой волнующей на торжественном вечере, посвященном шестидесятилетию писателя, была та минута, когда все участники, стоя, молчанием почтили женщину, подарившую миру Михаила Шолохова. Ее сын прожил на земле не одну жизнь, а столько, сколько прожили его герои.

М. Шолохов дает автограф Герою Советского Союза С. Курзенкову

Знакомый с юных лет мир шолоховских героев! Словно прокаленный степным солнцем, яркий, неповторимый язык героев «Тихого Дона» и «Поднятой целины» был так близок языку крестьян степного Черноземья, где прошло мое детство. Впервые «Тихий Дон» попал мне в руки в мягкой обложке массовой

библиотечки. Но я не замечал серой бумаги, с первых строк захваченный ослепительно красочными картинами.

Мятущийся Григорий и непреклонный Миша Кошевой, сдержанная Наталья и порывистая Аксинья, горько озорная Дарья и отчаянная Дуняшка — все это были живые, как бы знакомые люди. А потом к читателю пришли щедрый балтийский моряк Давыдов и нетерпеливый красный казак Нагульнов, игривая Лушка и чистая Варюха–горюха, юлящая лиса Островнов и знаменитый дед Щукарь, после гибели друзей–болыпевиков вырастающий в фигуру трагическую. А за ними–русский солдат Соколов, прошедший все круги фашистского ада и не потерявший самого главного — человечности.

Несколько лет назад в редакции «Огонька» Михаил Алексеев подвел меня к сейфу и вынул оттуда шолоховские рукописные страницы, которые подобрали наши солдаты возле разбомбленного нацистскими летчиками дома писателя. Я на всю жизнь запомнил прочитанный тогда абзац предпоследней главы четвертой книги «Тихого Дона», написанный вдохновенно, без единой помарки:

«В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца».

Как когда–то в Ясную Поляну ездили к Толстому за советом, за помощью, так теперь едут люди в Вешенскую. И особенно молодежь. Ее одинаково волнует и судьба отцов, героев нового романа «Они сражались за Родину», и свои собственные тревоги и надежды, которыми хочется поделиться с любимым писателем.

Девушки–отличницы из далекой дагестанской школы получили право выбрать для заслуженной поездки любой город страны, и они выбрали станицу Вешенскую. И Шолохов отрывается от еще не остывшей рукописи романа, чтобы принять дорогих гостей. Поборов смущение, к радушному хозяину обращается аварская школьница:

— Вот Горький говорил, что в жизни всегда есть место подвигу. Во время войны — это понятно. А в наше время?

— Хорошо прожить жизнь, с пользой для общества — это тоже подвиг. Вы комсомолка?

Шолохов горячо, убедительно говорит с девушками о воспитании советского патриотизма у пашей молодежи. Тут должны постараться все: и кинематографисты, и писатели, и театральные деятели и, конечно, учителя. Огромная страна наша

требует рачительных, трудолюбивых, умных хозяев.

— Чувство патриотизма надо воспитывать с ползункового возраста, с детского сада!..

О громадной ответственности, которую налагает звание советского писателя, говорил Шолохов, открывая Второй съезд писателей земли российской. Призывая писателей работать дружно, как подобает однополчанам, Михаил Александрович оговорился, что не призывает «к всепрощению» и «ко всеобщему лобызанию». «Дружба — дружбой, но есть в нашем литературном, нашем идеологическом деле такие принципы, отступления от которых нельзя прощать и самому близкому другу. Тогда только наше единство будет прочным, когда мы не станем закрывать глаза на ошибки друг друга и научимся называть вещи своими именами. Если есть еще у нас что–то такое, что мешает нормально работать, нормально развиваться литературе, — давайте безжалостно отметем это. Если есть еще среди нас такие, кто не прочь иногда пококетничать своим либерализмом, сыграть в поддавки в идеологической борьбе, — давайте скажем им в глаза, что мы думаем об этом».

В память врезалась простая и емкая шолоховская формулировка: «Социалистический реализм–это искусство правды жизни, правды, понятой и осмысленной художником с позиций ленинской партийности».

Переполненный зал не раз прерывал громом аплодисментов вступительное слово крупнейшего мастера нашей литературы.

— У нас есть чем гордиться, есть что противопоставить крикливому, но бесплодному абстракционизму, — уверенно звучал его голос.

Закончив выступление, Шолохов по скромности хотел сойти с подмостков президиума, но товарищи усадили его рядом.

Подперев седую голову руками, он внимательно слушал большой доклад Леонида Соболева, много сделавшего для становления Союза писателей Российской Федерации. А мне почему–то вспомнилось: доктор исторических наук Михаил Водолагин рассказывал нам, студентам Литинститута, как после войны он, секретарь Сталинградского обкома партии, ездил с Михаилом Александровичем на места недавних боев. Это требовалось для романа «Они сражались за Родину». Он должен был видеть все своими глазами.

Зорко следит Шолохов за поднимающимся подлеском в литературе. Как не вспомнить его по–отцовски предостерегающие слова на Третьем всесоюзном совещании молодых:

— Мне хотелось бы вам пожелать, чтобы вы в литературе не остались перестарками. Известна такая категория девиц, которые

долго не выходят замуж. Пусть скорее приходит к вам творческая зрелость. Пусть она радует не только нас, писателей, но и читателя, огромного и требовательного, настоящего читателя, какого, пожалуй, нигде в мире еще нет.

Заканчивает с истинно шолоховской усмешкой:

— Ив связи с этим еще одно пожелание: не оставайтесь в литературе до старости в детских коротких штанишках!..

Однажды в далеком степном Казахстане, родине зорких орлов–беркутов, Шолохов вспомнил, как беркут обучает летать своих птенцов. Подняв их на крыло, он не дает им опускаться, а заставляет их набирать высоту, позабыв про усталость, подниматься все выше и выше.

Мудрый и дальновидный Александр Серафимович назвал когда–то Шолохова орёликом, дал доброе напутствие. Орёлик давно стал степным орлом, широко распростершим могучие крылья, научившим летать добрую стаю орлят.

ЩЕДРОСТЬ

В детстве мне мать принесла необыкновенную книжку. Называлась она «Метелица», а никакой вьюги–метелицы там не было. На обложке — конь, а на коне человек. И самое удивительное, что Метелицей звали не коня, а человека, партизанского разведчика.

Оставил он ночью своего коня у пастушонка в ночном, да и не вернулся. Сцапали его за церковной оградой беляки. И погиб веселый, сильный разведчик по кличке Метелица. Мать читала так просто, так задушевно, что я не стерпел, стал украдкой тереть глаза, да не ладонью, а кулаком. Ну почему Метелица не вырвался, не перемахнул через церковную ограду? Почему его чуткий конь не почуял, что хозяин в беде?..

В годы ленинградской блокады. А. Прокофьев, Б. Лихарев, А. Фадеев, Н. Тихонов, В. Саянов

Потом, когда я подрос, узнал, что «Метелица» — глава из фадеевского романа «Разгром», одной из лучших книг о гражданской войне. Ее можно назвать своеобразной оптимистической трагедией. Партизанский отряд почти разгромлен, но остался крепкий костяк, и завтра из него вырастет новый большой отряд, который будет громить белогвардейцев. Фадеев отлично знал то, о чем писал: он сам в юности был дальневосточным партизаном.

Целая группа талантливых самобытных писателей пришла в литературу из окопов гражданской войны. Дмитрий Фурманов, Николай Островский, Аркадий Гайдар, Леонид Леонов, Владимир Ставский, Александр Фадеев.

Александр Фадеев… Мне довелось встретиться с ним на съезде писателей Украины в сорок восьмом году.

Тесноватый гостиничный номер. Александр Твардовский вынул тетрадь, где были еще не напечатанные стихи «В тот день, когда окончилась война». Стихи такой силы, от которой холодело в груди:

Внушала нам стволов ревущих сталь.
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег…

В щемящей тишине слушали эти стихи Федор Панферов, Александр Прокофьев, Аркадий Кулешов, Николай Грибачев и белоголовый Александр Фадеев, которого горячо любил его смоленский тезка и к мнению которого очень прислушивался… Я перевел взгляд с Фадеева на задумчивого, притихшего Прокофьева, и мне невольно вспомнились его фронтовые стихи, посвященные Александру Фадееву и России:

Товарищ, ты видел над нею
Закаты в дыму и крови.
Чтоб ненависть била сильнее,
Давай говорить о любви.

Под грохот тяжелых орудий
Немало отхлынуло дней.
Товарищ, мы — русские люди,
Так скажем, что знаем о ней.

Расскажем, и все будет мало,
Споем, как мы жили в ладу.
Товарищ, ты будь запевалой,
А я подголоском пройду!

Да, он был запевалой нашей литературы. Помню, как в декабре 1951 года волновался Александр Твардовский, готовясь выступать на вечере, посвященном пятидесятилетию его старшего друга. Не забыть мне и самого вечера. Седой, моложавый, красивый юбиляр, прослушав многочисленные приветствия, с улыбкой оказал:

— Все, что я сделал в литературе, считаю только началом. Верю — главное, что мне предстоит создать, еще впереди!..

Как молодо, свежо выглядел в тот вечер Александр Александрович! И всем верилось: главная его книга еще впереди. Он еще успеет завершить и роман «Последний из удэге», и создать новые замечательные книги о нашей современности.

Потом был большой концерт, где исполнялись отрывки из фадеевских произведений. Мне почему–то особенно запомнился великолепный танец партизан. Было такое ощущение, что на сцену ворвалась сама тревожная фадеевская юность. Огромный

переполненный зал замер, вглядываясь во всадников в черных бурках, словно один из них был товарищем Булыгой, юным Сашей Фадеевым.

Александр Александрович охотно встречался с нами, студентами Литинститута имени Горького. Особенно памятна его беседа о писательском мастерстве, с которой он выступил в нашем конференц–зале. В этот день многие из нас поняли, что такое настоящая поэзия.

— Вспомним знаменитую поэму Некрасова «На Волге», — говорил Фадеев, вглядываясь в наши лица. — Одно из мест этой поэмы начинается с такого восклицания, которое вряд ли способен каждый читатель сразу воспринять эмоционально: «О Волга! после многих лет я вновь принес тебе привет». Это еще условно — «О Волга!» Но дальше мы читаем:

Но вдруг я стоны услыхал,
И взор мой на берег упал.
Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик —
И сердце дрогнуло во мне.
О Волга!., колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?

Теперь вам уже хочется воскликнуть: «О Волга!» Вы чувствуете внутреннюю потребность в этой интонации: волна подводного течения, скрытого в стихе, овладела вами и передала вам чувство поэта.

Фадеев любил жизнь. Помню по–ребячьи заливистый смех Александра Александровича, слушавшего в переполненном киевском театре рассказ Остапа Вишни «Зенитка» в исполнении лукавого автора. Фадеев смеялся до слез. А на другой день мы услышали его блестящий доклад о современной литературе, который он сделал экспромтом, не заглядывая ни в какие шпаргалки.

Александр Александрович по–отцовски поддержал многих молодых писателей. В тридцатые годы в его руки попала рукопись повести студента Литинститута имени Горького

Леонида Жарикова. Она была очень близка по духу автору «Разгрома» и «Последнего из удэге», певца суровой юности солдат революции. На стихийном семинаре студентов–прозаиков Фадеев подробно разобрал незаурядную повесть Жарикова, отметил удачи, указал на недостатки и выправил всего–навсего один абзац. Но этот абзац стал как бы маяком для автора, и он снова принялся за работу.

— Фадеевский абзац для меня неприкосновенен, — говорил Леонид Жариков. — Я перечеркивал целые страницы, менял сцены и диалоги, а в этом абзаце не изменил ни словечка. Тут не только память о большом художнике, принявшем участие в моей творческой судьбе, но и замечательный пример работы над словом.

Литературный процесс диалектичен, не только зрелые мастера влияют на молодых, но бывает и обратное влияние. Прошли годы. Александр Фадеев написал свой замечательный роман о донецких пареньках и девушках, юных подпольщиках Краснодона, новом поколении шахтерских детей. Роман «Молодая гвардия» и «Повесть о суровом друге» роднит не только любовь к подвигу и высокий романтический взлет, но и мастерское умение перевоплотиться в своих юных героев, понять их психологию, быт, мечты.

Кое–кто упрекал Фадеева в идеализации молодогвардейцев, мол, слишком уж они все красивы. Александр Александрович лукаво отвечал таким читателям:

— А скажите, какие недостатки были у Татьяны Лариной? — И тут же вспоминал тургеневских девушек.

Да, если фадеевские герои и были красивы, то в первую очередь душой. Внутренний огонь делал их красивыми и внешне. Почти документальный роман пронизан глубоким лиризмом. Поэтому–то и список погибших юных героев в финале звучит как трагическая симфония.

Григорий Ершов, автор книги «Глазами друга», волнующе, увлекательно рассказывает о создании романа «Молодая гвардия». Писатель принял от ЦК комсомола социальный заказ и с честью его выполнил. Материал был такой, что, по словам автора, мог прожечь камень. Г. Ершову посчастливилось быть одним из первых слушателей начальных глав романа о краснодонцах. Подтверждая свое повествование убедительными деталями, писатель рассказывает о давней дружбе Фадеева с комсомолом, р щедрой его помощи редакциям молодежных журналов. Хочется, чтобы автор воспоминаний продолжил свои новеллы об Александре Александровиче.

Никогда не забуду одной встречи. Это было после смерти

Фадеева. Немолодой водитель такси разговорился со мной о литературе. Помолчал, вздохнул:

— А ведь я Александра Александровича Фадеева возил, и не один год. Большой души человек!

Эти слова, вырвавшиеся из самого сердца, врезались в память навсегда. Я до сих пор храню старый писательский билет, подписанный Александром Фадеевым.

Автор «Разгрома» и «Молодой гвардии» был чутким и вдумчивым художником. Много у него было творческих планов. Не успел он завершить многотомный роман «Последний из удэге». Но вот уже после смерти мы прочли его. «…Повесть нашей юности», и образ писателя как бы озарился новым светом. Фадеев поделился с нами самыми сокровенными своими думами, радостями, печалями, мечтами. Да, это был большой души человек. Книги его продолжают триумфальное шествие по земному шару.

После Максима Горького никто столько не помогал молодым и немолодым писателям, учителям, как Александр Фадеев. Я сужу о людях, знавших Александра Александровича так: если они вспоминают его добром, значит, это настоящие люди.

ДОЛГ

В детстве мы читали поэму Николая Тихонова об Ильиче и индийском мальчике Сами, который называл Ленина, как и вое его земляки, непривычно для нас, русских мальчишек, — Ленни.

Он дает голодным корочку хлеба,
Даже волка может сделать человеком,
Он большой Сагиб перед небом
И совсем не дерется стеком.

Читая, мы, подростки, забывали, что у этой поэмы есть автор. Мы видели только маленького индуса, в душе которого затеплилась надежда на светлую жизнь. Тема пробуждающегося Востока с его обычаями, неповторимым колоритом пройдет через многие стихотворения, рассказы и повести Николая Тихонова. Это — его стихия.

Многие сверстники помнят высокого человека в длинной кавалерийской шинели, только что вернувшегося с дымных полей гражданской. Это был поэт Тихонов. Но не все знают, с каким

трудом он издал свой первый сборник. Из 600 стихов выбрал 30. О гонораре не могло быть и речи. Надо было самому платить за издание. Двух сёдел и шубы жены хватило только на 700 экземпляров. Остальные 300 помогли выкупить добрые люди.

Молодой поэт послал Максиму Горькому на Капри две своих книги «Орда» и «Брага». А вскоре Константин Федин, друг поэта, прочел в письме с Капри: «Получил книги Тихонова. Прошу вас: передайте ему мой искреннейший привет и мое восхищение: очень хорошо, стройно растет этот, видимо, настоящий!» И до этого Горький называл поэта исключительно талантливым. За плечами молодого, но уже седоволосого Николая Тихонова было тогда две войны: германская и гражданская.

«Брага» — это название, как нельзя лучше, передает энергию его ранних стихов.

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.

Надо было самому понюхать пороху, изведать изменчивую солдатскую судьбу, почувствовать себя частицей красной лавы, стремительно освобождавшей Крым, чтобы написать такие стихи. Строки афористичны, сжаты, как пружина. Проницательный Горький заметил у их автора удивительную черту: он как бы жил бегом и прыгал через все, что ему внутренне мешало. Это неудержимое движение чувствуется и в знаменитых тихоновских «Балладе о гвоздях» и «Балладе о синем пакете».

А конь ударил, закусил мундштук,
Четыре копыта и пара рук.
Озеро — в озеро, в карьер луга,
Небо согнулось, как дуга…

Не сразу достиг Николай Тихонов вершин мастерства. В юности ему довелось немало поблуждать в формалистических «словесных джунглях», как он выразился сам.

— Его литературный путь, — свидетельствует Константин Федин, — вовсе не похож на телеграфный провод. Внутренне

Тихонов проделал головокружительные похождения по планете Поэзии. Тропы его путешествий, скитаний, исследований в области сочинительства не менее переплелись и завихрились, чем перепутья его доподлинных вечных странствий по стране.

И в самом деле. Достаточно вспомнить его цикл стихов «Юрга», книгу очерков «Кочевники», сборник рассказов «Вечный транзит», книгу стихов «Тень друга», написанную после поездки в Париж на Конгресс в защиту прогресса и мира.

«Марсианская жажда творить», все видеть, защищать мир и правду в любом уголке планеты осталась в крови Николая Семеновича на всю жизнь. Он своими глазами видел пески и долины Средней Азии, путешествуя по ним с другом Владимиром Луговским, написавшим прекрасную книгу «Большевикам пустыни и весны». Яркие, загадочные краски Востока покорили Тихонова на всю жизнь. Его манили и горы Кавказа. Солнечная Грузия стала для него второй родиной. Кавказским братьям поэт посвятил поэму «Серго в горах», «Стихи о Кахетии», «Грузинскую весну» и другие.

Я прошел над Алазанью,
Над волшебною водой,
Поседелый, как сказанье,
И, как песня, молодой.

Тихонов перевел стихи многих известных грузинских, армянских, узбекских поэтов. Они, безусловно, помогли ему глубже понять и освоить своеобразие жизни наших восточных республик и других стран Азии. На далекой родине белого золота Тихонова называют ласково и уважительно — Николай–ака.

— Во вторую мировую войну в осажденном Ленинграде, — рассказывает Николай Семенович, — я был начальником группы писателей при Политуправлении Ленинградского фронта. За девятьсот дней ленинградской битвы я написал поэму «Киров с нами», «Ленинградские рассказы», книгу стихов «Огненный год», свыше тысячи очерков, фронтовых корреспонденций, статей, обращений, листовок.

В своей суровой поэме «Киров с нами», как бы отлитой из нержавеющей стали, Тихонову удалось передать дух времени, несгибаемую веру полуголодных ленинградских рабочих в нашу победу.

Враг силой не мог нас осилить,
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Такого вовеки не будет
На Невском святом берегу,
Рабочие русские люди
Умрут, не сдадутся врагу.

Символический образ Кирова, шагающего в ночи по улицам осажденного Ленинграда, — в центре поэмы. Он окрыляет ее и организует отдельные яркие эпизоды в единое целое. Поэт знал, сколько сделал любимый народный трибун еще в начале тридцатых годов для нашей грядущей победы.

И танки с оснеженной пашни
Уходят тяжелые в бой;
«За родину!» — надпись на башне,
И «Киров» — на башне другой.

Всю нечеловечески трудную блокаду поэт был с ленинградцами. Смотришь на его фотографию того времени: исхудалое лицо и острый взгляд. Да, это автор поэмы «Киров с нами»…

— Голодно было… — рассказывал Николай Семенович одному из своих учеников–бывшему солдату Дмитрию Смирнову. — Работал в центре, жил на окраине. Идешь усталый домой и сочиняешь истории и рассказы, чтобы отвлечься. По сторонам в сквере на скамейках сидят мертвые люди. Однажды впереди меня шел человек с полным мешком. Он нес на кладбище свою любимую. Женские ноги били его по спине… Я не мог смотреть… Чтобы не сойти с ума, свернул в соседний переулок… — Тихонов долго молчал, потом вынул пачку фотографий. — Блокада… неопубликованные… Они мне должны помочь написать документальную книгу. Если успею… Должна быть посильнее, чем у Эдгара По. Не подумайте что хвастаю. Материал такой… — Снова задумался. — А знаете, каково одно из самых ярких моих воспоминаний блокады? Аничков мост. Наша жизнерадостная семнадцатилетняя девчонка–регулировщица. Форма отутюжена, пилотка набекрень, губы подкрашены. А жезл ходил в руках

артистично, как дирижерская палочка. Торжество самой жизни в кольце смерти. Я показал эту девушку корреспонденту газеты «Нью–Йорк тайме» — тот смотрел и не верил собственным глазам… Уж таков наш народ.

Ленинград выстоял. Выстояла Россия. И Николай Тихонов увидел многие страны, вызволенные из нацистской неволи, — Болгарию, Румынию, Чехословакию… Он написал книгу стихов об освобожденной Югославии.

После Отечественной войны Тихонов стал одним из виднейших борцов — за мир. Закономерно, что он, автор известного цикла стихов «Два потока», цикла гневного, публицистического, посвященного, как и цикл «На втором всемирном конгрессе сторонников мира», борьбе за мир.

Читатели и слушатели всегда горячо принимают стихи Николая Тихонова. Мне не раз приходилось участвовать в поэтических вечерах, на которых председательствовал Николай Семенович.

— Своей поэтической полувековой работой, — делился с нами он, — я старался следовать традициям русской классической поэзии, с ее высокой гражданственностью, глубокой лиричностью, особой стиховой выразительностью. Рад, что мог ввести в свои стихи страны Востока, до сих пор едва упоминавшиеся в русской поэзии. Ведь я побывал почти во всех странах мира.

Горячее сердце борца стучит в его поэзии и прозе. Еще до Октября он написал свою первую повесть, а после Отечественной войны вышли его «Рассказы о Пакистане», повесть «Белое чудо», книга «Шесть колонн», за которую ее автор удостоен Ленинской премии. В основу этих рассказов и повестей положены действительные факты из жизни восточных стран. По свидетельству самого автора, многие герои книги «Шесть колонн» имеют своих прототипов. Язык этого сборника филигранно отточен.

— Я писал эту книгу с чувством глубокого уважения и сердечных симпатий к народам Юго–Восточной Азии и Ближнего Востока, — говорит семидесятипятилетнпй поэт.

Ветеран четырех войн, писатель–гуманист продолжает исполнять свой долг перед революцией и человечеством.

ЛАДОЖСКИЙ ВЕТЕР

Этого невысокого, полного человека с добрым русским лицом я впервые встретил на зеленой днепровской круче. Александр Прокофьев чувствовал себя на киевской земле как дома: всем

известны его мастерские переводы многих украинских поэтов — от Владимира Сосюры до Андрея Малышко.

Шел съезд писателей Украины, на который пригласили и меня, молодого поэта, старшину–десантника. Мы поз–накопились с Александром Андреевичем. Быстро разговорились. Я вспомнил, как мы четыре года назад форсировали быструю Свирь, освобождали лесистый и таинственный олонецкий край, воспетый в стихах Прокофьева. А когда речь зашла о родной Александру Андреевичу Ладоге–тут его глаза заискрились.

— Ладога это не озеро, а море! — уверял увлекшийся поэт. — Шутишь, брат! Двести километров длиной, сто — шириной. Никогда не бывает спокойным. Ветры, низкие туманы… Есть там рыбацкое село Кобона. Вот где полно моей родни. Там я и родился. Простор–то какой! На берегу ивняк да малина… — И шутливо продекламировал:

О Ладога–малина,
Малинова вода!..

Мне не раз доводилось видеть, как преображается поэт, читая свои стихи, как весь отдается напору всепокоряющего ритма. Надо было самому быть с юных лет ладожским рыбаком, косить травы, пахать неласковую северную землю, чтобы потом все это так зримо и сочно передать в стихах.

Вот как об этом говорит друг поэта Николай Тихонов: «С детства он жил в мире многоцветного, яркого народного языка. Родное слово дышало прелестью сказки, песни, былины. Оно органически вошло в стихи Прокофьева. Оно сияло лирическим признаньем, звучало острым криком ненависти к врагу, многообразно передавало чувства, проникалось резким народным юмором. Входя в поэтический мир его стихов, вы сразу почувствуете все богатство этого прокофьевского словаря. Для него драгоценны самобытные, жемчужные, ласковые, гневные, любовные и грустные слова, потому что слово живет не случайно…» И тут же приводит стихи друга, посвященные самоцветному слову:

И когда оно поет,
Жаром строчку обдает,
Чтоб слова от слов зарделись,
Чтоб они, идя в полет,

Вились, бились, чтобы пелись,
Чтобы елись, будто мед!

Это действительно целая поэтическая программа. И какое смелое сравнение! «Чтобы елись, будто мед!» А вдумаешься: точно! Именно «будто мед». Поэту, как пчеле, удалось собрать нектар с разных северных цветов и обратить его в поэтический «мед».

Восемнадцатилетним парнем стал Шура Прокофьев большевиком, сражался с белыми бандами генерала Юденича. Молодого бойца схватили белогвардейцы, но ему удалось бежать из плена. И он с новой яростью бился с беляками. Кому еще удалось написать такой портрет революционного балтийца, как Александру Прокофьеву в стихотворении «Матрос в Октябре»?

Плещет лента голубая —
Балтики холодной весть.
Он идет, как подобает,
Весь в патронах, в бомбах весь!
Молодой и новый. Нате!
Так до ленты молодой
Он идет, и на гранате
Гордая его ладонь.
Справа маузер и слева,
И, победу в мир неся,
Пальцев страшная система
Врезалась в железо вся!
Все готово к нападенью,
К бою насмерть…
И углом
Он вторгается в Литейный,
На Литейном ходит гром.
И развернутою лавой
На отлогих берегах
Потрясенные, как слава,
Ходят молнии в венках!
Он вторгается, как мастер.
Лозунг выбран, словно щит:
«Именем Советской власти!» —
В этот грохот он кричит.
«Именем…»
И, прям и светел,

С бомбой падает в века.
Мир ломается. И ветер
Давят два броневика.

Признаюсь: я хотел сократить это стихотворение для цитаты и не смог. Так здесь все строки крепко спаяны. Это и есть, говоря словами А. В. Луначарского, революция, отлитая в бронзу. Именно такими мне представляются балтийцы, герои Октября — легендарный матрос Анатолий Железняков, о котором Прокофьев писал стихи, большевик Николай Ховрин, один из 26 бакинских комиссаров, латыш–балтиец Эйжен Берг, председатель Центробалта Павел Дыбенко и их боевые друзья.

Будучи заместителем главного редактора «Литературной России, я часто встречался с входящим в редколлегию Александром Андреевичем. В отличие от некоторых бездействующих членов редколлегии он всегда приезжал из Ленинграда на наши заседания. Запомнились многие беседы с ним.

Отец и мать поэта любили русские песни и эту страсть передали сыну. Отца, старого солдата–ленинца, в год смерти Ильича убило кулачье из обреза. Мать подняла на ноги трех сыновей и пятерых дочерей. Помогла Советская власть.

Бывший военный журналист Виктор Кузнецов, работавший с Александром Андреевичем в редакции газеты «Отважный воин», рассказывал мне о бессонном труде фронтовика Александра Прокофьева. И еще о том, как волховские соловьи не смолкали даже во время артиллерийской канонады. Там, на Волховском фронте, в родимых местах поэт повстречал будущих героев своей поэмы, братьев–минометчиков Шумовых. На узких листках записной книжки возникли первые строки его «России»…

В каждой строчке этой поэмы клокочет огромная любовь Александра Прокофьева к матери-Родине:

Соловьи, соловьи, соловьи,
Не заморские, не чужие,
Голосистые, наши, твои,
Свет немеркнущий мой, Россия!

А совсем рядом было родное село Кобона, через которое шла чудотворная «дорога жизни». Вереницы автомашин вывозили из

Ленинграда по ладожскому льду детей, стариков и женщин. Обратно грузовики везли продовольствие, оружие и боеприпасы. Воюющие самолеты с крестами на крыльях почти беспрерывно бомбили село. Одна из бомб угодила в дом, где родился и рос ладожский поэт–самородок.

— Только березы, которые я посадил мальчишкой, остались и шумят… — вспоминал Прокофьев.

Но остались не только березы. Осталось неистощимое народное творчество, к которому, как ребенок к материнской груди, не раз припадал мастер живого, самородного слова. Удивительные сокровища окружали Прокофьева с самого детства. «Знаменитые сказители Трофим Рябинин, А. П. Сорокин, Ирина Федосова, восхитившая Горького, родом из Олонецкой губернии. Надо было ожидать, что этот край, в котором так щедро бьют родники народной поэзии, явит миру своего поэта, наделенного особой чуткостью, особой восприимчивостью к образности и музыке родной речи. И этот поэт пришел в литературу уже в наше, в советское время, он принес с собой яркий песенный словарь, раздольность напевов, крепкое душевное здоровье, которым исстари отличались его предки, — воины, землепашцы, рыбаки–созидатели и хранители всего лучшего, что есть в нашем народном искусстве», — пишет поэт и критик Валерий Дементьев в своей книге «Голубое иго», посвященной поэзии Александра Прокофьева.

За эти свои «особую чуткость» и «особую восприимчивость к образности и музыке родной речи» поэту, как говорится, досталось на орехи от иных суровых критиков, сторонников дистиллированной воды в поэзии. Они очень хорошо запомнили, как некогда Максим Горький упрекал Владимира Маяковского и молодого Александра Прокофьева за страсть к гиперболе, за перехлесты, кототорые в поэзии, в поиске выразительных средств для изображения нови порой бывают неизбежны. Но эти самые критики почему–то «забыли», как в 1935 году, встретившись с Прокофьевым, автором самобытных книг «Полдень», «Улица Красных Зорь», «Победа», «Дорога через мост», «Временник», Горький, одобряя его увлечение народным творчеством, интересовался, есть ли у него «Сказания русского народа» Сахарова, советовал изучать русские былины, особо выделяя образ пытливого и озорного новгородского богатыря Васьки Буслаева. Любовь к этому богатырю великий Буревестник пронес через всю жизнь. Ведь и в его Егоре Булычове есть что–то от Буслаева. Видно, нечто буслаевское он почувствовал и в буйной поэзии своего молодого современника, рыбака с Ладоги.

Александр Прокофьев — человек решительный. Он говорил:

— В ряде случаев меня обвиняли в стилизаторстве. С нелегкой руки кого–то из критиков этот ярлык долгодолго сопровождал меня в пути. Ну и бог с ними! А я шел и иду по жизни с частушкой и песней, взятой у нашего народа и ему же возвращаемой. А песен у нашего народа много, а красоты на земле не счесть.

Я впервые почувствовал красоту северной природы, когда в июльскую белую ночь 1943 года наш эшелон тихонько разгружали на станции Оять. Где я слышал это название? И невольно вспомнились знаменитые прокофьевские стихи:

Тяжелый шелоннк пе бросит гулять.
Тяжелые парни идут на Оять.
Одежа на ять и штиблеты на ять,
Фартовые парни идут на Оять.
…Парнишки танцуют, парнишки поют,
К смазливым девчонкам пристают:
«Ох ты, ох ты, рядом с Охтой
Приоятский перебой,
Кашемировая кофта,
Полушалок голубой…»

От стихов дохнуло довоенной юностью. А мы в эту белую ночь разгружали пушки, чтобы потом форсировать неведомую Свирь. Рядом в березняке стояли зачехленные, замаскированные «катюши». А где–то совсем неподалеку воевал и автор этих стихов.

Сам Александр Андреевич сказал о себе лаконично и четко:

— На судьбу моего поколения пало три войны. Во всех трех войнах я участвовал: в гражданской — красноармейцем, в войне с белофиннами и в Великой Отечественной — фронтовым корреспондентом. Мне по нраву классический русский стих. Пристрастие мое основано на глубокой любви к нему. Я отвергаю трюкачество, алогизмы, выверты, словесную шелуху… А, впрочем, что я? У русского классического стиха миллионы моих единомышленников, миллионы друзей!

Что к этому добавить?

Дорогие мои однополчане, парни из Сотой Свирской, приславшие мне маленький синий значок, на котором гвардейцы форсируют любимую реку народного певца Александра Прокофьева! Мы с вами можем еще повстречаться на полюбившейся всем нам Свири, реке нашей грозной юности,

глядеть, вспоминая бои, на прибрежные сосны и березы. А он уже не сможет. Не стало Александра Андреевича…

Одно утешает: в его певучих стихах и поэмах живут и будут жить рабочий Питер, Ленинград, Свирь, Ладога. И, читая его книги, мы жадно дышим свежим ладожским ветром.

ДУШЕВНОСТЬ

Помнится, еще до войны в степном селе Боринское мои друзья распевали услышанные по радио песни «И кто его знает» и «Провожанье». Тогда народный хор Пятницкого гремел на всю страну. Рядом с фамилией композитора В. Захарова зазвучала фамилия поэта М. Исаковского.

Молодой Исаковский не думал, что станет песенником. Однажды в кино он услышал песню на свои слова «Вдоль деревни», исполняемую участниками колхозной художественной самодеятельности. На музыку это стихотворе ние положил тот же В. Захаров. Так родилась их творческая дружба. Казалось бы, тут был элемент случайности.

И все же песенником Михаил Исаковский стал не случайно. В самих его стихах была заложена та русская песенная сила, которая словно ждала, когда наиболее чуткий и зоркий из композиторов даст ей крылья.

Песенное творчество этого удивительного поэта нельзя оторвать от истории нашего народа, от его радостей и печалей. Знаменитая «Катюша» в годы великой войны облетела весь мир. Ни одна песня не рождала столько подражаний. Ее пели на фронте, в наших партизанских отрядах и далеких отрядах Сопротивления. Метко сказал о «Катюше» Александр Прокофьев:

Впереди отрядов партизанских
Чуть не всю Италию прошла.

Именем верной русской девушки фронтовикиназвали грозные гвардейские минометы, а сам поэт откликнулся повой «Песней про «катюшу».

В мае сорок пятого года я слышал, как нашу «Катюшу» играли радостные чешские скрипки. А по свидетельству Андрея Малышко, «Катюшу» поют и американские негры.

Выходила на берег Катюша,

На Великий Тихий океан.

Уже после победы, на чужом разбомбленном аэродроме земляк поэта сержант Александр Васильев, глядя на зеленеющие виноградники, читал мне поэму Исаковского о четырех нехитрых несбывшихся желаниях батрака Степана Тимофеевича. Я слушал друга. А рядом, в мазаных халупках, за виноградником, жили такие же босые Степаны — только с чешскими и венгерскими именами.

На юбилейном вечере М. Исаковского. А. Твардовский, М. Блантер, К. Симонов, М. Исаковский, В. Инбер, С. Михалков, В. Захаров, А. Безыменский

Вставай же, Степан Тимофеевич!
Вставайте, живые и мертвые!
Идите последним походом
В последний решительный бой!

Когда мы до войны пели «Дан приказ ему на Запад», нам казалось, что эта песня написана еще в гражданскую войну. Так удалось поэту передать дух той героической эпохи. А в военные

годы мы запевали «Шел со службы пограничник», «Колыбельную» или «Морячку» — и нам представлялись мирные годы нашего детства и юности. Так крепко вросли песни Исаковского во время, их породившее, так близко принимал их к сердцу народ.

Сколько чувств поднимала в душе фронтовиков песня «В лесу прифронтовом», посвященная подруге поэта! Воспоминания довоенной юности, первой любви сердце патриота чудодейственно переплавляло в разящее оружие.

Так что ж, друзья, коль наш черед, —
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука…

Как по–русски — с горьковатой усмешкой — звучат эти строки:

А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.

В книге В. Александрова «Михаил Исаковский», вышедшей в «Советском писателе» в 1950 году, приводится мое солдатское письмо к Михаилу Васильевичу об этой песне: «Ваше «В прифронтовом лесу» меня пррсто изумляет. Вот идут, идут мечтания — и вдруг пафос. И все это вытекает органически, непосредственно, без натяжки, само собой». В. Александров называет такой новаторский прием поэта «музыкальным переходом». В александровской книге сделана первая попытка проанализировать все творчество русского народного поэта. Одним из достоинств книги является обилие читательских писем, на которые опирается исследователь.

Вдумчивые, интересные статьи о творчестве Михаила Исаковского написали Александр Твардовский, Алексей Сурков, Юрий Лукин, Александр Макаров, Анатолий Тарасенков. К сожалению, критико–биографический очерк В. Александрова «Михаил Исаковский» — и поныне единственная монография, посвященная творчеству выдающегося нашего поэта. А ведь она вышла двадцать два года назад.

И в мирые годы и в годы лихих испытаний поэт всегда был с

народом. Глубокая, по–человечески пронзительная тоска таится в песне «Зелена была моя дубрава».

Он погиб у города Медыни —
Боль моя, слеза.
Навсегда закрылись молодые
Умные глаза…
Весть о нем, как горькая отрава,
Сердце мне пролегла…
Зелена была моя дубрава,
Зелена была.

Мужественной скорбью дышит и беспощадно правдивое стихотворение «Враги сожгли родную хату», на которое в свое время были несправедливые нападки.

Вернувшись на Родину из–за Дуная, я послал Михаилу Исаковскому свои фронтовые стихи. В дни работы Первого всесоюзного совещания молодых они были напечатаны в «Литературной газете» с предисловием моего учителя.

Через несколько лет я стал учиться в Литературном институте имени Горького. Мы встретились с Михаилом Васильевичем у него на квартире. Хозяин в свитере и темных очках (проклятая болезнь!) провел меня в свой кабинет. Разговор зашел о поэтических переводах.

— Это нужно, полезно! — кивнул головой Михаил Васильевич. — Свои стихи каждый день писать нельзя. Не всегда пишется. А переводы помогают, дисциплинируют, обогащают стих.

На одной из подаренных мне книг Исаковский скромно написал: «Самое лучшее произведение в этом двухтомнике — это «Лесная песня» Леси Украинки. Ради «Лесной песни» я и дарю Вам это издание».

Это написал требовательный мастер, не терпящий рисовки.

Заговорили о песнях. Показал Михаилу Васильевичу несколько своих первых песен. Отметив недостатки, Исаковский настаивал:

— Продолжайте писать песни!

Его совет я вспомнил через много лет и написал вместе с украинским композитором Александром Билашом две песни к кинофильму «Сумка, полная сердец» — «Калина во ржи» и «Подснежник».

Признаться, я представлял Исаковского немножко не таким.

По песням он мне чудился задушевно–открытым, с милой лукавинкой. Но все это было спрятано в глубине души. Передо мной сидел смущенный, чуть насупленный человек, который часто курил.

— Песня не любит топтания на месте. Она должна развиваться. В ней должен быть хоть маленький, да сюжет! — в раздумье говорил тогда Михаил Васильевич. — Описательность в ней нетерпима. Таковы все народные песни.

Поэт вспомнил, как ему долго не давалась вторая половина ныне его самой известной песни «Катюша». Было пять или семь вариантов заключительных строф. Но самому Михаилу Васильевичу и композитору Матвею Блантеру по душе пришелся, понравился больше всего именно тот, который мы все знаем. Сколько молодых сердец поддержали в трудные минуты, дни и годы эти душевные строки:

Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Михаил Васильевич почему–то отдавал предпочтение песне «Ой, цветет калина…» перед песней «Каким ты был, таким остался». Конечно, в первой превосходно передан характер застенчивой влюбленной девушки. Это Исаковскому не в меньшей степени удавалось и в других песнях. Но ведь вторая с большой силой передает судьбу народную. Отсюда ее глубина. А то, что песня когда–то была написана специально для фильма, сейчас не имеет никакого значения. Она живет самостоятельно, как все песни Исаковского. Сейчас просто не верится, что поэт первое время не включал ее в сборники.

Михаил Исаковский становится гневным, когда речь заходит о холодных ремесленниках, которых почему–то кое–кто называет «песенниками».

— Что же нам делать, чтобы выправить положение на песенном фронте? Прежде всего песне нужно вернуть музыку, музыку подлинную, настоящую, которой ее лишили и каждодневно продолжают лишать всякие выскочки, лженоваторы, халтурщики. Во–вторых, песне нужно вернуть поэтическое слово, именно поэтическое, живое, а не какую–нибудь дохлую «рыбу»… — И старый мастер вспоминает недобрым словом тех «рыбаков» — текстовиков, которым вовсе нет дела до песни. Лишь бы сбыть побольше своей несвежей «рыбы»…

А ведь покровители подобных «рыбаков» сорок лет назад

спокойно заявили в Музгизе молодому Исаковскому, что у него нет песенного таланта…

Лирик Михаил Исаковский бывает в стихах и колючим. Мне очень понравилось его стихотворение «Разговор с редактором», и я еще в армии его выучил наизусть.

Недавно сказал мне смоленский редактор:
— Напрасно ты, братец, суешься в газету, —
Ну где же в поэме общественный трактор? —
Я грустно заметил, что трактора нету.

В новой книге поэта «Под небом России» есть целый раздел фельетонов, шуток, эпиграмм. А совсем недавно я прочел хлесткое стихотворение «Нюня».

Помню, как мы, тогда студенты Литинститута, слушали беседу Исаковского о работе над песней. Большой ноэт–песенник воевал сразу на два фронта — с поставщиками дешевых эстрадных пятиминуток и псевдонародными стилизаторами.

— Мне не раз задавали вопрос о связи моего творчества с народной песней. Да, такая связь существует, и она часто бывает непосредственной. — И тут же Исаковский вспомнил, как из народного выражения «туманы, мои растуманы» в войну родилась его партизанская песня «Ой, туманы мои», а строки из украинской песни «Бисов батька його знае, чого вин моргае» послужили толчком к написанию довоенной песни «И кто его знает».

Студенты внимательно слушали.

— Ярким примером творческого использования фольклора может служить песня Некрасова «Коробейники». В эту песню Некрасов внес много фольклорного, но еще больше внес от себя, от своего таланта. В результате получился совершенно новый поэтический сплав, новое произведение большой художественной силы. И у нас нет права ни на какие скидки. А хорошие песни рано или поздно — все равно «воскреснут»!

В конференц–зале дружно захлопали.

И мне почудилось: не под гром гвардейских минометов, а под далекие весенние раскаты, на берегу широкой реки среди цветущих яблонь и груш русская девушка Катюша поет свою нестареющую песню о верности.

ЯРОСТЬ

Еще не ведая, что есть на свете поэт Николай Асеев, мы с детства знали его стихи и, конечно же, его знаменитую песню «С неба полуденного». Меня с малых лет восхищали задиристые строки:

Не сынки у маменек
в помещичьем дому,
выросли мы в пламени,
в пороховом дыму.

Эти слова отлиты из чистой стали в огне гражданской. Поэту удалось передать неудержимый натиск, ярость наступающей краснозвездной лавы, тревожную и прекрасную юность наших отцов.

Будет белым помниться,
как травы шелестят,
когда несется конница
рабочих и крестьян.

Что ни строка — афоризм, что ни строфа — стремительная экспрессия. Когда поешь эту песню, кажется: и сам скачешь с обнаженным клинком на лихом коне. Да такой песне надо поставить памятник, как стоит в степи под Каховкой памятник легендарной тачанке.

Страшно подумать, что поэтическая судьба Асеева могла сложиться совсем по–иному, не встреть он Владимира Маяковского. Вот кто помог другу выбраться из чахлой рощицы «искусственных пальм» декаденствующего формализма. Влияние яростного «горлана–главаря» на творчество Асеева было, безусловно, самое благотворное. Но не обошлось и без издержек. Солнце может согреть, а может и опалить. Иногда казалось, что Маяковский «подминает» Асеева, и тот, теряя самобытный голос, так свободно звеневший в «Синих гусарах» и других шедеврах, начинает в поэзии копировать неповторимого Владимира Владимировича.

Тем радостнее и удивительнее было читать замечательную поэму «Маяковский начинается», где, как Эльбрус под солнцем, встает живой образ великого поэта и нет ни капли подражания

ему. Здесь Асеев остался Асеевым. Это его страстная проповедь и в то же время проникновенная исповедь. Довоенная молодежь знала поэму наизусть. Она захлестывала наши сердца своей любовью к революции и ее певцу — Маяковскому.

Мне легко представить, как декламировал целые главы этой поэмы бесстрашный и застенчивый паренек из маленького Острогожска — Василий Кубанев, который перед самой войной постучался в квартиру Асеева. Что их так роднило — юного очкастого книголюба и седеющего поэта? Жгучая ненависть к его препохабию Мещанству, чью родословную темпераментно и зло написал Асеев:

Ловчитесь,
примеривайте,
считайте!
Ничем вас не сделать
смелей и новей,
весь круг мирозданья
сводящих к цитате, — подросших
лабазниковых сыновей.

Вася Кубанев разделял эти гневные мысли Асеева. А вот как он отхлестал противников Маяковского:

Стояла и орала критическая орава.
Чего орала, от чего орала?
Кто дал орать ораве право?

Прошло уже много лет, как нет Василия Кубанева, но он живет в книге «Идут в наступление строки», составленной из его стихов, фельетонов, дневников, писем, собранных по крупицам его другом Борисом Стукалиным. Фашистская бомба уничтожила дом и рукописи юного поэта и публициста. Но есть на свете верные друзья, свято хранящие каждую строчку погибшего бойца.

Не так ли Николай Асеев хранил память о Маяковском?

Поэма «Маяковский начинается» помогла нам глубже понять среду, в которой было душно «Владимиру Необходимовичу». Кто из нас не повторял этих замечательных строк:

А он любил,
как в рога трубил,
в других аппетит вызывая…

…Я завидовал Александру Коваленкову, на глазах которого создавалась эта замечательная вещь. У самого синего моря мой старший друг слушал новые и новые главы, «задолженность молодости стародавнюю». Трудно назвать другую поэму, которая бы так повлияла на формирование взглядов довоенной литературной молодежи.

У современных литмещан, безусловно, другие фамилии, а душонка та же, что у тайных и явных противников Маяковского. Перед войной взбешенные взлетом Асеева, они острили: «Маяковский начинается, Асеев кончается!» А молодежь понимала Николая Николаевича. Пожалуй, еще только Александру Фадееву так удавалось передать всю красоту, благородство и обаяние юности, полной презрения к расчетливому мещанину.

Уважаемые ребята!
Я вам искренне говорю, —
что топор, пила и лопата
любят утреннюю зарю.

Сколько в этих послевоенных асеевских стихах свежести, молодой упругости! Сразу догадаешься, что написал эти строки он и никто другой. Так как же могла молодежь остаться равнодушной к автору таких стихов!

Николай Николаевич искренне не мог понять, как можно одновременно любить Маяковского и Твардовского, а тем более у обоих у них учиться одновременно. А между тем оба этих очень разных и очень больших поэта идут от одного корня — творчества великого «певца мести и печали». Да, влияние Некрасова на нашу поэзию еще полностью не изучено. Ведь ему многим обязаны Александр Блок и Демьян Бедный, Владимир Маяковский и Сергей Есенин, Михаил Исаковский и Александр Твардовский. И, конечно же, сам Николай Асеев.

Я был очень удивлен и огорчен отношением Николая Николаевича к творчеству нашего замечательного земляка Алексея Кольцова. Того самого степного певца, которым

восхищались Станкевич и Белинский. Не его ли удаль и задор чувствуются не только в певучих, размашистых строках Есенина, но подземными ключами бьют и в творчестве Маяковского? А Асеев называл Кольцова «ухарем», и переубедить его было невозможно.

Из современных прозаиков Асеев тепло отзывался о Михаиле Алексееве, в частности, о его романе «Вишневый омуг». Из молодых поэтов Николай Николаевич отметил Юрия Панкратова и Ивана Харабарова. А ведь когда–то и Николай Ушаков был для Асеева молодым поэтом…

Обидно, что мы с ним мало говорили о человеке, имя которого для нас обоих было святыней. А ведь я так мечтал расспросить Асеева о живом Маяковском! Теперь не поправишь…

Странно, непривычно видеть силуэт Асеева на мемориальной доске у подъезда большого дома, где он жил. Но гораздо чаще я хожу неподалеку от Сокола по зеленеющей улице Асеева и вспоминаю ярого врага модернизированного мещанства, близкого друга и соратника Владимира Маяковского.

ХВАТКА КУЗНЕЦА

Имена Исаковского и Твардовского вошли в сознание моих сверстников почти одновременно. Критики и теперь часто ставят их рядом. Действительно, их многое объединяет. Но какие же это разные, во многом полярные индивидуальности!

А между тем оба они идут от Некрасова. Но если Исаковский по–своему развил и продолжил песенные некрасовские традиции, то Твардовский многое унаследовал от Некрасова–эпика, автора поэм «Мороз Красный нос» и ч«Кому на Руси жить хорошо».

Возьмите книгу Исаковского. Что ни стихотворение — песня. А стихи Твардовского труднее ложатся на музыку. Каждому свое.

На любом сельском празднике есть свои чудесные певцы и свои прекрасные плясуны. Твардовскому, как я и ко му другому, удалось передать в стихах полноту жизни, азарт, захватывающий ритм работы и пляски русского умельца, не любящего ударить лицом в грязь ни в труде, ни в гульбе. Раскройте наугад любую поэму. Вот странствующий Никита Моргунок, забыв про сказочную страну Муравию, разговаривает с первыми колхозниками:

Скажи — коси, скажи — носи,
Скажи — ворочай пни!..
Да я ж не лодырь, не злодей,

Да я ж не хуже всех людей…
Как хватит, хватит Моргунок,
Как навернет рогатками…
Сопит, хрипит, до нитки взмок,
Колотье под лопатками.

Тут автору превосходно удалось передать состояние своего героя, для которого работа — праздник. Афористичность, внутренняя рифмовка — все блестяще использовано поэтом. Динамическое, выразительное слово «навернет» тут очень к месту.

А вот Никита на колхозной свадьбе любуется пляской жениха. Внешний рисунок пляски удивительно гармонирует с ее ритмом. Все делается легко, естественно, артистично. Помнится, когда я впервые читал «Страну Муравию», многие ее герои чудились живыми русскими богатырями. Да так оно и есть.

Михаил Исаковский не только старший друг, но и первый учитель Александра Твардовского, еще в Смоленске щедро поддержал начинания земляка–самородка. А к пятидесятилетию Александра Трифоновича он писал в статье «Наш самый лучший поэт»: «А. Т. Твардовский как–то сказал, что одним из признаков по–настоя–щему хороших стихов является то, что эти стихи представляют интерес не для какого–либо узкого круга любителей поэзии, а их читают, ими интересуются, их любят и все те люди, которые стихов обычно не читают.

И в этом высказывании заключена очень большая правда. И этой правде следует прежде всего сам А. Твардовский».

Помнится, Михаил Исаковский однажды сказал, задумчиво попыхивая папироской:

— А вы заметили, что сквозь все творчество Александра Трифоновича проходит образ дороги? Это смоленские проселки Моргунка, фронтовые дороги Василия Теркина и Андрея Сивцова, чужедальние дороги его детей и жены Анюты и, наконец, великий сибирский путь самого Твардовского в поэме «За далью — даль».

Лично мне ближе всего две поэмы Александра Твардовского «Страна Муравия» и «Василий Теркин».

«Страна Муравия» мне представлялась звонкой, кованой поэмой, а ее автор — рослым кузнецом. Потом я узнал, что он и в самом деле сын кузнеца. Киевский поэт и литературовед Леонид Вышеславский сравнивал Александра Твардовского с Иваном Франко, тоже сыном кузнеца. Конечно, поэты они очень разные, но их стихи сближает размах и упругость строк.

Я думаю о том, сколько критических копий поломано, сколько чернил израсходовано на то, чтобы доказать «первородство» того или иного произведения. «Такой–то поэт поднял такую–то тему первым!» Ну и что же из этого? Твардовский сам свидетельствует, что сюжет «Страны Муравии» ему подсказало выступление Александра Фадеева, отметившего, какая благодатная тема — странствия по стране неприкаянного Никиты из панферовских «Брусков». Автор «Страны Муравии» так и назвал своего героя — Никита. Очевидно, прав Анатоль Франс, сказавший, что побеждает не тот, кто пишет первым, а тот, кто напишет сильнее и глубже.

В дни войны с белофиннами в армейской газете родился веселый персонаж Вася Теркин, любимец советских бойцов. Авторами его были несколько литераторов, в том числе и Александр Твардовский. Поэт Борис Палийчук рассказывал мне, как они вместе с Александром Трифоновичем работали в тревожные годы Отечественной войны над другим образом — смелого и веселого солдата Ивана Гвоздева, шагавшего по страницам фронтовой газеты. Но между неунывающими, но не очень–то глубокими газетными «родичами» Теркина и образом самого Теркина — принципиальная разница. Автору поэмы удалось «влить» в своего героя живую кровь.

То серьезный, то потешный,
Нипочем, что дождь, что снег, —
В бой, вперед, в огонь кромешный
Он идет, святой и грешный,
Русский чудо–человек.

А сам Твардовский после войны был уже полон новых замыслов.

— Настоящий художник не может топтаться на месте, — говорил он. — Надо искать, двигаться вперед. А смаковать вчерашние достижения — удел подражателей.

В одном из писем ко мне автор «Теркина» высказал свой принцип, которого неуклонно придерживается: «Стихи новые должны больше отличаться от старых, оставаясь, конечно, стихами Вашими».

Даже такой далекий по убеждениям от Твардовского писатель, как Иван Бунин, по достоинству оценил «Василия Теркина». 10 сентября 1947 года он писал в Россию своему другу Николаю Телешеву: «Я (читатель, как ты знаешь, придирчивый,

требовательный) совершенно восхищен его талантом — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно–пошлого слова!»

Интересно отметить, что ядреному, меткому языку поэт Твардовский больше учился у Бунина–прозаика, чем у Бунина–поэта. У нас мало еще изучают, как проза влияет на поэзию, и наоборот. Известно, что Александр Макаров в свое время говорил о влиянии чеховской прозы на стихи Твардовского.

Удивительно, что этот критик, тонко чувствовавший своеобразие творчества Твардовского и давший один из самых глубоких анализов «Василия Теркина», несколько упрощенно понял предвоенные сельские стихи смоленского самородка, полемически назвав их поэзией «умиротворенности и нравственного покоя».

Нет, «Сельская хроника» Твардовского дышала не умиротворенностью и нравственным покоем, а нравственным здоровьем, без которого невозможно представить и Василия Теркина. Александр Макаров очень верно подметил, что суровые годы испытаний помогли автору углубить счастливо найденный характер героя. Но ведь характер–то этот подготовила не только «Фронтовая хроника», но и «Сельская хроника», автор которой жадно всматривался в новь деревенской жизни. Нам легко представить сельского парня Васю Теркина в кругу печника Ивушки, деда Данилы и других любимых довоенных персонажей поэта. Именно эта среда и породила Теркина. Какой душевностью веет в его воспоминаниях от слов «мой родимый сельсовет»!..

В моей памяти всплывают далекий казачий городок Урюпинск, сорок второй год, два моих горячих товарища, наши юношеские споры в затемненном парке под нарастающий гул нацистских бомбардировщиков. Мы спорили о Есенине и Твардовском. Мои друзья доказывали мне, что вот Сергей Есенин — тот любил правду, а Твардовский в сельских стихах — «приукрашивал». Я не меньше их любил Есенина, но яро отстаивал любимые стихи из «Сельской хроники», которую почти всю помнил наизусть.

Не знаю, где теперь эти два моих урюпинских товарища. Они были на год старше меня, им довелось защищать Сталинград. Но если хоть один из них остался жив — уверен: он всей душой полюбил «Василия Теркина», лучшую, правдивейшую книгу о войне «не ради славы — ради жизни на земле». В какой же поэме, кроме пушкинского «Евгения Онегина», с такой захватывающей

искренностью нарисован автопортрет поэта? Автор «Теркина» передает свои сокровенные надежды и тревоги.

Помню, как читал и перечитывал эти строчки в холодной библиотеке артиллерийского училища.

Я дрожу от боли острой,
Злобы горькой и святой.
Мать, отец, родные сестры
У меня за той чертой.
Я стонать от боли вправе
И кричать с тоски клятой:
То, что я всем сердцем славил
И любил, — за той чертой.

За оледеневшими стенками не было видно угрюмой уральской тайги, зато явственно виделся летний день на довоенной Смоленщине, куда меня перенесла волшебная сила поэзии. И я, полуголодный, стриженый семнадцатилетний парнишка в курсантских погонах, хмелел от живительной музыки стиха, боли за свой степной оккупированный городок и веры, что все мы, если останемся живы, еще побываем в своих освобожденных местах.

Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?

Это властный голос совести не только Теркина, но и всего нашего поколения. Из самой глубины души вырвались искренние, непоказные слова:

Мне не надо, братцы, ордена,
Мне слава не нужна,
А нужна, больна мне Родина,
Родная сторона!

Как–то армянский поэт Севак сказал мне:

— Твардовский не просто поэт. Он писатель!

Этим он хотел подчеркнуть, что Твардовский — мастер самобытных характеров. Такое поэтам удается редко. И Никита Моргунок и Василий Теркин — типы своей эпохи. Поэтому–то произведения Александра Твардовского и читают миллионы.

Одновременно с «Теркиным» автор работал над лирической поэмой «Дом у дороги». Это горькая, правдивая вещь. Некоторые критики пытались поставить ее, как потом и «За далью — даль», выше «Теркина». Но вот прошло время. В памяти народной остались прежде всего «Страна Муравия» и «Василий Теркин». Почему?

Да потому, что они сверкают не одной какой–нибудь гранью, а всеми гранями самобытного таланта Твардовского. В последующих же поэмах верно схвачено настроение, но нет характеров героев. А ведь умение лепить живые человеческие характеры, это драгоценное качество, унаследованное поэтом от русских классиков, не менее сильная его сторона, чем глубокий, пронзительный лиризм.

Властная и горькая мощь лиризма чувствуется в стихотворении «Я убит подо Ржевом» и в наиболее сильных главах поэмы «За далью — даль», хотя бы в «Двух кузнецах».

Мне с той поры в привычку стали
Дутья тугой, бодрящий рев,
Тревожный свет кипящей стали
И под ударом взрыв паров.
И садкий бой кувалды древней,
Что с горделивою тоской
Звенела там в глуши деревни,
Как отзвук славы заводской…

Эти строки кованы любящим сердцем сына кузнеца. Здесь и первые детские впечатления, и рельефная зримость рисунка, и большое обобщение, и захватывающий ритм труда, на котором держится белый свет.

Помнится, в тридцатые годы из черной тарелки репродуктора доносились живые, то усмешливые, то грустные стихи раннего Александра Твардовского. И «Страна Муравия» и «Сельская хроника» и «Фронтовая хроника» дышали близкой и понятной жизнью: шла война с белофиннами.

Уже тогда Твардовский почувствовал близость грандиозной решающей схватки с нацизмом. И в предисловии к одной из своих

книг заявил, что все свое творчество теперь посвятит армии. Чутье не обмануло большого художника, именно тогда в его воображении родился яркий, новаторской образ Василия Теркина, помогший поэту глубоко и всеобъемлюще изобразить наш народ в эпоху Отечественной войны. Твардовский был подготовлен к этому творческому подвигу больше, чем другие его современники–поэты.

Надо ли говорить, кем были для нас, молодых солдат, Василий Теркин и его автор! У меня даже были такие стихи:

Мне редактор дает советы:
— Ты, Володька, учись у Теркина!

Хочется отметить такую закономерность, свидетельствующую о подлинной народности этого любимого детища Александра Трифоновича. Теркина в то время знали больше, чем Твардовского, как, впрочем, и девушку Катюшу из знаменитой песни знали больше, чем Исаковского.

Помню, в 1950 году, когда Твардовский стал главным редактором «Нового мира», я послал ему свой «Белгород», лирический цикл о родном моем спаленном и возрожденном городе, где я побывал после демобилизации. Волнуясь, ждал я ответа на стихи, старательно, но не очень–то чисто напечатанные моей старой матерью. И вот наконец пришла телеграмма из Москвы: «…Стихи получил. Десять из них печатаются шестой книге «Нового мира». Поздравляю. Твардовский».

Не забуду обсуждение моих стихов, на котором присутствовали Александр Твардовский, Михаил Исаковский, Самуил Маршак, Анатолий Тарасенков, их книги с дарственными надписями, совместное выступление перед студентами Тимирязевки…

Перебирая открытки и письма, полученные от Александра Трифоновича, я теперь особенно ясно вижу не только поэта, но и гражданина. «…Письмо Вашего друга я прочел с большим интересом. Это человек явно незаурядный по–хорошему. Но из письма сейчас ничего нельзя сделать. Нет конца, нет результата сложившихся обстоятельств. Если (что было бы крайне огорчительно) его выживут из школы, вообще одолеют всякие «инспектора», тогда можно было бы разгромить их по–газетному. А если он устоит — и это нужно, — он должен устоять и «найти правду», то тоже об этом стоило бы написать…»

Должен сказать, что Александр Трифонович не стал

дожидаться, пока честного человека «выяшвут из школы», а связался с «Учительской газетой», которая послала на место своего спецкора и выступила в защиту моего фронтового друга, замечательного педагога–макаренковца.

Щедрость и широта были свойственны Твардовскому не только как художнику, но и как человеку. Это почувствовал Валентин Овечкин, работавший над «Районными буднями», и юморист Гавриил Троепольский. Это в огромной степени я испытал на себе.

Никогда не забуду, как в Центральном доме литераторов Александр Трифонович приветствовал юного земляка в летной фуражке — Юрия Гагарина.

— Вы блестяще выдержали испытания в космосе. — И добавил с характерной шутливой улыбкой: — Теперь вам осталось выдержать на Земле испытание славой.

Признаюсь: в эту минуту мне почудилось, что на сцене стоит и третий их земляк — улыбающийся Василий Теркин. Больше того. Молодой веселый майор Юра Гагарин показался мне его младшим братишкой. Никто из нас тогда не думал, что на этой сцене, на том же самом месте, где Александр Твардовский обнимал своего земляка, будет стоять красный гроб, утопающий в цветах, а проход зала будет запружен скорбными людьми с обнаженными головами.

Рассказы бывших однокашников моего учителя уносят меня в его молодость. Вот он сидит за столом в аудитории ИФЛИ, а рядом с ним, смолянином, ивановец Михаил Кочнев. Он, волнуясь, пытается зачинить карандаш, а стержень все время ломается. Тогда Саша Твардовский молча берет злополучный карандаш и, заточив его, артистично, с плотницкой сноровкой, возвращает хозяину:

— Вот так и стихи, брат, надо писать!

— Саша, а не слишком ли ты гордый?

Голубые глаза Твардовского чуть туманятся.

— Вот тут–то ты, Миша, не прав. Я и плакать умею. Помню: жил в тесной комнатушке. Жена, маленькая дочка. Вдруг телефонный звонок. Подбегаю с дочкой на руках к телефону. А в трубке: «С вами говорит Фадеев. Прочел Вашу поэму «Страна Муравия». Если сможете, приезжайте сейчас же ко мне. Поэма очень понравилась, будем печатать…» Слушаю, прижал к груди притихшую дочку и чувствую: слезы на щеках…

А потом сам Твардовский поддержал первые шаги столь разных поэтов, как ивановцы И. Ганабин и В. Жуков, москвичи А. Марков и К. Ваншенкин, ульяновец Н. Краснов и смолянин В. Фирсов, воронежец Е. Исаев и краснодарец И. Вараввa, украинец

С. Мушник и дагестанец Р. Гамзатов.

Беру книги учителя. «…Всего доброго в жизни и творчестве». «С пожеланием доброго здоровья и всяческих радостей»… — читая эти надписи, я словно слышу его живой голос. Многие знакомые стихи его нынче звучат как–то иначе, еще глубже, одухотвореннее. Читаю и перечитываю его строки о земле, по которой ходим мы с вами.

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жить завещаю, —
Что я больше могу?

ПРОСТОТА

Мои сверстники еще в школе учили стихотворение Веры Инбер «Пять ночей и дней», написанное на смерть В. И. Ленина. Мы, родившиеся после этой скорбной даты, ясно видели, как

…потекли людские толпы,
Неся знамена впереди,
Чтобы взглянуть на профиль желтый
И красный орден на груди.
Текли. А стужа над землею
Такая лютая была,
Как будто он унес с собою
Частицу нашего тепла.

Какие простые и чеканно–строгие строки! Это волнующее стихотворение родственно «Снежинкам» Демьяна Бедного:

…Казалося: земля с пути свернула.
Казалося: весь мир покрыла тьма.
И холодом отчаянья дохнула
Испуганно–суровая зима.
Забуду ли народный плач у Горок,
И проводы вождя, и скорбь, и жуть,

И тысячи лаптишек и опорок,
За Лениным утаптывавших путь!

Могучий бас Бедного и негромкий голос Инбер объединяет общее горе, народная скорбь по Ильичу. Нелегкой дорогой пришла Вера Инбер к принятию революции. Вот как она сама рассказывает об этом в «Автобиографии»: «Свой первый сборник «Печальное вино» я послала Ал. Блоку. Он ответил мне. К сожалению, письмо его не сохранилось. Но я хорошо помню его поощрительные слова. Меня они воодушевили, особенно фраза, что в моих стихах он ощутил «горечь полыни, порой настоящую»…

В 1922 году я поселилась в Москве, и здесь я почувствовала, что мои ранние сборники стихов: «Печальное вино», «Горькая услада», «Бренные слова» — были только вступлением в литературную жизнь… она была еще впереди… Мне особенно дороги стихотворения «Пять ночей и -* дней» и «Вполголоса», которые отразили мою внутреннюю перестройку…»

А вот и сами стихи «Вполголоса», скорее исповедь, чем декларация возмужавшей поэтессы:

…Например, я хотела бы помнить о том,
Как я в Октябре защищала ревком
С револьвером в простреленной кожанке.
А я, о диван опершись локотком,
Писала стихи на Остоженке.
…Пафос мне несвойствен по природе.
Буря жестов. Взвихренные волосы.
У меня, по–моему, выходит
Лучше то, что говорю вполголоса.

Поэтесса ошиблась. Когда настали суровые дни ленинградской блокады, ей понадобился не только разговор вполголоса, но и неподдельный пафос, свойственный героическим защитникам города Ленина.

Вспоминая трудное становление Веры Инбер, Анатолий Тарасенков писал: «…Камерность литературной манеры все еще остается серьезнейшим недостатком ее творчества. Именно это продиктовало Маяковскому на одном из диспутов его шутливо–полемическое определение — «фарфоровая чашечка Веры Инбер»,

определение, к которому поэт прибег, критикуя ее. Маяковский подчеркивал, каких новых форм, небывалых по своему демократизму и социальной емкости, требует новая революционная тема в поэзии.

В поисках более тесной связи с жизнью Вера Инбер начала работать в газетах — в качестве очеркиста, корреспондента, фельетониста. Это помогало ей узнавать новую действительность и весьма положительно сказалось в дальнейшем в работе и над стихами и над художественной прозой».

И вот Вера Инбер написала свою лучшую вещь — поэму «Пулковский меридиан». Здесь есть все: и разговор вполголоса, и любимые поэтессой детали быта, но есть и настоящий пафос, не покидавший мужественных ленинградцев в тяжелые дни. Впечатляющ трагический аккорд:

И правда, в этом городе, в котором
Больных и мертвых множатся ряды,
К чему эти кристальные просторы,
Хрусталь садов и серебро воды?
Закрыть бы их!.. Закрыть, как зеркала,
В дому, куда недавно смерть вошла.

Но жизнь в блокадном студеном городе продолжалась. И вот рядом бытовая зарисовка, не лишенная горького юмора:

А тут еще какой–то испоганил
Всю прорубь керосиновым ведром.
И все, стуча от холода зубами,
Владельца поминают недобром:
Чтоб дом его сгорел, чтоб он ослеп,
Чтоб потерял он карточки на хлеб.

В концовке же «Пулковского меридиана» слышится грозный гул меди, как и в замечательной поэме–балладе «Киров с нами» Николая Тихонова.

Преследуем единственную цель мы,
Все помыслы и чувства об одном:

Разить врага прямым, косоприцельным,
И лобовым и фланговым огнем,
Чтобы очаг отчаянья и зла —
Проклятье гитлеризма — сжечь дотла.

Поэма «Пулковский меридиан» и ленинградские дневники «Почти три года» как бы дополняют друг друга в творчестве Веры Инбер. И в стихах и в прозе она демонстрирует мастерское владение художественной деталью. Но деталь нигде не превращается у нее в самоцель. Лучше всего она сама сказала об этом в «Пулковском меридиане»:

(В системе фильтров есть такое сито —
Прозрачная стальная кисея,
Мельчайшее из всех. Вот так и я
Стараюсь удержать песчинки быта,
Чтобы в текучей памяти людской
Они осели, как песок морской.)

Поэтесса везде соблюдает чувство меры. В одном из писем мне она писала: «…Вы по–прежнему сильны в деталях. У Вас есть чувство точности… Никакого бытовизма. Бойтесь натурализма. Даже грубость в поэзии (и вообще в литературе) не надо передавать так, как в жизни. Об этом еще Горький писал…»

Понимаете: «никакого бытовизма!» И это пишет мастер бытовой детали. Да, в «Пулковском меридиане» нигде нет детали ради детали, все они одухотворены большой мыслью и чувством.

Через много лет, будучи членом редколлегии журнала «Знамя», Вера Инбер вместе с редактором Вадимом Кожевниковым и его заместителем Александром Макаровым помогла мне в работе над поэмой «Крутогорье» и «Балладой о наследнике». Очевидно, помогала она и не только мне. Ее творческий путь поучителен для молодых поэтов, которые иной раз долго блуждают в трех соснах литературщины, не имея мужества пробиться к большой жизни и большой простоте.

НЕУКРОТИМЫЙ ТЕМПЕРАМЕНТ

Знакомый переулок у самой Арбатской площади. И дом такой, как был тогда. А вот мемориальной доски не было. Под

барельефом написано: «В этом доме жил…» Не верится. То есть как жил? Неужели Ромашов больше никогда не выйдет тебе навстречу, не улыбнется приветливо, не пошутит. Я поднимаюсь по лестнице и снова забываю про мемориальную доску. Я хочу видеть его живым!

С Борисом Сергеевичем Ромашовым меня познакомили друзья в Переделкине. Они рассказали ему, что я пишу комедию в стихах.

— В стихах? — удивился Борис Сергеевич. — Интересно, интересно! Дайте почитать.

Читал он быстро. Через несколько дней мы встретились. Борис Сергеевич любил «прощупать» собеседника умными, чуть насмешливыми глазами:

— Значит, в стихах? Иные, знаете, не рискуют. А я лично люблю пьесы в стихах. В них чаще встретишь романтику, которой так не хватает иным бытовым пьескам. Я хорошо знал Виктора Гусева. Лучшие его пьесы с полетом. И Всеволод Вишневский, хотя стихов и не писал, но был поэтом.

Борис Сергеевич подробно разобрал мою первую пьесу, дал много дельных советов. С ним было легко разговаривать и даже спорить. Маститый драматург в беседе и сам воодушевлялся, в глазах его вспыхивали молодые огоньки, он энергично жестикулировал. Не было и в помине той невидимой стены, которую любят ставить между собой и учениками иные седовласые мэтры. Вот уж где царил поистине горьковский дух!

На творческом семинаре в Литературном институте, где преподавал Борис Сергеевич, он сам читал мою пьесу. И я с моими товарищами увидел, каким чудесным даром перевоплощения обладал наш руководитель. Обсуждение было бурное. Борис Сергеевич остался доволен. Он любил споры молодых. Таков уж был его темперамент.

На мой вопрос, над чем он сейчас работает, Ромашов лукаво усмехнулся. А планов у него было много. Он обдумывал драму «Набат» из гражданской войны, мечтал об острой сатирической комедии. Недавно в книге «Вместе с вами» (составитель А. Ромашова, редактор Н. Абалкин),, изданной Всероссийским театральным обществом, я прочел интересную запись в дневнике Бориса Сергеевича от 4 марта 1952 года. Это как бы исповедь мастера–драматурга и публициста:

«…Ой, как хочется написать крепкую комедию, со злостью, против мерзости в людях, со взлетом в будущее!

Ой, как хочется доказать, что еще не умерла настоящая сила в драматургии, не философски картавая гладкопись, а живопись современных характеров! Чтобы затрепетал от радости народ,

изнывающий от жажды истинного крепкого слова на сцене, от тоски, что все прохвосты остаются в тени. Да, за ушко их да на солнышко! Чтобы попискивали да поскрипывали …разные двурушники, мечтающие в душе о «прелестях» «американского образа жизни». Есть такие — смотрят лгущими глазами, создают паутинную склоку и разбрасывают блох, отравленных ненавистью друг к другу. Это современные модные «советские» деляги разъезжают в собственных машинах по автострадам драматургии, не имея на это никакого права по обычаям нашего советского общества! Они–то и думают, что ловкачество, жульничество, этакое «бизнесменство» и есть стиль здорового предпринимательства! Эх, дать бы им по морде при всем народе, чтобы умный, трудолюбивый народ, который в труде, в лишениях строит будущее, знал бы, что не эти «пузыри на лужах», как бы крупны и многоцветны они ни были, составляют соль земли нашей, а они только пенкосниматели, проворством рук добывающие огромный жирный кусок пирога! Мало ли таких!.. На сцену их! На всеобщее, всенародное посмеяние! Чтобы легче дышалось честным труженикам советского общества».

Эти строки написаны одним из зачинателей советской драматургии, автором «Воздушного пирога» и «Конца Криворыльска», о которых высоко отзывался А. В. Луначарский. Первым произведением юного Бориса Ромашова была сатирическая комедия «Сон гражданина Обухова», не увидевшая света рампы, зато давшая направление всему творчеству драматурга. Затем он удачно дебютировал пьесой «Федька–Есаул».

А ведь потом еще были «Огненный мост» и «Бойцы», «Знатная фамилия» и «Великая сила», где жизненный драматизм оттенялся сочным юмором и где блестяще играли многие наши ведущие актеры.

«Один из самых любимых авторов моего Малого театра» — назвала Ромашова народная артистка СССР А. А. Яблочкина.

«Из волнующего, незабываемого творческого прошлого шлю Вам, дорогой Борис Сергеевич, горячий привет и твердо верю в нашу будущую встречу в искусстве», — писала в 1955 году народная артиска СССР В. Н. Пашенная.

Б. Ромашов и его жена А. Ромашова

Горячо приняли зрители фильм–спектакль «Огненный мост», поставленный по инициативе замечательного актера и режиссера М. Ф. Романова в последний год жизни драматурга. Ввиду болезни автор написал обращение к телезрителям, заканчивавшееся знаменательными словами: «Я нахожусь вместе с вами…» Вместе с вами. Он словно слышал стук сердец возбужденных зрителей.

«Вместе с вами» — так называется книга, состоящая из писем, статей, стенограмм выступлений, дневниковых записей драматурга. Невольно соглашаешься с составителем книги Александрой Ромашовой, что «в сущности — это биографически–документальная повесть о творческом пути актера, режиссера, драматурга, публициста и педагога».

Ромашов всегда чувствовал себя наследником замечательных традиций русской классической драматургии, с высоким гражданским пафосом боролся за них, пропагандировал их везде, в том числе и в аудиториях Литературного института имени Горького.

Борис Сергеевич и его хлебосольная жена Александра Александровна любили гостей… В московской квартире Ромашовых и на даче в Переделкине я часто встречал молодых драматургов, поэтов и актеров. На рабочем столе Бориса Сергеевича громоздилась гора рукописей молодых. Особенно неравнодушен был он к одному моему другу, интересному

многообещающему поэту. Прочитав фрагменты его будущей поэмы, Ромашов ждал продолжения. А его не было…

— Разве можно так относиться к своему таланту! Какая неорганизованность! Передайте вашему другу, что я сержусь на него!

По–отцовски Ромашов вникал в творчество драматургов Ивана Куприянова и Игоря Соболева, поэта Егора Исаева, прозаиков Евгения Белянкина и Николая Ершова.

Однажды Борис Сергеевич прочел наброски рецензии на одну модную тогда пьесу с мещанским душком. С каким сарказмом вскрывал он ее зависимость от рецептов, некоторых западных ремесленников!

Но если Ромашов верил в пьесу и ее автора, он смела бросался на защиту. Так было с пьесами моих товарищей и моей пьесой, которую Борис Сергеевич поддержал и в статье, опубликованной в «Правде», и на Третьем съезде писателей Украины.

Никогда не забуду чуткости, человечности нашего учителя. Когда я заболел, Борис Сергеевич навестил меня в номере гостиницы, долго и душевно беседовал со мной. А сколько радостных и озабоченных телеграмм и писем получали от него мы, его ученики!

Листаю стопку телеграмм и писем и, как живого, вижу Бориса Сергеевича: «Срочно высылайте пьесу. Обещали помочь…» «Срочно высылайте телеграфом заявление Высшие литературные курсы…» Срочно, срочно… Нетерпеливая, беспокойная натура.

Хочется привести несколько выдержек из его писем, поучительных, очевидно, не только для меня.

«…Возможно, что работа с театром внесет в нее (пьесу «Клещиха» — В. Ф.) новые черты. Возможно, Вы сами после известного отхода от работы над ней иначе на многое посмотрите. Мне думается, что очень важно усилить позитивное начало в пьесе, то есть звучание положительных образов, приблизить ее к современности, к сегодняшним дням…»

«После «Ливня», вещи, на мой взгляд, чрезвычайно общественно широкой, с яркими отдельными характерами, эта пьеса написана с какой–то «заминкой». Весьма вероятно, что сказалась вся эта история с предыдущей пьесой, в которой Вы широко размахнулись, и, встретив немало сопротивлений с разных сторон, сказали себе: «Делай шаги помельче, больно широко шагаешь!

…Но, мне кажется, что, подумав хорошенько, Вы придете к выводу, что не стоит самому себя пеленать, а нужно скорее всего все же бороться с косностью, которая существует к крупным

большим темам…»

Таков он был до последнего дня своей жизни — острый и участливый, мудрый и по–молодому задиристый. Уже после его смерти Александра Александровна, закончившая и издавшая его последнюю пьесу «Набат в горах», прочла мне его юношеские и более поздние стихи. Так, значит, он и сам писал стихи? Стала понятнее его любовь к поэзии и особенно к пьесам в стихах! Слушая строки молодого Бориса Ромашова, я глубже ощутил, как возник в его пьесах тот неповторимый накал, та высокая романтика, сплавленная сердцем художника воедино с острой сатирой, без промаха разящей разнокалиберных мещан.

На одной из могил Новодевичьего кладбища растут колючий каштан и ласковая береза. Для меня они олицетворяют чету Ромашовых.

ВДУМЧИВОСТЬ

В стихах Степана Щипачева эмоция всегда слита с мыслью. Ему свойственна сдержанность в выражении чувств. Помнится, много лет назад Ольга Берггольц яростно обрушилась на его стихотворение «Любовью дорожить умейте», обвиняя его в рассудочности. А между тем, это стихотворение, как степной цветок на черноземе, рождено народной мудростью. Нет, это не холодная мораль, а выстраданный сердцем жизненный опыт:

Все будет: слякоть и пороша.
Ведь вместе надо жизнь прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
А песню нелегко сложить.

Сравнение любви с песней, которую нелегко сложить, здесь и неожиданно и в то же время закономерно. Поэт тонко уловил не внешнее, а внутреннее сходство явлений. Степан Щипачев в своей поэзии последователен в отстаивании чистоты большой любви. Почти тридцать лет назад он противопоставил ее так называемой «свободной любви»:

Ты порой целуешь ту, порою — эту
В папиросном голубом дыму.
Может быть, в упреках толку нету,
Да читать мораль и не к лицу поэту, —
Только страшно стариться тому,
Кто любовь, как мелкую монету,
Раздавал, не зная сам кому.

Такие стихи не забываются, как не забылась щипачевская ранняя «Березка», которая неподвластна ни ливню, ни бурану:

Но, тонкую, ее ломая,
Из силы выбьются… Она,
Видать, характером прямая,
Кому–то третьему верна.

Мне помнится, как эти стихи любила очень чистая и целеустремленная девушка. Кто знает, может, не без влияния этих стихов она нашла, утвердила себя в жизни.

До войны Степан Щипачев написал много хороших стихов о любви целомудренной, облагораживающей человека. Но самые большие удачи ждали поэта не там, где он писал: «И будут девушке всего милее дыминки счастья у тебя в глазах», а там, где большая любовь органически вплеталась в грозовую эпоху.

Меня, как и многих моих сверстников, перед войной по–настоящему взволновало щипачевское стихотворение о юном буденновце:

За селом синел далекий лес,
Рожь качалась, колос созревал.
Молодой буденновский боец
У межи девчонку целовал…
Полушалок от росы промок.
У девчонки в горле слез комок.
Парень пулей срезан наповал.
Рожь качалась. Колос созревал…

Большое чувство в концовке стихотворения озаряется большой мыслью, где нет и намека на рассудочность, назидательность. Это обращение к молодому современнику:

Может быть, тебе семнадцать лет,
И в стране тебя счастливей нет.
Светят звезды, город сном повит,
Ты влюблен, ты обо всем забыл…
А быть может, счастлив ты в любви,
Потому, что он недолюбил.

Эти давние строки не потеряли своей поэтической силы и сегодня. Что же касается рассудочности и назидательности, то надо прямо сказать: элементы ее встречаются в стихах Щипачева, как бы перепевающих его же сильные вещи. В одной из книг поэта

почти соседствуют два стихотворения, неплохо задуманные. Но их ослабляют умозрительные концовки:

…Чтоб в такие надежные руки
Свое девичье счастье отдать.
(1944)

…Богата она не добром в сундуках —
Счастье твое у нее в руках.
(1948)

Естественно, по издержкам нельзя судить о творчестве в целом, как это делают иные торопливые критики. Вот стихотворение, написаное в 1945 году. Сколько в нем настоящей поэзии! И хотя речь в нем идет просто о ветре и просто о женщине, невольно чувствуешь: это ветер Победы — автор смотрит на женщину влюбленными глазами вернувшегося фронтовика.

Вот ветер налетел упругий
И прядь волос растеребил,
Почти девические груди
И бедра платьем облепил.
А женщина стоит, где сливы
И яблони листвой кипят, —
И ветер скульптором счастливым,
Должно быть, чувствует себя.

В этой миниатюре много жизнелюбия человека, фронтовика, истосковавшегося в окопах за четыре суровых года по женской ласке.

Отзывчивость Щипачева чувствуется в его лучших стихах. Эту отзывчивость он проявлял не раз к младшим товарищам по перу. Весной 1945 года далеко за Дунаем я получил из редакции журнала «Советский воин» письмо, подписанное Степаном Щипачевым: «Ваше стихотворение напечатано в № 7–8. Авторский

экземпляр Вам выслан уже давно… Вы не только батарейный поэт… Желаю успеха»…

Это были мои первые стихи, опубликованные в московском журнале. Назывались они «Вместо письма», и концовка их, по интонации оставаясь моей, была чем–то, очевидно, близка С. Щипачеву, по крайней мере его взглядам на любовь. Вот она:

Мне говорят, что будто бы на свете
Есть девушки красивее, милей,
А мне плевать на прелести на эти,
Выла бы ты подругою моей.
С тобой за партой вместе мы сидели,
Обоим нам не спится от тоски,
И я хочу, чтоб вместе поседели
Под старость наши буйные виски.

А когда через пять лет в журнале «Новый мир» был напечатан мой лирический цикл «Белгород», Степан Петрович прислал мне в Харьков очень теплое письмо. Написано оно было тогда, когда журнал еще не вышел: «…Я прочитал Ваш цикл «Белгород», который выходит в шестом номере «Нового мира». Это — прекрасные стихи. Я давно не читал таких свежих стихов. Они радуют самостоятельностью и естественностью интонации, конкретностью, обаятельностью подлинного таланта. Сердечно поздравляю Вас, радуюсь за Вас, за нашу поэзию».

Очевидно, Степан Петрович преувеличил достоинства моих стихов. Но тут дело не во мне, а в нем, Щипачеве, в его отзывчивости, умении радоваться за других.

Помнится, когда в старом ЦДЛ на поэтической секции обсуждались эти же стихи, и два вологодских земляка — Александр Яшин и Сергей Орлов — скрестили из–за них критические шпаги, вошел Степан Щипачев и спокойно повторил свое мнение, высказанное в письме ко мне.

После окончания обсуждения Степан Петрович подошел к неторопливому Евгению Винокурову, о стихах которого тоже шел разговор, и ко мне и пригласил нас к себе. В своем кабинете в Союзе писателей Щипачев долго рассматривал нас обоих.

— Вы очень разные. Ваши стихи, тоже очень разные, пришлись мне по сердцу. Давайте дружить.

Это было сказано без всякой позы, искренне, от души.

На своей книжке избранных стихов Степан Петрович написал мне всего Одно слово: «Дружески».

Как–то Степан Петрович прислал мне в Харьков письмо: «…За «Девушку из–за Дуная» спасибо. В книге много живого, взволнованного. Желаю новых успехов, здоровья…»

Почему я здесь привожу эти письма? Да потому, что они очень характерны для Щипачева, поддержавшего многих молодых поэтов. Не все его суждения о их творчестве я разделяю. Но вот совсем недавно искренне порадовался, когда узнал: первым поздравил очень скромного и даровитого поэта Владимира Семакина с прекрасным лирическим циклом в «Огоньке» Степан Щипачев. Да, Степан Петрович обладает той бескорыстной отзывчивостью, способностью радоваться за новое поэтическое слово, которой недостает некоторым его и нашим сверстникам. Я бы назвал это чувством гражданского долга. Им пронизаны лучшие стихи Щипачева:

Я мог давно не жить уже:
В бою под свист и вой,
Мог пасть в соленом Сиваше
Иль где–то под Уфой…

Не я — в крови, полуживой
Растерзан и раздет —
Молчал на пытках Кошевой
В свои шестнадцать лет…

Чем им обязан — знаю я.
И пусть не только стих,
Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их.

Для меня вершиной творчества Степана Щипачева является его поэма «Домик в Шушенском». Прошло почти тридцать лет, как она была написана, эта проникновенная вещь, вылившаяся из сердца поэта в суровые годы войны, но она ни капельки не устарела.

Покойный ныне Семен Гудзенко рассказывал, как они вместе со Степаном Петровичем ездили в 1944 году в далекую Туву. По пути заехали в Шушенское.

— Удивляюсь! — говорил Гудзенко. — Зашли вместе в избу, где жил в ссылке Ильич, долго стояли, молчали. Потом все рассматривали: и зеленый абажур, и камышовую ручку Ильича, и книги… И вдруг потом Степан Петрович написал такую

замечательную вещь.

Но так ли «вдруг»? В эти минуты торжественного молчания вся жизнь, видно, прошла перед глазами поэта. И надо было прожить настоящую жизнь, чтобы написать эту настоящую вещь.

Как–то Степан Петрович сказал:

— Время многое отсеивает. Пожалуй, время самый справедливый судья.

Его поэма «Домик в Шушенском» и его лучшие стихи выдержали испытание временем.

Неподдельный лиризм органически слит в лучших щипачевских стихах с гражданственностью. Хорошо, крылато сказал поэт:

Решать партийные дела
Нельзя, не чувствуя весны.

ОХОТНИК С АЛТАЯ

С зеленой обложки одного из номеров «Роман–газеты» улыбается седой человек. «Поэма о лесах», заключительная книга трилогии «Жизнь Алексея Рокотова», удостоенная Государственной премии. Не верится, что автора этого замечательного труда уже нет в живых…

Много лет назад я впервые увидел Ефима Пермитина, плотного жизнерадостного человека в зеленой охотничьей куртке. Потом нам довелось работать вместе в редколлегии российского литературного еженедельника. Ефим Николаевич многих заражал юношеской энергией, увлекал потоком самых разнообразных и всегда заманчивых идей. Его громкий и страстный голос будоражил даже самых медлительных. Сквозь всю жизнь пронес этот писатель–патриот большую любовь к родному Алтаю, к великой советской России.

У Ефима Пермитина была широкая, общительная натура. Его интересовало все на свете. Среди его друзей были люди самых разных профессий: и писатель Михаил Шолохов, и замечательный исследователь Арктики Иван Папанин, и автор знаменитой книги «Крестьяне о писателях» Андриан Топоров, бывший учитель алтайской коммуны «Майское утро», где родился космонавт-2…

Советские и зарубежные читатели помнят и любят творчество Ефима Пермитина, начиная с повести «Когти» и романа «Капкан» и кончая размашистыми, многоцвет–ными эпопеями «Горные орлы» и «Жизнь Алексея Рокотова».

«Есть писатели, которые изображают в своих произведениях по преимуществу то, что хорошо «отстоялось» во времени… — писал в своей книге «Советский характер» Михаил Шкерин. — Одна из особенностей художнического дарования Ефима Пермитина состоит в том, что он черпает материал для своего творчества из текущей жизни, верно угадывая тенденции ее развития. В русской классике эта особенность более, чем другим, была присуща Тургеневу… В этом смысле талант Пермитина близок к тургеневскому. Повесть «Когти», эпопея «Горные орлы», роман «Ручьи весенние» создавались, так сказать, по ходу жизни… «Ручьи весенние» дают картину наступления на целину в 1954–1955 годах».

Пермитин смело лепил сильные, волевые характеры своих земляков, не боялся показать их исканий, ошибок, противоречий роста. Он ненавидел все мелкое, низменное. Зоркими глазами до самого своего последнего часа он вглядывался в душу народную, был ее певцом. «Счастье — это ожидание счастья», — сказала одна из героинь «Первой любви» и «Поэмы о лесах». Всю жизнь Ефим Николаевич жил в этом большом ожидании.

Через многие крутые увалы провел он любимого своего героя Алешу Рокотова, образ в большой степени автобиографичный. Умудренный отец Алексея еще в начале пути наставлял сына: «И через не могу — моги, когда грянет даже и неподсильное испытание…» В эпилоге Пермитин говорит: «Читатели нередко ждут от авторов счастливых концов в повестях и романах. Но жизненный путь героев не всегда усыпан розами. Да и трескучие финальные фейерверки иной раз не только не будят мыслей, но не трогают и сердца людей, тем самым успокаивая, усыпляя их совесть… Важно, что Алексей Рокотов и «через не могу — смог», что он выстоял, не утратил веры в светлое начало жизни».

Тот, кто хорошо знает жизнь и творческий путь Пермитина, отнюдь не усыпанные розами, может смело о нем сказать: «Этот правдолюб–сибиряк и «через не могу — смог». Нельзя не согласиться с автором предисловия к заключительной части трилогии Петром Проскуриным, одним из учеников алтайского самородка: «Ефим Пермитин — писатель глубоко народный, и в его книгах всегда присутствует внутреннее тепло, подводное течение мысли. И сам Ефим Пермитин, и его книги — верные свидетельства того, что потенциальные возможности духовного расцвета народа и самовыражение этого расцвета — безграничны…»

Внезапная смерть Ефима Пермитина собрала у его гроба в Центральном доме литераторов его читателей, его друзей и учеников. В почетный караул становятся земляки–сибиряки,

московские писатели.

Герман Нагаев рассказывал мне полушепотом, как с десяток лет назад он прочел сборник поэм «Белая роща» Василия Федорова и позвонил Ефиму Николаевичу.

— Сибиряк? — обрадовался Пермитин. — Крепкие вещи, говоришь? Сегодня же почитаю…

А теперь взволнованный Василий Федоров говорил прощальное слово, вспоминал, как еще сельским пареньком восторженно прочел пермитинский «Капкан», прекрасный учебник классовой ненависти. Писатель и охотник Ефим Пермитин страстно любил сибирскую природу, был ее верным защитником. В его любви не было элементов созерцательности. Уж таков его непоседливый, боевитый характер.

Читаю дарственную надпись Ефима Пермитина на романе «Первая любовь»: «Надеюсь, добрый замах разовьете в удар…» В удар! Милый, неугомонный охотник… Он был охотником в самом широком, самом благородном смысле этого слова. Он был охотником до жизни. Он жадно любил жизнь.

КНИГОЛЮБ

Об Анатолии Тарасенкове еще в юности я слышал, что это очень строгий литературный критик. Говорят, когда он сурово покритиковал молодого Алексея Недогонова, тот поклялся, что Тарасенков еще напишет о нем хорошо. И упорным трудом добился своего: Анатолий Кузьмич тепло отозвался о поэме «Флаг над сельсоветом», лучшей вещи безвременно ушедшего из жизни талантливого поэта.

Досталось от Тарасенкова и Галине Николаевой с Евгением Габриловичем за упрощение образов в киносценарии «Возвращение Василия Бортникова», написанного по роману «Жатва»: «Операция, которой подверглась при экранизации «Жатва», не без активного участия и попустительства автора романа, — печальный пример приглаживания и смягчения «грубого материала жизни». Суровый критик сказал правду в глаза киносценаристу П. Фурманскому, исказившему, «сгладившему» в сценарии правдивую повесть Э. Казакевича «Звезда», ныне покойному, способному поэту Владимиру Замятину, иногда оказывавшемуся в плену «сочной» безвкусицы. Многие писатели побаивались Тарасенкова.

Еще в армии я получил от Анатолия Кузьмича, тогда заместителя главного редактора журнала «Знамя» корректное письмо: «Цикл Ваших стихов передал мне Михаил Васильевич Исаковский. Мы в редакции журнала «Знамя» прочли Ваши стихи,

познакомили с ними поэтов Долматовского и Асеева. Общее наше мнение такое: у Вас есть способности, Вам следует продолжать работу над стихами, но пока те вещи, которые Вы прислали для большого литературного журнала, еще слабоваты…»

Следом прилетела весточка от Михаила Исаковского: «… Вчера получил письмо от А. Тарасенкова из редакции журнала «Знамя». Он мне пишет, что Ваши стихи отправил обратно. Я очень сожалею, что так получилось: я как–то не додумался до того, что посылать в «Знамя» Ваши стихи мне не следовало. Там несколько иные вкусы, в частности, у того же Тарасенкова. Я не знаю, что Вам ответила редакция «Знамени», но полагаю, все же не то, что следует…»

Это письмо очень характерно для деликатного, чуткого к молодым Исаковского, но, по–моему, Анатолий Тарасенков мне ответил именно то, «что следует». А тогда маститый московский критик, безусловно, показался мне сухим, черствым человеком.

Каково же было мое удивление, когда несколько лет спустя вместо колючего ниспровергателя с традиционной «критической дубинкой» я встретил мягкого, улыбчивого человека с желтым портфелем, набитым новыми и старыми книгами. Анатолий Кузьмич был страстный книголюб. Он обладал редкой библиотекой, где были собраны почти все поэтические сборники, вышедшие в России от Антиоха Кантемира до Якова Шведова.

— Я в юности тоже писал стихи, — признался мне как–то Тарасенков. — Вы знаете, Володя, один мой старый друг подумал, что ваш «Белгород» написал я. Мол, тряхнул стариной… Только под псевдонимом. Еле его разубедил!..

Однажды Анатолий Кузьмич предложил мне перевести пьесу в стихах известного туркменского драматурга Гусейна Мухтарова. Я долго не соглашался, но в конце концов уступил. И теперь ему благодарен. Очевидно, без работы над переводом мухтаровской стихотворной пьесы я бы не смог написать и свою драматическую поэму «Ливень».

Перечитываю письма, присланные Анатолием Тарасенковым мне в Харьков, и вижу его то улыбчивого, то грустного, прикованного к душной квартире тяжелой болезнью.

«…Спасибо за «Крутогорье». Я поэму прочел еще раньше — в июле. Она значительно окрепла, улучшилась. Шлю и Вам скромный подарочек в ответ… Работайте хорошо и энергично!..

Я живу плохо, в марте у меня был второй инфаркт. Я теперь обинвалидился. Нигде не работаю и не смогу впредь работать. Сижу дома, порчу бумагу. Когда будете в Москве — обязательно навестите меня… жду»…

Его «скромный подарочек» мне очень понравился: это была

тоненькая книжка в издательстве «Знание» о творчестве Михаила Исаковского.

«…Рад, что вы работаете упорно. Секретарство тоже пойдет на пользу. Здоровье же берегите как следует. Нет вещи важнее. Я уж убедился в этом! Горько!

У меня есть просьба: не согласитесь ли Вы поискать мне некоторые старые сборники русских стихов, вышедшие на Украине?..»

Даже тяжело больной, он не мог забыть своей страсти к книгам, продолжал расширять свою огромную библиотеку. А болезнь и не думала отпускать его из цепких объятий.

«…Рад был получить от Вас письмецо. Я болен. Лежу на кровати. Снова сердце шалит, врачи велели 10 дней провести в полном покое. Книга моя еще не вышла, проходит стадию сверки. Хорошо, если выйдет в сентябре. Летом я написал несколько статей об Асееве, Гурамишвили и др. Начал большую работу, — издаю Бунина в большой серии б-ки поэта. Вот, видимо, переутомился и слег. Много работы и в Моек, пре–зидиуме Союза, куда меня избрали весной… Так идет моя жизнь…

Пожалуйста, укрепите здоровье за лето, а зимой напишите что–нибудь очень хорошее. Ладно?..»

Эти добрые строки, пожалуй, лучше всего характеризуют Анатолия Кузьмича: сам тяжело больной, вечно перегруженный работой, он беспокоился о здоровье других, думал об их творчестве. Приписка: «Простите за почерк — пишу лежа…»

Потом он выслал мне свою последнюю книгу, вышедшую в «Советском писателе». Название ее говорило не только о тех, творчеству кого она была посвящена, но и о самом авторе: «Сила утверждения». Да, у этого смертельно больного человека была большая сила утверждения. Его книга состояла из литературных портретов Михаила Исаковского, Александра Твардовского, Николая Тихонова, Леонида Леонова, Всеволода Вишневского, Петра Павленко, Веры Инбер, Константина Симонова и других. Нельзя не согласиться с Анатолием Тарасенковым, когда он вступает в полемику с критиком Марком Щегловым по поводу леоновского «Русского леса». Но теперь, через пятнадцать лет после выхода книги, мы можем сказать, что и сам Тарасенков иногда бывал несправедлив, излишне «придирчив» к Леониду Леонову, как и к Владимиру Луговскому, Петрусю Бровке и Анатолию Софронову. Взяв отдельные строки из стихов, он обвинял их авторов в риторичности.

Но многое в книге «Сила утверждения» подмечено глубоко и верно. «…В. Овечкин силен публицистической хваткой материала, своим волевым вторжением в жизнь. Именно этими

качествами так подкупил всех рассказ «Районные будни» (1952), проблематика которого была выхвачена писателем из современной деревенской жизни… Писатель знает жизнь досконально, знает, как опытный партийный работник и как думающий, «совестливый» писатель–борец». И дальше: «Невольно напрашивается контрастное сравнение «Районных будней» с теми псевдоострыми произведениями, в которых их авторы (подобно Л. Зорину, написавшему пьесу «Гости» или А. Мариенгофу с его «Наследным принцем») все мажут черной краской, не видя и не желая видеть здоровых животворящих начал в нашей действительности».

Нам понятна тревога А. Тарасенкова за автора повести «В окопах Сталинграда», выступившего в печати с натуралистической, забытовленной повестью «В одном городе». Критик тонко подмечает основной недостаток этой вещи Виктора Некрасова: «…Все более сгущаются краски повести, все более однобокой становится ее полемическая заостренность… быт с его душными трудностями и будничными бедами заслоняет Николаю (герою повести — В. Ф.) весь мир».

Отдавая должное патриотической лирике Константина Симонова в годы Отечественной войны, Тарасенков с горечью и недоумением находит во многих стихах лирического цикла «С тобой и без тебя» явные следы натурализма. «Ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Некрасов, ни Маяковский отнюдь не были проповедниками небесной «голубой» любви. Многим их замечательным стихам присущи и откровенная чувственность, и могучая сила плотских желаний, и ликующее торжество «грешной», земной любви. Но никогда в русской классической лирике не было поэтизации грубости, никогда она не опускалась до смакования физиологических подробностей…»

И тут дело не в Симонове, у которого, конечно, есть и лирические стихи без «поэтизации грубости», а в принципе. Ведь даже самые «натуралистические» симоновские стихи кажутся почти безгрешными по сравнению со стихотворением «Постель была расстелена» Евгения Евтушенко. Анатолий Тарасенков прозорливо предвидел такую возможность. «В стихах Е. Евтушенко мало сердечной теплоты», — констатировал он в статье «О поэтическом образе, о молодых поэтах…»

Анатолий Тарасенков хотел всем добра, но никогда не был добреньким.

Недавно, перебирая бумаги, я нашел список книг, недостающих в тарасенковской уникальной библиотеке. Здесь есть имена и давно умерших и совсем молодых поэтов, безусых авторов первых книг, он мечтал получить эти книги, обязательно

прочесть, по привычке сделать пометки.

Боевой сподвижник Всеволода Вишневского был первым редактором романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева. Анатолий Кузьмич стоял у колыбели многих ныне известных романов, поэм, стихов.

ГРОЗНАЯ ПУЩА

Певца «Грозной пущи», человека с умными, чуть грустными глазами и доброй улыбкой я впервые увидел возле памятника генералу Ватутину на берегу Днепра. Для меня поэт был посланцем с далекой лесной родины моей матери. Я много слышал от нее о буйных белорусских лугах и пущах, о ягодных и грибных полянах, но сам никогда не бывал в Белоруссии. Мне был приятен мягкий, едва уловимый милый акцент Аркадия Кулешова, его общительность, простота, юмор…

Мои однополчане очень ценили фронтовую поэму Кулешова «Знамя бригады», в которой поэт рассказывал о тяжелых первых днях Отечественной войны, о расставании с родной белорусской землей, о том, как была спасена воинская святыня — знамя бригады. Мы чувствовали: спасено не только знамя. В сердцах прорвавшихся из окружения бойцов жила нерушимая вера в нашу победу.

Поэма, написанная Аркадием Кулешовым на фронте, была мастерски переведена Михаилом Исаковским, поэтом, очень близким по духу автору «Знамени бригады». Переводчику удалось передать захватывающий лиризм этой прекрасной поэмы, которую с волнением читали в тылу и на фронте.

Михаил Васильевич называл Кулешова одним из самых талантливых советских поэтов. Вспомнил, как с большим подъемом работал над переводами его стихов и поэм, сетовал, что теперь из–за болезни этого делать не может.

Вот у меня в руках книга в зеленой обложке, на которой изображен могучий лес под огненным небом. И алым по зеленому: «Грозная пуща». Это поэма «Грозная пуща» на белорусском языке, подаренная мне автором. По силе и эпическому размаху эта вещь стоит, пожалуй, ближе всего к «Знамени бригады». В центре ее — судьбы человеческие, освещенные зарницами сурового времени. По мотивам этой поэмы автор потом написал сценарий известного фильма «Красные листья».

Знаю по своему опыту: работа в кино отнимает массу времени. Хорошо, если она приносит взамен хотя какое–нибудь удовлетворение. Но это бывает не всегда. Фильм «Красные

листья» — счастливое исключение.

Недавно в издательстве «Советский писатель» вышла новая книга Аркадия Кулешова «Сосна и береза». В книге много проникновенных лирических стихов о времени, о совести, о матери. И о бойцах, не жалевших своих горячих неуступчивых сердец.

Главным произведением новой книги Аркадия Кулешова, безусловно, является поэма «Далеко от океана», хорошо переведенная Н. Кисликом.

В ней автор правдиво рассказывает о своей сельской юности, об избе, коне, сложной, противоречивой жизни родителей, о школьной коммуне и других памятных делах и событиях, формировавших мировоззрение нового поколения. Путешествие в юность понадобилось поэту, чтобы почувствовать:

…Нынче я — поток
Устья, посетившего
Чудом свой исток.

Здесь, в новой поэме встретишь все лучшее, чем покоряли нас прежние поэмы Аркадия Кулешова: душевная распахнутость, удивительная свежесть, блеск самоцветов народного творчества, органично слившихся с авторской речью.

Звездами отборными
Блещет синева.
Месяц над просторами —
Не один, а два.
Первый, что качается
Над землею, — мой,
А сестрин купается
В заводи речной.

Это — чудесный пейзаж. Я бы сказал, поэт видит сердцем. Сколько свежих, самобытных образов рассыпано по поэме! Хвойная игла, как игла по граммофонной пластинке, крутится по кругам «загубленной вековой сосны», разворачивая перед нами во всю ширь и глубину картины давно минувшей юности лирического героя. Они очень дороги для поэта, а потому не

могут не волновать и нас.

С юношеской влюбленностью рисует автор и бывшего боевого коня Огонь, что помнил, как «бой махал над гривою огненным клинком», и жаркого железного коня, увозящего лирического героя в новые дали стремительной эпохи:

Всплыл туман над пахотой…
Рысь, карьер, галоп…
Путь наш, в даль распахнутый, —
Тот же Перекоп!
Ты ответь, встревоженный
Конь железный наш,
Кто там, пулей скошенный,
Упадет в Сиваш?
Сколько душ в кровавую
Бездну на войне
Канет с вечной славою?
Что ты прочишь мне?

Благотворный опыт поэмы «Далеко от океана», как и предыдущих лучших поэм Аркадия Кулешова, свидетельствует, на мой взгляд, о том, что ему больше удаются лиро–эпические произведения. Его же эпические вещи волнуют меньше. Они более «литературны», в них не так ярко выражено своеобразие его дарования.

Самые удачные вещи Аркадия Кулешова отличают точные приметы времени, живой образный язык, неподдельный, щедрый лиризм, нерушимая вера в добро, которая лучится из нового послесловия к поэме «Грозная пуща».

Не сегодня, так завтра
наступит пора,
Верный друг, дружбы плуг
провозвестник добра, —
На свободной,
великой своей полосе
Он запашет
границы кровавые все.

НА КРУЧЕ

Человек приехал в родное полтавское село и не нашел его на прежнем месте. Там, где раньше стояла отцовская хата, темнеет груда глины. А вокруг буйно хозяйничает лебеда. Чем–то давним–давним дохнуло от этой нерадостной картины. Задумался человек и вдруг под ногами заметил ржавый изогнутый кусок железа. И поднял серп, которым когда–то жали его бабка и мать. Это было все, что осталось от старой жизни. Иная теперь Украина.

Зря ты буйствуешь, бурьян! Не для твоей потехи ушли отсюда земляки этого человека. Весной сюда придет море. Еще одно днепровское море. Имя ему — Кременчугское.

Земляки поэта Ивана Выргана, самобытного лирика, автора известной на Украине поэмы «Матвеевна над Сулой», перебрались с низины на крутой новый берег. И не стало старой Матвеевки. Зато есть новое село, которое и селом–то назвать нельзя. Прямые улицы в тополях. Водонапорная башня. Не хаты, а дома под шифером. Светлые веранды. Все новое, крепкое, пахнущее свежей краской…

Я сказал: старая Матвеевка. Но это не совсем верно. Обычное колхозное село. И в нем были новые хаты. Земляки поэта строили межколхозную гидростанцию на Суле. И несколько лет назад Иван Вырган, принимавший близко к сердцу любую новую черточку в своей родной Матвеевне, рассказал обо всем этом в лирической поэме.

В «Письме Ивану Выргану» (вместо рецензии), напечатанном в журнале «Прапор», Максим Рыльский писал: «Ваша книга «В разгаре лета» принесла мне свежую радость. Радость не неожиданную, конечно: Вы знаете, что я давно люблю Ваше творчество. Мне захотелось с Вами поговорить — так, словно Вы сидите здесь со мной рядом, в саду, под липою, которую благословил когда–то на цветенье влюбленный в жизнь, в красоту, в человека Александр Довженко. И Вы любите жизнь, красоту, человека, доброе и красивое в человеке…

«Матвеевку над Сулой» я назвал своей любимой вещью и охотно это повторяю. В этой небольшой поэме или, лучше сказать, стихотворном рассказе или даже стихотворном разговоре с читателем сконденсированы, собраны в один прехороший букет все черты новой, советской, социалистической жизни, которую Вы так искренне и так глубоко любите, милый мой поэт.

Как настоящий художник, то есть безоглядно смелый и честный человек, Вы не боитесь трагического в жизни: напоминаю не Вам, конечно, а читателям стихотворение «1942 год». Нельзя же отбивать на мотив гопака, когда пишешь об этих тяжелых и скорбных днях.

…Радует меня и то богатство языка, за которое Вам довелось

испытать немало горького… Без богатства языка не может быть и богатства мысли»…

Такова замечательная характеристика поэзии Ивана Выргана, данная старым мастером слова. А горького автору «Матвеевки над Сулой» довелось испытать немало. Сколько упреков на своем веку ему довелось выслушать от любителей дистиллированной воды в поэзии! Но на всю жизнь сохранил поэт сыновнюю любовь к искрящемуся народному слову.

Я вижу, как, с трудом осилив робость,
Стыдясь острот прилизанных мещан,
В поэзию пришел полтавский хлопец
С простым и звучным именем — Иван.
Ну, что ему эстетская гримаса,
Когда он песни матери любил,
Когда он помнил боль и гнев Тараса,
Когда из родников он воду пил!

А жизнь эта превзошла даже самые смелые менты поэта. Его поэма, вся устремленная в будущее, поэма, из–за которой только вчера ломали копья критики, теперь стала произведением, можно сказать, историческим. Нет больше Матвеевки. А есть новый колхозный поселок Клищинцы, получивший название от соседнего села, с которым объединилась Матвеевна. Не огоньки небольшой межколхозной гидростанции, а огни мощной Кременчугской ГЭС озаряют полтавскую степь.

В поэме Ивана Выргана люди с колхозной стройки на шутливый вопрос, что бы они делали без речки Сулы, отвечали: «Мы бы вырыли море!» И этот ответ оказался пороческим.

Прошло несколько лет, и половина родного поэту района ушла и еще уйдет под воду. Степные дороги, на которых он, сельский комсомолец, слагал стихи о первой любви и о первых колхозах, дороги, видавшие его не раз и в зрелые годы, зарастут водорослями. Не верится…

Не здесь ли со сцены сельского клуба его сверстница Катерина Ракушка пела задушевным голосом:

Ой, вербо, вербо,
Де ты зросла,
Шо твое листячко Вода знесла?

Пела Катерина и не знала, что и сами вербы у их села уйдут на дно морское. Не знала, что она, Катерина, будет лечить людей, а Иван прославит своих земляков проникновенными стихами.

Он не забыл о вас, односельчане.
Блокнот и хлеб в дорогу он берет.
Не надо никаких особых званий,
Чтоб сердцем понимать родной народ.
Вот путник с хлеборобскими усами
Выходит в степь, шагает, как солдат.
Подсолнухи ему кивают сами,
И жаворонки радостно звенят…

Иван Вырган не только поэт. Украинским читателям полюбились и его душевные рассказы. Много лет он вместе с писательницей Марией Пилинской работает над «Русско–украинским фразеологическим словарем». Работает с большим подъемом, самозабвенно. Иной раз его собственные стихи и рассказы месяцами ждут своей очереди. Не хватает времени. Нужно прочесть всю классическую и современную украинскую литературу, перебрать самоцветы народного творчества, чтобы найти подходящие примеры.

Разделы из словаря регулярно печатаются в журнале .. «Прапор». И вот уже стайками прилетают письма со словами благодарности не только из областей Украины, но и из других республик, из стран народной демократии и даже из–за океана. Только человек, страстно влюбленный в родной певучий, переливающийся всеми красками язык, способен на такой творческий подвиг во имя дружбы двух братских народов. Пожалуй, давно украинские писатели и читатели не получали такого чудесного подарка.

А Иван Вырган еще успевает прочесть стихи молодых, направить их первые шаги. Уже обратившие на себя внимание читателей такие разные и хорошие украинские поэты, как Сергей Мушник и Юрий Герасименко, многому научились у Выргана, а главное — чувству долга перед родным народом, поднявшимся на крутой берег.

ГРАЖДАНИН

Однажды мой фронтовой друг, думающий педагог, очень любящий литературу, неожиданно прислал мне свой рассказ. Интересный, острый. Но рассказ ли это? Скорее отличный очерк. Друг мой писал о том, что наболело, о своей педагогической среде, о деревенской школе, отгороженной незримой стеной от сельского производства.

В этом темпераментном полуочерке–полурассказе чувствовалось окрыляющее влияние Валентина Овечкина, смело стершего границу между очерком и рассказом. Потом я узнал, что эту «первую ласточку» благословил и Валентин Владимирович, с которым мой друг переписывался. Сколько честных, умных людей всколыхнули овечкинские очерки!

За книгами Овечкина стояла большая и нелегкая жизнь. Кем он только в юности не был! II сапожником в родном Таганроге, и учителем ликбеза, и заведующим избой–читальней, и секретарем комсомольской ячейки в степном селе, и девятнадцатилетпим председателем ефремовской сельскохозяйственной коммуны, первой в Приазовье.

Как это случилось? В голодном двадцатом году шестнадцатилетний Валя Овечкин из Таганрога заявился к сестре Ольге, учительствовавшей в Ефремовне. Сперва Валя и здесь сапожничал. В комсомол он вступил четырнадцати лет, приписав себе два года. Это была первая и последняя «приписка» в жизни Валентина Овечкина. В своей новелле «Елисей Булка» он рассказал о человеке, встреча с которым, по его словам, сделала юного сапожника писателем. Этот крепкий и хитрый хозяин, прикинувшись другом Вали и его сестры, обманул их, собрав себе весь урожай с их надела: «ведь бумажки–то на землю никакой не составили». Ох, эти бумажки!

«Я смотрел в его чистые голубые глаза, на его святую плешь (прямо как у его тезки Елисея–пасечника из народных рассказов Толстого) и начинал понимать, что он не шутит, и что ему нисколько не стыдно, и в глубине души он даже потешается над нами, беспомощными дураками.

Я в шестнадцать лет был крепким малым и мог бы изувечить его там, в поле, один на один. Но в эту минуту, когда мою правую руку уже повело назад, вдруг любопытство пересилило во мне злость…»

Так родился писатель и гражданин, ставший председателем сельской коммуны, партийным работником и, наконец, журналистом.

А в конце войны неподдельной любовью к земле–матушке, по которой тосковали сердца фронтовиков, вчерашних трактористов, агрономов, райкомщиков, приковала к себе внимание

овечкинская повесть «С фронтовым приветом». Живой, хлесткий язык, интересные характеры, животрепещущие проблемы — все говорило о том, что писатель отлично знает тревоги и надежды села и страстно думает о завтрашнем дне, когда его боевые товарищи с танков пересядут на трактора. Да, эта повесть — своеобразная прелюдия к будущим очеркам, которые повлияли на жизнь нашего села куда больше иных романов.

Но самое главное, что предстояло сделать в жизни Валентину Овечкину, было еще впереди. Вскоре он покинул шумный зеленый Киев, где работал в газете после демобилизации, и поселился в тихом степном городке Льгове, одичавшие поля вокруг которого еще недавно были засеяны свинцом и сталью отгремевшей Курской битвы. Нет, он не искал где полегче. А иначе разве он мог бы написать свои «Районные будни»?

У нас часто вспоминают «Районные будни». А между тем и такие очерки, как «О людях «без стельки», «Лавулирующие», «В одном колхозе», на мой взгляд, не уступают им по силе. Чего стоит один образ «рачительного хозяина» Тихона Наливайко! Писатель острым скальпелем препарирует торгашескую душонку этого «красного Ротшильда», который приказал чабанам перед стрижкой овец целый день гонять отары по пыльным дорогам, чтобы набилось побольше песку в шерсть для весу. До войны тайное жульничество и спекулятивные махинации сходили Наливайко с рук: он ловко умел маскироваться и «давать процент». А война сорвала с него маску: Наливайко стал фашистским холуем–старостой. В конце концов его настигло возмездие.

Помню: меня очень взволновал овечкинский очерк «О людях «без стельки». А каким образным, сочным языком он написан! Кстати, пригодилось и знание сапожного дела, так и видишь живого сапожника–умельца Мирона Ивановича, который возмущен бесхозяйственностью некоего портфельщика, скачущего по районным должностям.

«— В райсельхозотдел, в райпотребсоюз — все в рай и в рай его пихают, тьфу ты пропасть! — плюнул с ожесточением Мирон Иванович. — Архангел какой, херувим! В раю ли ему место? Выговора, предупреждения!.. Да разве его этим исправишь? К нему что ни прилепи — держаться не будет. Стельки нету. Знаете, как в сапоге: стелька — самый главный предмет. Основа. Ежели хорошая стелька, то и подметку подобьешь, и союзку положишь, а ежели плохая… хоть заново перетягивай…»

Глубоко и по–народному метко сказано. Невольно вспоминаешь: Валентин Владимирович писал пьесы. И что парадоксально: Овечкин, автор полузабытых пьес, в своих очерках

прекрасный драматург, творец противоборствующих характеров, замечательных диалогов, чем–то близких диалогам героев «Поднятой целины». Писатели, отлично знавшие село, черпали из одного колодца.

Именно у Михаила Шолохова и Валентина Овечкина я творчески учился, работая над «Сумкой, полной сердец». А сюжет повести «Марс над Козачьим Бором» мне подсказали несколько абзацев из овечкинского очерка «О людях «без стельки». Читая о том, как Тихона Наливайко утопили в проруби, я вспомнил еще более изворотливого оборотня, который одновременно «помогал» и партизанам и фашистам, выжидая, чья возьмет. А когда наша взяла, он, нацепив партизанский бант, стал председателем колхоза. Для того, чтобы вывернуть наизнанку душу подобного «героя», требовались несколько иные методы. Так у меня родился образ Прова Ястребова…

Поэт Дмитрий Ковалев рассказывал мне о бесстрашном журналисте Семене Белоусове, человеке богатырского сложения, который потерял на войне ногу. В этом человеке с чистой совестью было много от Мартынова. Ковалев давно собирается написать поэму о нем, рано ушедшем из жизни. Да и сам Дмитрий человек справедливый, ершистый, и в нем проглядывают мартыновские черты. Но, безусловно, Мартынов бы не был Мартыновым, не вложи в него Овечкин свое сердце, свои думы, свои радости и печали.

Не так легко назвать произведение, оказавшее на современников такое влияние, как овечкинские очерки. Пожалуй, до войны так жадно читали и так жадно спорили о «Педагогической поэме» Антона Макаренко, в войну — о «Фронте» Александра Корнейчука, а после войны — о «Русском лесе» Леонида Леонова. Вещи все очень разные, но их объединяет гражданская страстность, удивительная слитность героев и авторов.

Конечно, сегодня устарели некоторые проблемы, которые так горячо, от всего сердца поднимал беспокойный Валентин Владимирович. Но в том–то и сила Овечкина–художника, что он оказался еще глубже и дальновиднее, чем Овечкин–публицист. Образы — антиподы — Мартынов и Борзов, смело выхваченные из стремительного потока бытия живут и по нынешний день. И это, конечно, потому, что писатель отдал Мартынову свою гражданскую страстность, свой ясный разум, а в образ Борзова вложил •свою лютую ненависть к рутине, показухе, «бумажкам», приспособленчеству, карьеризму. Жизнь сложна, противо–речива. И горько, когда иной Мартынов, сам того не замечая, постепенно становится Борзовым, с которым вступают в борьбу новые

Мартыновы.

Валентин Овечкин до последнего своего часа оставался человеком большого мужества. И тут он был вровень с такими защитниками правды и справедливости, как Глеб Успенский и Владимир Короленко. Некоторые наши способные журналисты научились внешне копировать стиль Овечкина, но гораздо труднее подняться до него душой.

Прекрасные очерки Овечкина в «Правде» вызвали целую волну интересных, проблемных очерков. Одними из самых близких к овечкинским и в то же время самобытными были очерки Анатолия Калинина и Гавриила Троепольского. С острыми очерками выступил и Владимир Тендряков, затем написавший талантливую, по–хорошему злободневную повесть «Не ко двору», которую по–отцовски поддержал Валентин Владимирович.

«Не щади себя! Хочешь светить — гори!» — писал Овечкин в своем дневнике. Он знал, что такое подвиг настоящего писателя: «С каждой новой вещью большой кусок жизни долой! И не просто — вот тот кусок, который прожил, пока писал. Три месяца писал — год жизни долой! Год писал — на три года жизни поубавилось. Вредный цех? Да, очень!» И он с упоением работал над новой книгой «Невыдуманные очерки», хотел рассказать о своей жизни. «Отдаться целиком воспоминаниям о прошлом, не связывая их с нынешними днями, — так я не смогу, не вытерплю. Повесть о том, как и почему я стал писателем? Да, и об этом хочется рассказать, ответить разом на многие вопросы читателей. Но не только об этом…»

И ныне Валентин Овечкин, превосходно знавший жизнь и думы народные, разговаривает со страниц книг о самом главном не только со своими возмужавшими сыновьями, но и со всеми современниками, со всеми нами.

МАГНИТОГОРЕЦ

В январе 1937 года в газете «Тагильский рабочий» было опубликовано стихотворение молодого поэта–магнитогорца Бориса Ручьева «По земле бродит зверь». Поэту вскоре привелось испить до дна горькую чашу испытаний, и он совсем забыл про это стихотворение. Но люди не забыли ни поэта, нн его стихов. И вот, более чем через четверть века, состоялась встреча поэта со своим юношеским стихотворением, пропитанным жгучей ненавистью к фашизму.

Яростный напор стиха как бы передает негодование рабочих парней, недавно возведших свою Магнитку, парней–интернационалистов, которым до всего было дело: и до песен

осажденных республиканцев Мадрида, и до мук Тельмана в гитлеровском застенке, и до зверств итальянских фашистов в далекой Абиссинии.

Если бы меня попросили назвать главную черту поэзии Бориса Ручьева, я бы, не задумываясь, ответил: неистребимая вера в трудового человека, вера в ленинскую правду. Она сказалась и в этом юношеском стихотворении. К далекому узнику Тельману обращается молодой магнитогорец:

Я клянусь:
в минуту боя
под огнем, свинцом и сталью —
жить!
В упор под зверьим взглядом,
умирающим, но жить.
Не жалеть последней пули,
не жалеть штыка, а если
раздробится штык — прикладом,
сталью кованным,
добить.

Рабочие парни, одетые в солдатские шинели, сдержали клятву своего поэта, дошли до чадного логова зверя. А сам Борис Ручьев, трагически оторванный от друзей–магнитогорцев, беззаветно верил в нашу победу, как те, кто сражался в уральских танках на фронте, как те, кто стоял у грозно пылающих домен его любимой Магнитки.

Пусть, хрипя, задыхаясь в метели,
через вечный полярный мороз
ты в своем обмороженном теле
красным солнышком душу пронес.

В этом трогательно–простодушном и мужественном стихотворении удивительная вера в жизнь, в рабочий народ. Хорошо назвал светящееся, предельно искреннее творчество Ручьева критик Александр Власенко — поэзия верности.

Кто еще в таких тяжелейших условиях написал такие прекрасные стихи о русской женщине?

И каким бы злым, постыдным словом
мы тебя ни заклеймили снова,
как бы ревность сердце нам ни жгла, —
вся,
до тайных родинок знакома,
в душах наших — всюду, словно дома,
ты, как солнце,
женщина,
жила.
Ты, как солнце, ярче станешь рядом,
и навек из нас ослепнет тот,
кто, тебе не веря,
жадным взглядом
на тебе хоть пятнышко найдет…

И как тут не вспомнить раннюю лирику поэта, в которой большая любовь к новорожденному городу так тесно переплелась с первой юношеской любовью, что их не разорвать.

Сад завьется, заплетется
через тридцать пять годов —
сколько листьев встрепенется,
столько свистнет соловьев!

Быстро они пролетели, эти «тридцать пять годов»?

Борис Ручьев родился в городе Троицке, неподалеку от будущего Магнитогорска. Потом отец, учитель, увез его в южноуральскую станицу Еткульскую. Отец, неуемный энтузиаст–краевед, заразил сына с малолетства своей любовью к уральским легендам, протяжным песням и частушкам, к сказкам. Юный Борис пил из того же волшебного ключа, что и автор «Малахитовой шкатулки» Павел Бажов.

На мой вопрос, какую самую первую в жизни книгу он прочел, Ручьев ответил:

— Стихи Лермонтова. Отец подарил…

И это знаменательно, как знаменательно и то, что молодой Борис Ручьев вернулся из южноуральских степей к месту, где когда–то родился и где теперь с друзьями стал строить молодой

город. Недаром первый сборник поэта назывался «Вторая родина». У кого же он учился мастерству?

Кое–кто у нас почему–то не прочь противопоставить Владимира Маяковского Сергею Есенину как поэтов–антиподов. Какая нелепость! Ручьев оказался дальновиднее некоторых своих сверстников:

— Считаю, что настоящая любовь к творчеству этих двух разных поэтов, чудесно совмещавшаяся в душе, пленила меня, привела в город и пристрастила к поэзии.

Были, конечно, у Ручьева и подражательные вещи, вроде «Девушек–подружек». Но у него быстро «прорезался» самобытный поэтический голос. В годы нелегких испытаний он окреп, возмужал. Однако не потерял и той чистоты и звонкости, столь характерных для юного романтика–магнитогорца.

«Борису Ручьеву всегда чужда была трактовка стиха, как пестрой «толпы образов», где нет цельности и связности элементов стиховой структуры, — заметил известный литературовед, профессор Валерий Друзин. — Образность Бориса Ручьева — всегда органична… Она — свободна без пестроты, организована без принужденности, богата метафорическими открытиями без формалистического трюкачества».

Вершиной творчества Ручьева вместе с «Красным солнышком» и «Прощаньем с юностью» стала поэма «Любава», где поэт снова обратился к своей незабываемой юности у Магнит–горы, к строительным кострам первой пятилетки.

До чего ж это здорово было!
Той же самой осенней порой
как пошла вдруг да как повалила
вся Россия на Магнитострой.
Обью, Вологдой, Волгою полой,
по–юнацки баской — без усов,
бородатою да длиннополой,
да с гармонями в сто голосов.
…А вокруг только степь на полмира,
тусклым камнем рыжеет гора,
да навстречу идут бригадиры,
комитетчики да повара.

В прологе очень ярко, сочно, с хорошей улыбкой нарисована встреча бывшего сельского парня Егора, героя поэмы, с железным наркомом товарищем Серго. Эта встреча стала доброй

большевистской школой для молодого бригадира, отнюдь не собиравшегося жаловаться обеспокоенному наркому, но сказавшего ему правду:

Это верно! Живем тут с прохладцей…
Так и я ведь мужик, а не спец!..

С любовью рассказывает поэт о ленинской простоте и прямоте наркома, желавшего все увидеть своими глазами. Удивительно зримо нарисовав портрет Серго Орджоникидзе, автор говорит о его требовательности к хозяйственникам и постоянной заботе о рабочем человеке.

А по складам, конторам, столовым
шепотком, отдаваясь, как гром,
проходило железное слово,
огнестрельное слово:
— и а р к о м!

Живые разговорные интонации поэмы переливаются в песенные строки п возрождают торжественность русского сказа.

По приказу —
в порядке награды
За геройскую жизнь работяг —
получили четыре бригады,
как чертог, самолучший барак.

Друзья поснимали замки со своих сундучков и пригвоздили на стены не один веер фотографий своих близких. Не отстал и ударник — бригадир Егор. Сверху на бумажном пламени грамот припечатано золотое слово — почет. А ниже — рядом с фотографиями отца–солдата, не вернувшегося с Карпат, и матери — «в два лица рассиялась Любава».

Любава, Любава! Неужто ты и в самом деле окажешься двуликой? Неужто тебе так и не дано перешагнуть частокол

отцовского домостроя, обычаи заскорузлого прошлого, с детства опутавшие тебя? Нет, из дома ты вырвешься, уедешь к любимому на стройку, даже согласишься расписаться в загсе и справить свадьбу в бараке. И все же отцовские привычки свили гнездышко в твоей душе. Не поймешь ты, что вместо милых тебе слов «твое да мое» есть чудесное слово «наше». Из всех диковин, которые ты увидишь в новом городе, роднее всего твоему сердцу базар — «барахолка» с приглянувшимся заграничным «синеморевым» платьем, что совсем не по тебе шито.

Не по нраву придется Любаве и долгий нелегкий путь «через все восемнадцать участков» строительства к тесовой времянке, где расположился горсовет, а стало быть и загс. Невесте самой придется ощутить, что такое «лихорадка буден». Горсовет пуст. «Домна всех писарей забрала» — все на субботнике. Одноногий дед в буденовке, единственный человек, которого молодые встретили в горсовете:

Сами гляньте, что долы, что горы,
где ни ступишь, то вал, то окоп…
Вроде город наш
вовсе не город, а насквозь — мировой Перекоп!

Прекрасно нарисована «ударная свадьба» в бараке, этом «бригадном дворце», вдруг показавшемся молодым «голобокой казармой». Но это только на миг, ибо рядом были друзья, готовые творить на земле чудеса. Пускай вместо столов топчаны, застланные газетами, пускай немудрящ свадебный обед с воблой и гороховой кашей да к тому же — «два ведра настоящей сметаны, высший наш сверхударный паек». Главное — трогательное до слез радушие строителей, их мужская дружба, их отзывчивые души.

Потянулась было к этому щедрому огню и все же не оправдала доверия Егоровых друзей Любава, затянутая в заморское тесное платье.

А когда, подголосков добавив,
пять гармоней ударили в лад,
охнув, лихо рванулась Любава
в самый тот вихревой перехват.
Дробь чечетки отбила отважно,
руки за спину, стаю распрямив,

так, что треснул вразлет, как бумажный,
на груди крепдешиновый лиф.
И открылся без всякой загадки
черный крестик,
как червь–лиходей,
притаившийся в самом распадке
чуть раскосых девчачьих грудей.

Сгорая от нестерпимого стыда, Любава закрыла лицо ладонями. А впереди новые испытания. В этот вечер разыгралась еще утром обещанная буря. И весь барак поднялся на борьбу с нею. Простившись с невестой, ушел и Егор.

Шальная стихия ломилась в цеховые твердыни, гнула мачты, рвала провода. Но люди выстояли. Радость общей победы была омрачена для Егора внезапным бегством осрамившейся Любавы, которую словно буря смела. Под казенной кроватью осталось «сторублевое драное платье, подвенечный базарный наряд» и «под веником, с мусором вместе, объявился, как червь по весне, черный, потом изъеденный крестик на разорванной девкой тесьме».

Эти детали говорят о многом. Значит, поездка в город строителей, разговоры с Егором не прошли для Любавы даром. Пускай невеста уехала, но она сорвала–таки с себя заморское платье, которое с самого начала не нравилось любимому. Да, дорогой ценой досталось деревенской девушке Любаве ее прозрение. Мы ничего не знаем, как повернется дальше ее жизнь, но мы отлично знаем, что поэт Борис Ручьев всегда страстно верил в человека. И право же, как–то язык не поворачивается называть живую, полнокровную Любаву «отрицательным персонажем».

В беседе со мной поэт рассказал, что «Любава» — только одна из частей эпопеи, которая будет называться «Индустриальной историей». Да, индустриальной. Захватывающе торжествен, волнующ финал «Любавы». Россия деревянная стала Россией стальной.

НА ВЫСОКОЙ ВОЛНЕ

Александр Коваленков родился в древнем Новгороде. Его прадед был крепостным кузнецом. И фамилию носил иную — Ястребов. Смелый мужик убил помещика и угодил на каторгу. А когда вернулся — дабы не смущать мужиков «каторжной»

фамилией Ястребов, — дали бунтарю–ковалю фамилию Коваленков. От этого коваля и пошел род Коваленковых — известных учителей, ученых и поэтов.

Юный Саша на всю жизнь запомнил трепетный свет лучины в новгородских избах, запах сушеных грибов и трав. Где–то рядом плетут сети, а пытливый мальчуган, забравшись на лежанку русской печи, застланную овчиной, жадно припадает к живой воде народных сказок и песен.

— Это главное, — признавался поэт. — Это, надо сказать, пуповина!

Его дед — учитель Иван Тимофеевич был соавтором книги «История Государства Российского», изданной в Новгороде в начале нашего века. С детских лет Александр был влюблен в героическую русскую старину, в новгородский кремль, в величественный Софийский собор, не уступающий знаменитому киевскому. Новгород!.. Само название этого древнего города стало символом свободолюбия для декабристов и Лермонтова. Легенды и были о его стойкой борьбе с иноземными захватчиками передавались из поколения в поколение. Колоколом на башне вечевой гремела тысячелетняя история России.

Из крестьянской избы на Новгородчине вышли ученые с мировым именем. Отец поэта Александр Иванович стал родоначальником отечественной авиационной радиотехники. Любовь отца передалась сыну. Он с мальчишества привык заряжать аккумуляторы, монтировать радиоприемники.

Вот откуда такое доскональное знание профессии радиста, обнаружившееся в лирической поэме «На высокой волне», носвященной памяти Героя Советского Союза Ф. Лузана. Написанная в разгар Отечественной войны, эта поэма многим запомнилась с той страдной поры.

Голос друга, привета слово,
Жизнь темна,
Если вы не слышны.
Даже сердце глухонемого
Понимает, что песни нужны.

За песню на высокой волне погиб радист Лузан. Впечатляюще рисует поэт гибель героя. Ни одного лишнего слова. Язык суров, лаконичен и точен, как позывные радиста.

Унтер орал:
«Ваша песенка спета.
Сдавайся…»
Но тут же лицо искривив,
бросился к выходу…
Вместо ответа —
граната под ноги,
вспышка света…
Передача окончена.
Точка.
Взрыв.

Откуда же они, эта точность, эта динамика, этот лаконизм?

За деревенским детством с кострами в ночном, с пастьбой коров, с лапоточками, с грибами и ягодами пришло городское отрочество, запускавшее голубей с Петровского замка, туда, в московское небо, где кружили краснозвездные соколы.

И отец поэта, и дядя Валентин Иванович Коваленков, профессор, изобретатель катодных усилителей, оба носи–ли военную форму. Не они ли заронили в сердце впечатлительного, непоседливого юноши любовь к Красной Армии, к молодой отечественной авиации и радиотехнике?

С крыши Петровского замка, в особенности с его купола, хорошо был виден весь Ходынский аэродром. Здесь учились летать наши соколы. С замирающим сердцем Саша Коваленков следил за их полетами. И слезы навертывались на глаза, когда неуклюжий аэроплан падал на деревья или в пламени грохался оземь.

Когда же пилоты выключали мотор — в небе даже были слышны голоса.

— Я говорю: ручку на себя! — кричал знаменитый ас Пороховщиков учлету.

А будущий поэт увлекался радиотехникой, бегал на мотогонки и меньше всего думал о стихах. Но поэзия жизни, опоэтизированная крылатая техника властно стучалась в молодую душу.

Александр Коваленков узнал и полюбил бесстрашных небопроходцев — испытателей Валерия Чкалова и Михаила Громова задолго до их знаменитых перелетов. Он впдел в небе короля воздуха Арцеулова, внука Айвазовского. Дед всю жизнь писал море, а внук, неплохо владевший кистью, бороздил пятый океан. И озорной новгородский парень, который еще вчера

посмеивался над стишками, сам написал стихи.

Стихотворение Александра Коваленкова «Мать» было напечатано в «Правде». Молодому автору позвонили от Горького, попросили перепечатать эту вещь в журнале «Колхозник», который тогда редактировал Алексей Максимович. Зачинатель советской литературы умел находить таланты.

Через много лет Александр Коваленков, автор двадцати поэтических книг, издает интересную, оригинальную книгу литературных портретов «Хорошие, разные…» По страницам этой книги шагают живые Владимир Маяковский и Николай Асеев, Эдуард Багрицкий, назвавший Коваленкова способным поэтом, и Владимир Луговской, многие наши современники, в том числе и коваленковские ученики. Строки этой книги впитали в себя большой и нелегкий опыт поэта.

Александр Коваленков, сам в юности испытавший и преодолевший влияние модернизма и неодекадентства, предостерегает молодых поэтов от этих прилипчивых, модных хвороб.

Я с неослабевающим интересом прочел эту книгу. Да, без знания жизни народной не может быть настоящей поэзии. Так думают многие фронтовики. Самые разные люди приходят к одному выводу. Вот как в конце своей кнпги Коваленков рассказывает о своей беседе с Исаковским:

«— …Да вы не волнуйтесь, все наносное, легковесное, эстрадно–прельстительное отойдет, а это останется… — II Михаил Васильевич тронул рукой книжную полку, где Пушкин и Некрасов, может быть, и спорили, но не ссорились с Маяковским».

На эту высокую волну и настраивает свою поэзию Александр Коваленков. Героиню его стихотворения «Трудно будет, милая, со мной» не надо эффектно заклинать, чтобы она ждала солдата.

Милая сказала мне в ответ:
«Трудно с тем, о ком печали нет».

Как душевно, просто и как по–русски сказано! Любовь здесь отнюдь не показная, а по–настоящему большая, светлая и глубокая. В Коваленкове чувствуется влияние тех самых русских сказок, которые он слушал мальчишкой в новгородской избе:

Случалось ли вам собирать грибы

В лесу, где тропинки протоптаны лешим,
Где кони тумана встают на дыбы
В проемах полян и зеленых проплешин?

От книги к книге росло поэтическое мастерство Коваленкова. В суровые годы Отечественной войны поэт сражался в родимых лесистых местах, плечом к плечу со своими земляками–новгородцами. Это обогатило его лирику, сделало ее и проще и емче. Ненависть к нацизму, которой жил весь наш народ, позволила поэту образно и эмоционально перевести стихи убитого немецкого солдата:

Падают кровавые дожди.
В смертной спит Германия истоме.
Лишь звероподобные вожди
Мечутся, как в сумасшедшем доме.

А после войны Александр Коваленков пишет хорошо известное теперь стихотворение «Снегирь», пронизанное неистребимым жизнелюбием. Недаром оно посвящено детскому рисунку сына.

Людоед бежит во все лопатки,
Снайпер с елки целится в него.
Войско чужестранцев в беспорядке,
Солнце видит наше торжество…

Тема патриотизма не риторически поблескивает на поверхности стихов, а изнутри, как бы глубинным светом озаряет коваленковскую лирику.

Еще юношей поэт жадно слушал рассказы своего дяди Валентина Ивановича Коваленкова о том, как тот помог укрыться Ленину в Питере в 1905 году, о незабываемом Октябре, о том, как Валентин Иванович наладил телефонную связь между Москвой и осажденным Петроградом, к которому рвались полчища Юденича… Рассказы о Ленине и очистительном вихре революции вошли в сердце поэта.

Долгое время мой старший товарищ руководил в Союзе писателей поэтической секцией, работал плечом к плечу с Александром Фадеевым. Читая фадеевские письма к своему поэтическому тезке, я подумал, что их сближала стойкость и принципиальность в борьбе за партийность и народность литературы. И еще их сближала романтика.

Сказки пишут для храбрых.
Зачем равнодушному сказка?..

Завидной смелостью дышит книга поэта и профессора А. Коваленкова «Практика современного стихосложения». Она дважды издавалась, и ее невозможно достать, впрочем, так же, как сборники стихов и песен поэта, как книгу литературных портретов «Хорошие, разные…» Да, он был не только поэтом, но и ученым, как его отец и дед…

Поучительным, глубоким выводом звучат в «Практике…» слова о том, что если поэт не связан кровно со своим народом, если он оторван от времени, то любые его усилия пропадут зря, будут для нас и ненужны и неинтересны. Очень к месту приведены слова Виссариона Белинского: «Цветистая фраза, новая манера — и вот уже готов новый поэтический венок, ныне зеленеющий, а завтра желтеющий…»

Поэт любил жизнь, а не книжную экзотику. Интересен его спор с другом, для которого «берез дороже — пальмы», спор об экзотической стране Эльдорадо.

Эльдорадо. Был в Петровском парке
С вывеской такою ресторан;
Розы… музы… голубые арки,
Низкий зал, где слушали цыган…
Пыль портьер — колибри и бизоны,
Кабинетов душные шатры…
Были там и пальмы… По сезону
Красили их глянцем маляры.

Язвительный подтекст этого стихотворения, как говорится, не нуждается в пояснениях. Зато когда дело касалось настоящей романтики — у поэта вырастали широкие крылья. Он один из

пионеров космической темы в поэзии.

Еще недавно мы поздравляли Александра Александровича с шестидесятилетием. Зал в Литературном институте был переполнен. Ровесник Коваленкова Анатолий Софронов вспомнил, как юбиляр в юности поддержал его первые шаги в поэзии. Хорошее не забывается. Дмитрий Ковалев рассказал, как поэт и журналист Коваленков в сорок первом нашел его, краснофлотца, автора первых фронтовых стихов, в Заполярье, вселил уверенность в поэтические способности. И вот его нет. Как же так? Кажется, вчера он доказывал в издательстве «Современник», что стихи его надо печатать не избранные, а новые, новые…

С какой щедростью писал Коваленков о трудовом народе, о его радостях и печалях! В своих стихах и песнях он утверждал проверенную в огне дружбу нашей многомиллионной разноязыкой семьи.

Александр Коваленков рано потерял свою мать, его большой матерью стала Советская Россия, которая и вдохновила его на такие строки:

Историю не повернуть назад.
Она сурово обходилась с нами,
Но мы теперь ее диктуем сами.

ПРАВДИСТ

Это уже стало легендой, как и многое, связанное с именем Владимира Маяковского. Кто–то клялся, что это было в Донбассе. На самом же деле это произошло в переполненном харьковском театре. Некто из уязвленных мещан вызывающе крикнул невозмутимому Маяковскому: Где же ваши последователи? Где?..

Поэт некоторое время молчал, потом, сделав энергичный жест, скомандовал во всю мощь своего знаменитого баса:

— Мои последователи! Встать!

Над раковиной оркестра выросло несколько лохматых голов. Эго были начинающие харьковские поэты, рабочие парни, которые попросили Владимира Владимировича провести их на его выступление.

Одного из них звали Сергеем Борзенко. Юный слесарь написал «Марш слесарей», опубликованный в газете «Харьковский пролетарий». Надо быть романтиком и страстно любить свою профессию, чтобы создать этот по–весеннему размашистый и

гордый гимн:

Пусть мещане
Луною скребут по струнам:
Куда ж годится такой медиатор?
То ли дело Лапой чугунной
Проводить по канатам меридианов.
Выходит,
Что глобус — слесарная лира.
Марш мой,
Вздымайся и рей!
Да здравствует вращение мира
По законам механики
И слесарей!

Думал ли тогда молодой поэт, что ему собственной рукой придется «проводить» по канатам меридианов? Впереди его ждали многие страны Европы, пылающие Корея и Вьетнам…

Но до этого было еще далеко. Слесарь стал рабфаковцем. Стихи в «Комсомольской правде», первый рассказ в журнале «Коммунарка Украины»… Конечно, было в них много наивного, но было и то, без чего нет его, сегодняшнего. Была романтика не книжная, а настоящая, жизненная, выстраданная…

До войны Сергей Борзенко работал в газете «Социалистическая Харьковщина». Вот его поэтическое и гражданское кредо:

Если ты пошел
в газетчики, —
Навсегда забудь о покое,
Мы за все на земле
ответчики —
За хорошее и за плохое…

В героическом Вьетнаме. Хо Ши Мин и спецкор «Правды» Герой Советского Союза С. Борзенко

Он писал стихи, очерки, репортажи. Но этого ему казалось мало.

Борзенко… Теперь припоминаю: впервые эту фамилию я прочел не в газете, а услышал на харьковском стадионе «Зенит». Сергей Борзенко, отложив на часок–другой поэтическое перо, яростно защищал на зеленом футбольном поле спортивную честь второй столицы Украины. Его имя знали все харьковчане.

Когда в июне сорок первого по радио объявили о войне, ночью Борзенко приснилось, как сам Буденный прикрепил к его окровавленной гимнастерке медаль «За отвагу». А утром он и впрямь был уже в боевой гимнастерке. Нет, он не только с упоением читал о подвигах в книгах Максима Горького и Дмитрия Фурманова, он сам готов был совершить подвиг.

В жаркое лето 1942 года военный журналист Борзенко был награжден медалью «За отвагу», а в не менее жаркую осень того же года получил орден Красной Звезды. Он уже сходил под Туапсе в тыл врага с отрядом особого назначения, не дни, а месяцы был среди десантников Малой земли, под Новороссийском. Всю жизнь он рвался туда, где труднее.

Легендарная Малая земля. О мужестве десантников уже тогда складывали песни. Одну из них написал земляк и друг Сергея Борзенко командир взвода автоматчиков Борис Котляров:

Опаленные камни седые…

День и ночь не смолкает прибой.
И печальные чайки морские
Пролетают над Малой землей…
Нам она и очаг и Отчизна,
Нам она и любовь и семья.
Небывалой живущая жизнью
Наша Малая чудо–земля.
Но полны мы горячей мечтою,
Что приказ прозвучит боевой —
И рванутся в атаку герои,
Чтобы Малую сделать Большой.

Здесь, в землянке, в минуты затишья Сергей Борзенко урывками работал над повестью о героях Малой земли. Исписанные листки хранил за пазухой, под гимнастеркой. Называлась эта рукопись «Повинуясь законам Отечества». А через много лет он напишет в «Красной звезде»: «Мне особенно памятна корреспондентская работа на Малой земле. Вместе с нами, журналистами, там побывало больше половины работников политотдела 18-й армии. Начальник политотдела полковник Леонид Ильич Брежнев также часто бывал на Малой земле. А добираться до нее было нелегко. Треть судов в пути подрывалась на минах и гибла от прямых попаданий снарядов и авиационных бомб. Начальник политотдела был среди воинов, знал все их нужды, их радости. Он постоянно требовал от нас, газетчиков, правдивого освещения жизни и быта солдат и матросов, давал нам ценные указания и советы».

Когда редактор армейской газеты «Знамя Родины» подполковник В. И. Верховский спросил, кто из сотрудников редакции желает сопровождать десант через Керченский пролив, все, не сговариваясь, посмотрели на Сергея Борзенко. В ночь на 1 ноября 1943 года майор Борзенко был на горящем мотоботе, который засекли ослепительные вражеские прожекторы. Этот драматический момент он сам описал в книге «Жизнь на войне»:

«В мотобот уперлась огненная струя — крупнокалиберный пулемет бил трассирующими пулями, люди стояли вплотную, плечом к плечу. Даже убитые продолжали стоять с лицами, обращенными к врагу. Несколько малокалиберных снарядов разорвалось в мотоботе. Умирающие медленно оседали…»

Невозможно забыть синеглазую девушку в удивительном танце между проволочными заграждениями. «Вперед! Здесь мин нет. Видите: я танцую!» — обращалась она к десантникам. Когда

же писатель, зачарованный необыкновенным танцем в свете прожекторов, спросил у девушки ее фамилию, та только отмахнулась и снова подзадорила друзей: «Братишки, тушуетесь? Мозоли на животе натрете!..» Какой дерзкий характер, какой хлесткий язык! Это же сама воюющая Россия.

Вся книга «Жизнь на войне» насыщена яркими эпизодами, свидетельствующими о мужестве и благородстве наших людей. Мичман Бекмесов среди развалин нашел дневник русской девушки Тани Кузнецовой, томившейся в фашистской неволе: «Каждый день смотрю на восток, но жду не солнца, а возвращения своих. Когда–то наши девушки много пели, и я пела с ними, а сейчас все замолкли, и не столько потому, что запрещают оккупанты, а потому, что не могут петь соловьи в подвале». Характерен разговор писателя с мичманом:

«— Дайте мне этот дневник, — попросил я.

— Ни за что… После войны обязательно найду эту Таню и женюсь на ней, — пообещал Бекмесов».

После войны Таня Кузнецова разыскала автора книги в редакции «Правды» и спросила, где теперь мичман Бекмесов. Борзенко долго молчал, потом посмотрел девушке в глаза:

— В крымской земле.

…Враг встретил десантников ожесточенным огнем. В бою сложили головы многие солдаты и офицеры. И разве мог Сергей Борзенко, передавший через связного матроса Ивана Сидоренко корреспонденцию в редакцию, оставаться в такие часы только журналистом? Он был среди тех, кто руководил боем отряда, бросал гранаты в наседающие пятнистые танки, увлекая за собой бойцов… А с неба сыпались пачки газет с его корреспонденцией об удивительном мужестве десантников. Это поработали наши замечательные летчицы из девичьего авиаполка. Десантники потребовали товарища корреспондента, если он жив, на левый фланг, где было особенно жарко. Пусть придет и опишет геройство наших бойцов! И Борзенко пошел не только писать, но и биться насмерть.

Ему помогали родное небо и родное море. Новую корреспонденцию он передал через раненого лейтенанта Николая Ельцова, взяв с него на прощанье партийное слово, что тот заглянет в редакцию. Мотобот подорвался на мине, тело Николая прибило к берегу. Его нашли. В противоипритной накидке были аккуратно завернуты документы Ельцова и репортаж Борзенко. Так мертвый лейтенант сдержал слово…

В Крыму горела земля. Сколько было фашистских контратак! Борзенко сбился со счету. Горели не только камни, но и фашистские танки. На семнадцатые сутки майора Борзенко

отозвали в редакцию. Когда он вошел к друзьям, у тех в руках был оттиск газетной полосы с Указом Президиума Верховного Совета о присвоении наиболее отличившимся десантникам высокого звания Героя Советского Союза. Пятым в списке — Сергей Борзенко. А среди журналистов и писателей он был первым…

Потом — тяжелые бои под Киевом, фронтовая газета «За честь Родины». В сорок четвертом году Сергей Борзенко стал спецкором «Правды». Он был и в дымной Вене, на старинных улицах и парках которой сражались мои однополчане, и успел одним из первых ворваться в чадный Берлин. Вот его письмо к жене:

«…Пишу из Берлина. Я вошел сюда 22 апреля с танковой бригадой дважды Героя Советского Союза Архипова. Я писал о нем в «Правде» в прошлом году. Это, кажется, первая часть, ворвавшаяся в германскую столицу. Во всяком случае, после прорыва за нами замкнулась брешь…

Я — советский журналист — и где бы ни был, всегда мечтал написать корреспонденцию о последнем, завершающем аккорде войны — заключительном сражении в Берлине. Эта мечта не давала покоя в 1941 г., когда я встретил первого перебежчика–немца, пришедшего с партийным билетом и уже тогда восторженно говорившего о гибели фашизма и о новой Германской Демократической Республике. Она одолевала меня в горах Кавказа, где я бродил по тылам противника в составе отряда особого назначения. Я обдумывал ее на койке в Тбилисском госпитале и вынашивал в страшных лагерях уничтожения в Майданеке и Освенциме, куда входил с передовыми частями и потом каждый день подбирал для нее слова на трудных дорогах войны, на своей п на чужой земле. Мечта моя сбывалась…»

В том же письме Сергей Борзенко делился с подругой своими творческими планами. А их было столько, что с избытком хватило на добрый десяток, а то и двадцать лет. Он просил перепечатать на машинке повесть «Повинуясь законам Отечества». «…Что касается Муси Кузьминой — портрет ее я писал с тебя… Украдкой работаю над повестью «Утоление жажды». Борис Горбатов прочел первую главу, говорит — великолепно. Главу читали Вишневский и Полевой. Она им нравится. Вишневский просит повесть для «Знамени».

Вернусь с войны, окончу «Утоление жажды» и засяду за записки военного корреспондента, назову их «Жизнь на войне». Понимаешь — не смерть, а жизнь, в этом весь смысл нашей сверкающей победы…»

Спецкору «Правды» Сергею Борзенко еще придется писать о мужестве защитников маленькой свободной Кореи и удивительной стойкости многострадального вьетнамского народа, много подвигов бескорыстных героев и подлости корыстных людишек ему еще придется повидать. Вряд ли читатели «Правды» забудут суровые и предельно честные, волнующие до глубины души очерки Борзенко из неспокойной Чехословакии, которую изворотливые дельцы и демагоги пытались силой и хитростью вырвать из социалистического лагеря. А разве забудешь, что о космическом первопроходце Юрии Гагарине и его друзьях первым написал Сергей Борзенко вместе со своим другом полковником Николаем Денисовым?

Мой земляк, спецкор «Правды» Виктор Бекетов, автор книг о богатствах Курской магнитной аномалии, рассказывал мне, как Сергей Александрович много лет назад приезжал в Белгород на юбилейные торжества, посвященные нашей победе на Курской дуге, долго стоял у могучего танка на пьедестале. И вдруг из пушки танка вылетела птаха. Оказывается, она там свила гнездо. Борзенко был взволнован, в нем заговорил поэт…

Судьба бросала Сергея Борзенко в разные края и страны. Есть фотография, где Сергей Александрович снят беседующим с Хо Ши Мином.

— Удивительный был человек, — вспоминал Борзенко. — По–ленински прост и мудр. Как его любили рыбаки и солдаты, крестьяне и поэты! А о ребятишках уж не говорю. Весь народ звал его дядя Хо…

Думалось: Сергей Борзенко еще напишет о многих захватывающих встречах. Сколько памятных сувениров в его квартире! За каждым стоит кусочек беспокойной жизни. Беру в руки большой том «Владимир Ильич Ленин. Биография. Издание четвертое. Москва. 1970». Читаю на титульной странице: «Дорогому другу–правдисту, лучшему военному корреспонденту «Правды», Герою Советского Союза Сергею Александровичу Борзенко на добрую память, с самыми лучшими пожеланиями. И. Поспелов. 23 февраля 1971 года. Привет и братство!»

Петр Поспелов редактировал «Правду» военного времени. Он помнит многое.

Была у Сергея Борзенко замечательная черта, роднящая его с ленинской газетой, которой он отдал 30 своих лучших лет: он был правдив до мельчайших мелочей. Как–то Михаил Шолохов, знавший его с военных лет, молча заглянул в ясные, умные, с грустинкой глаза друга и крепко обнял:

— До чего же ты свой!..

И на фотографии написал: «Одному из немногих и самых

близких».

То, что довелось пережить в войну, с годами все сильнее отзывается на любом фронтовике. «Землетрясение», новую книгу романа «Какой простор!» Сергей Александрович писал в больнице. Задумчиво похлопав по папке, он сказал мне:

— Вот везу сдавать в журнал…

Он многое еще надеялся успеть, певец Малой земли, харьковский хлопец — романтик, сложивший «Марш слесарей».

МЕТРОСТРОЕВЕЦ

Трудно писать о своем учителе. И радостно. Помнится, вскоре после окончания войны мои однополчане передавали из рук в руки номер «Крокодила» со стихотворением, которое захотелось сразу же выучить наизусть.

Что для нас
трофеи–самокаты,
Разные шелка да зеркала,
Если на ладони у солдата
Вся судьба Отечества была!

Потом это стихотворение вошло в лирическую поэму «Избранница», которую поэт писал не один год. В поэме говорится о большой любви, проходящей сквозь испытания. Смирновские стихи звучат свежо и звонко. Теперь по ним учится жить новое поколение. Поэт о гордостью заявляет, что «державу на тысячи верст протяженьем он считает своим основным сбереженьем!».

Еще в юности Сергей Смирнов пешком прошел по горьковским местам. Не здесь ли родились знаменитые строки:

Друзья–пешеходы, давайте не будем
Завидовать в поезде едущим людям!

Добрую трудовую закалку поэт получил на строительстве первой очереди московского метро. Надо — он спускается под землю, надо — он идет на фронт без всяких повесток. Свое непоказное мужество он умеет спрятать под улыбкой.

Да здравствует уменье быть веселым,
Когда тебя ничто не веселит!..

Вместе с друзьями–однополчанами он дошел «до Бранденбургских сумрачных ворот».

Мне повезло. Едва сняв погоны, я попал в Литературный институт, в творческий семинар Сергея Смирнова. Мне показали в институте легендарный диван, на котором до войны спал студент Сережа Смирнов. Впрочем, о студенческом житье–бытье поэт сам говорит в известной песне «Общежитие». Кто из нас не пел:

Я свой первый бокал за тебя подниму,
Общежитие, пристань моя путевая!

Семинар у нас был дружный, остроязыкий. Парни собрались самые разные, но у каждого было что–то от нашего улыбчивого учителя. Кубанец Иван Вараввa, украинец Сергей Мушник, северянин Владимир Морозов, южанин Вадим Зубарев, белгородец Виталий Буханов, смолянин Иван Рыжиков, воронежец Егор Исаев…

Вижу лица друзей, представляю их книги, которых тогда еще не было. Быть может, появлению этих будущих книг мы больше всего обязаны нашему зоркому и веселому учителю.

Мы учились у Сергея Смирнова и поэтическому мастерству, и гражданскому мужеству. По–моему, у настоящих поэтов эти качества неразрывны. Давним и главным врагом нашего учителя было мещанство всех мастей.

Мне повезло вдвойне. Мою первую книжку в Москве редактировал Сергей Смирнов. Никогда не забуду его бережного отношения к чужой строке:

— Вы ершистый — причесывать вас не будем!

Но когда замечания были справедливы — неудобно было подводить такого щедрого поэта и человека. Помню, с какой нежностью Сергей Васильевич отзывался о Михаиле Исаковском:

— Этот настоящий! Этому не грех посвящать стихи!

Теперь мне ясно: есть что–то общее в этих самобытных русских поэтах — Михаиле Исаковском и Сергее Смирнове: лукавая улыбка, удивительная прозрачность стиха, пришедшая с годами. И все же какие это разные поэты! Уж так повелось у нас

на Руси. Что ни город — свой норов, что ни молодец — на свой образец. С вдохновением и проникновенностью Смирнов пишет о деревне:

Есть поля да белый цвет черемух,
Есть леса да реченьки свои,
Где в сплошных ракитовых хоромах
Набирают силу соловьи.
Как займутся посвистом бедовым,
Поведут —
замри и не дыши!
Соловьи седым солдатским вдовам
Возвращают молодость души.

Мало кто так глубоко, так искренне писал о русской женщине, как Сергей Смирнов в поэмах «Лирическая повесть», «Владычица морская», «Русская красавица», «Сердце на орбите», «Светлана»! Читатели горячо откликнулись на этот задушевный венок поэм. Сколько писем, открыток, телеграмм!

«Торжественно поздравляю и обнимаю с бурным пятидесятилетием п одновременно с Новым годом дорогого друга, уже поехавшего с ярмарки тихой трусцой. Советую надежно окопаться в этом не последнем рубеже и стоять почти насмерть в случае, если годы будут напирать неудержимой яростью, отходить с боем, защищая каждую пядь, завоеванную славным прошлым.

Твой Михаил Шолохов».

Сергей Смирнов пишет поэмы, песни, лирические стихи, короткие басни, меткие и едкие пародии. Своим творчеством он смел тесные перегородки узкой специализации. И прекрасный лирик, и зубастый сатирик. В этом я еще раз убедился, когда через двенадцать лет после первой нашей встречи мне довелось редактировать юбилейную книгу моего учителя «Веселый характер» в издательстве «Советская Россия». С какой скрупулезной придирчивостью и строгостью поэт отбирал стихи для этого сборника! В нем представлены все жанры поэзии.

Иные поэты, добившись отдельной удачи, начинают повторять себя. Сергей Смирнов слишком любит жизнь, чтобы повторяться в творчестве. Посмотрите, кому посвящает он свои

стихи, и вы поймете, как широка его душа. Какая щедрая россыпь талантов! Здесь и учителя поэта, и его ученики, и друзья–однополчане, и новоселы целины, и наши космонавты, и пограничники, и шахтеры, и подруга поэта, и мать молодогвардейца Виктора Третьякевича.

Новаторство Сергея Смирнова зиждется на добрых традициях классической русской поэзии. Правильно подметил Семен Новиков — автор предисловия к юбилейной книге С. Смирнова, что короткие басни поэта очень близки к народным пословицам, они «динамичны, как взрыв»:

Не в ту среду
попал
Кристалл,
Но растворяться в ней не стал.
Кристаллу
не пристало
Терять черты кристалла.

«Поэт Сергей Смирнов и сам мужал, и свою музу воспитывал в суровую пору. Я видел его стихи, написанные в окопах прославленной Восьмой гвардейской дивизии не на бумаге, а на бересте. Поэт творит для народа, и поэт всегда в гуще жизни», — свидетельствует С. Новиков.

Глубинное знание жизни отличает новые поэмы Сергея Смирнова «Свидетельствую сам» и «Сердце и дневник». В центре первой — биография поэта на фоне больших исторических событий, памятных для всего нашего народа, в центре второй — судьба ленинградской девочки Тани Савичевой, пережившей все тяготы ленинградской блокады, ее знаменитый дневник, который на весь мир прозвучал на Нюрнбергском процессе, как обвинительный документ.

Что роднит эти две внешне несхожие вещи? Их патриотический накал. В начале поэмы «Свидетельствую сам» поэт, не скрывая сомнений, обращается к себе:

Слушай, автор,
может быть — неловко
Освещать в печати личный путь?
Но уж раз такая установка,
Хоть умри,

а сам собою будь.

Да, поэт Сергей Смирнов и в этой поэме и в поэме «Сердце и дневник», как и во всем своем творчестве, остался сам собой. Он с благодарностью вспоминает многих своих учителей.

Вспоминает он добром и «ударную шахту Метростроя», где получил первое трудовое крещение, и мудрого Максима Горького, по инициативе которого был создан Литературный институт для даровитых парней и девчат, учившихся в нем «без отрыва от станков, от борозд и лопат».

Лично мне дорогу осветило
И согрело щедростью людской
Не одно,
а сразу два светила:
Мастера —
Светлов
и
Луговской.

Правдиво и страстно рисует Сергей Смирнов суровые будни Отечественной войны в Москве и в блокадном Ленинграде, куда выехал лирический герой поэмы, получив спецзадание на родном заводе, эвакуированном в город Н.

То, что С. Смирнов видел воочью беспримерный подвиг голодавших ленинградцев, помогло поэту создать поэму «Сердце и дневник». Нежностью, болью, гневом пронизана эта песня о нелегкой судьбе маленькой ленинградки, потерявшей почти всю большую семью.

За окном — весеннее блистанье.
А она
сиротски
занесла
В свой дневник:
Осталась
Одна
Таня —
Даже не поставила числа.

Ослабевшую Таню увезли из Ленинграда по знаменитой ладожской «Дороге жизни». Она знакома автору, который «сам эвакуировал оттуда опаленных временем орлят». Отсюда — достоверность бомбежки баржи с детьми гитлеровскими стервятниками и встречи спасенных детишек с нашими солдатами.

И когда она
по шатким сходням
Шла, боясь, что свалится,
ее
Подхватил солдат
и тут же поднял
На руки,
как детище свое.
Пусть на ней
тужурка не по мерке,
Но, нетленность яркости храня,
Взмыл
от ветра
галстук пионерки,
Словно
пламя
Вечного огня.

Судьбе юной ленинградки поэт придает символическое звучание. С не меньшим волнением читатели прочтут прозаические строки «От автора»: «Савичевы умерли не все. Мне удалось разыскать сестру Тани Савичевой — Нину Николаевну Савичеву–Павлову и заочно связаться с братом Тани — Михаилом Николаевичем Савичевым. Вот строки из письма брата о судьбе Тани: «…Она была отправлена на «Большую землю», в Горьковскую область, с детским домом № 48, где находилась, как сообщила воспитатель Карпова, сначала в Красном Боре, затем в Понетаевском детдоме, уже инвалидом 2-й группы, после чего была отправлена в Шестаковскую районную больницу, где и умерла. Там и похоронена…»

Нелегко писать поэму по известному дневнику. Но Сергею Смирнову удалось избежать иллюстративности.

Перед нами вырастает образ терпеливой, доброй, мужественной ленинградской пионерки:

Время возвышает
Образ Тани
И ее доподлинный дневник.

А поэт Сергей Смирнов рядовым бойцом, как об этом рассказывается во второй части поэмы «Свидетельствую сам», мстил нацистам на фронте. Демобилизовали его в январе, «в победном сорок пятом». Поэт еще успел побывать до дня нашей Победы с выездной редакцией «Правды» на горячем трудовом фронте.

Патриотическая поэма Сергея Смирнова «Свидетельствую сам» внутренне перекликается с поэмой великого Маяковского «Хорошо!». В этих произведениях судьба поэта неразрывно слита с судьбой страны.

На белоснежной обложке книги, где помещена эта поэма, золотится медаль с профилем Максима Горького. Это награда. А на титульной странице книги мой учитель написал: «Дорогой Володя! Мы с тобой являемся представителями редкостных фамилий. Давай всегда и во всем блюсти их народность, массовость и революционность…» В этом — весь Сергей Смирнов.

ИСКАТЕЛЬ И ПОЭТЫ

В ряду тверских колхозников, приветствовавших Первый съезд писателей, стоял худощавый паренек, прижимавший к груди сноп спелой ржи. Щеки его вспыхнули, когда голосистые землячки дружно стали предъявлять претензии к молодому Шолохову за то, что Лушка из «Поднятой целины» не стала ударницей колхозных полей. Ему было мучительно стыдно не за Шолохова, не за простодушных землячек, а за себя, сельского комсомольца Сашу Макарова.

— Очень мне по молодости лет нравилась эта манящая Лушка… — рассказывал потом умудренный жизнью Александр Николаевич нам, слушателям Высших литературных курсов, участникам его поэтического семинара, и на смуглом лице ослепительно зажглась чуть лукавая, удивительно располагающая Макаровская улыбка, которую невозможно забыть.

Такую улыбку я видел лишь у любимца довоенных

кинозрителей Николая Баталова, самозабвенно игравшего в кинофильмах «Аэлита», «Путевка в жизнь», «Три товарища». Пожалуй, сходство у этих двух людей было не только внешнее, но и внутреннее. Оба они щедро дарили народу нерастраченное богатство своих душ. Недаром же говорится на Востоке:

— То, что отдал — нашел, а то, что оставил, — потерял.

Мы очень любили простого, умного, непосредственного руководителя нашего семинара.

— В конце концов, Шолохова можно было упрекнуть не только за своенравную Лушку, — лукаво продолжал Александр Николаевич, — но и за то, что он не заставил раскаяться своего Тита Бородина, все же в прошлом красного партизана. Чего бы стоило писателю помочь герою найти в себе силы порвать с частнособственническими искушениями? В самом деле — чего бы стоило? Всего лишь пожертвовать правдой яшзни и превратить трудно проходимые пути истории в искусственный каток для фигурных упражнений лихих конькобежцев…

Мы все зачарованно смотрели на нашего руководителя, из уст которого как бы сами собой сыпались яркие образы, неожиданные сравнения. Александр Макаров был лириком в критике. Глубоко и детально разбирая чужие книги, он почти всегда пользовался опытом личной жизни, приводил собственные наблюдения, сравнивал, убеждал. Да, да, на мой взгляд, существует не только «лирическая проза», но и «лирическая критика», одним из зачинателей которой был Александр Николаевич.

Еще в юности он не раз обескураживал сверстников своей эрудицией. Почитайте внимательно его книги — он никогда не щеголяет ею, но она всюду чувствуется, — руководитель нашего семинара прекрасно знал и любил многих классиков мировой литературы. На его личности лежал яркий отсвет того неповторимого времени.

— Это было время, — увлекаясь и увлекая, рассказывал он нам, — когда в самодеятельных спектаклях шиллеровский Карл Моор обличал проклятую Антанту, а в «Ромео и Джульетте» на сцену врывался из зрительного зала комсомолец, чтобы вопреки логике трагедии сочетать героя и героиню гражданским браком, а заодно разоблачить Монтекки и Капулетти, как представителей буржуазии.

Макаров отмечал большое влияние народного театра на драматургию тех лет и прежде всего на пьесы и сценарии Всеволода Вишневского: «Искания Вишневского в области формы, отвечающей новому содержанию, не имели ничего общего с литературой «потока сознания», с джойсовским копанием в помойной яме чувств западноевропейского обывателя», — писал

критик в статье «Целеустремленность и неукротимость», посвященной В. Вишневскому.

Особенно Александр Николаевич ценил «Оптимистическую трагедию», фильм «Мы из Кронштадта», вместе с «Чапаевым» принятый на вооружение бойцами республиканской Испании, и кинороман «Мы, русский народ», который решил экранизировать Сергей Эйзенштейн. Новаторскому кинороману Макаров был обязан многим. Быть может, при чтении этой необыкновенной вещи в душе молодого Саши Макарова, старшекурсника Литинститута, только что назначенного заместителем редактора журнала «Детская литература», родился критик.

Первая Макаровская статья так и называлась — «Мы, русский народ». У кинороманa Всеволода Вишневского были свои противники. Макаров с юношеской горячностью напомнил им о заповеди Белинского: критик обязан прежде всего войти во внутренний мир художника, постичь законы развития этого мира, прежде чем высказать свое суждение о нем.

— В статьях, критиковавших кинороман, — вспоминал позже Александр Николаевич, — Вишневский представлен как человек без прошлого, как некий литературный незнакомец, которого наседка под кустом высидела. А «Оптимистическая трагедия»? А «Мы из Кронштадта»? Ах, как он нужен был на экране «Мы, русский народ», киноэпопея с патриотическим накалом в преддверии великой войны!

Свою юношескую любовь к этому произведению Всеволода Вишневского Макаров пронес сквозь всю жизнь. Когда незадолго до своей смерти Александр Николаевич услышал, что «Мы, русский народ» наконец экранизирован, он облегченно вздохнул:

— Ну слава богу!.. А фильм смотреть все же не рискну: вдруг там не так, как представлял я в молодости?..

Как некогда поэт и мечтатель Сергей Чекмарёв, Саша сам уехал из московского театрального училища в тверское село: хотел знать жизнь народа, быть полезным. Где потруднее — комсомольская ячейка посылала безотказного веселого избача Сашу, совсем непохожего на сироту, хотя он рос без отца и матери. Под проливным дождем за сорок верст шагал он, сельский агитатор, в сбитых сапогах, выполнять комсомольское поручение.

Одно лишь поручение он наотрез отказался выполнить: когда жюри Всесоюзной сельской олимпиады премировало его как поэтически одаренного товарища путевкой в Литературный институт. Понадобилось специальное постановление комсомольской ячейки, чтобы скромный, но упрямый Саша подчинился.

Однокурсники Александра помнят, как он начинал с искренних, застенчивых стихов, в которых угадывалось влияние Блока и Есенина. Я читаю свежий номер калязинской районной газеты «Вперед», где напечатана подборка Макаровской лирики. «Пришла и попросила душу», — говорит поэт о своей любимой — Наташе.

— Мы оба писали стихи, — признается Наталья Федоровна, — но когда нахлынуло большое чувство, — он сказал мне: «Знаешь что, мальчик? Бросим… А вот книгу в шести томах о настоящей жизни напишем. У меня уже есть план. Будем писать вдвоем!»

Всю жизнь он собирался написать эту настоящую книгу в шести томах — до последнего своего часа. Книгу о самом главном. Но для этого ему снова, как в юности, хотелось уехать в деревню. Не успел…

Мы познакомились с ним, когда он был заместителем редактора журнала «Знамя».

— Выручите нас. Нужно перевести лирику Любови Забашты, — улыбаясь своей белозубой улыбкой, сказал мне Александр Николаевич. — Вы ведь знаете украинский язык?

— Точнее: понимаю, — заверил его я, студент послевоенного Литинститута.

— Но ведь это же лучше, чем вслепую переводить с подстрочников! — лукаво упорствовал Макаров. — Кстати, ваш «Белгород» мне по душе. Больше того. Заказал рецензию Борису Соловьеву. Читали у нас «Сердечно, молодо, чисто»?

Я изумленно смотрел на этого неуемного человека. Оказывается, он не только сам успевал заметить и поддержать наши первые опыты, но и заражал своим энтузиазмом других, умел мобилизовать их на поиски еще не открытых имен. Искатель! Да, он был искателем по призванию.

Мне посчастливилось не только участвовать в творческом семинаре Александра Макарова, но и слушать его дружеские замечания и советы, когда он редактировал для «Знамени» мою поэму «Крутогорье», рассказывавшую о гибели молодой сельской учительницы–активистки, зверски убитой кулаками. Тут уж я убедился не только в прекрасном знании Александром Николаевичем села в годы великого перелома, но и тяготении его не к заземленному, ползучему бытописательству, а к высокой романтике.

«Слово Коммунист завоевывает все большее признание в мире, как единственно достойное выражать подлинную сущность Человека», — сказал Макаров в статье о поэзии Межелайтиса. Заголовку этой статьи потом суждено было стать названием

одной из посмертных Макаровских книг — «Человеку о человеке».

Критик Александр Макаров сумел сказать свое слово о творчестве многих поэтов и прозаиков. Больше того. Его глубокие раздумья оказались долговечнее отдельных произведений, о которых шла речь в некоторых его статьях и которые имели определенное значение на каком–то этапе развития нашей литературы. Почти на всех Макаровских творениях — пусть не в равной степени! — лежит отпечаток его незаурядной личности. Не в этом ли тайна нестарения того лучшего, что он создал?

Темпераментный критик не только давал оценку новым книгам, но и боролся за их утверждение, если этого требовала жизнь. Так было с поэмой Александра Твардовского «Василий Теркин». Некоторые критики и поэты отказывали в художественности любимой народной книге, называли ее сборником газетных фельетонов, книжкой–лубком, поэмой, написанной размером ершовской сказки о коньке Горбунке и Иванушке–дурачке и т. д. В 1945 году Макаров написал статью «Александр Твардовский и его книга про бойца», где дан глубокий анализ выдающейся поэмы, и добивался, чтобы эта статья появилась в свет, когда споры были в разгаре, — еще до присуждения поэту Государственной премии.

Вчитайтесь в прозорливые макаровские строки: «Любое новаторское произведение вызывало и будет вызывать на первых порах недоумение, стремление объяснить его, исходя из привычных, даже более — из наиболее общераспространенных в это время литературных канонов и убеждений».

Мне кажется, что юношеская любовь к лучшим стихам и поэмам Демьяна Бедного привела зрелого Макарова к поистине народному творчеству Михаила Исаковского и Александра Твардовского. Образ Василия Теркина так же, как и песни Михаила Исаковского, по мнению критика, возвышает душу и облагораживает сердце. Их поэзия стала общественным явлением, ибо художественно выражает мысли и чувства миллионов. Интересно меткое наблюдение Макарова, повстречавшего в воинском вагоне лейтенанта, декламировавшего стихотворение М. Исаковского «Возвращение», напечатанное в то время в «Правде»: «Юноша–лейтенант был не вполне прав, думая, что поэт только угадал его чувства. Поэт научил им его».

В статье «Перед новым приливом» критик ставит рядом имена Михаила Светлова и Ярослава Смелякова: «Каждый из них чем–то особенно близок автору статьи. Один тем, что его задушевный талант полюбился еще с юности, другой — потому, что он твой ровесник, искал, ошибался, поднимался и мужал рядом с тобой».

Нам, слушателям ВЛК начала шестидесятых годов, довелось в этом убедиться воочью. Вторым руководителем нашего поэтического семинара был Ярослав Смеляков. Общительный, щедрый Александр Николаевич и немногословный, жестковатый Ярослав Васильевич удивительно дополняли друг друга. Макаров отлично знал поэзию своего сверстника и был одним из немногих, к мнению кого Смеляков прислушивался.

Александр Николаевич нашел точное определение основной особенности лучших смеляковских стихов и поэмы «Строгая любовь» — это их скульптурность, умение поэта создать яркий внешний и психологический портрет своих героев, рабочей молодежи.

И никакого беспокойства
И от расчета — ничего.
Лишь ожидание геройства
И обещание его.

Последние две строки критик выделил, ибо он всей душой, так же как и поэт, верил в юного романтика, безбилетного парнишку, сбежавшего из дому на северную стройку. А вот признание самого поэта:

И я в настроенье рабочем,
Входя в наступательный раж,
Люблю, когда он разворочен,
Тот самый прелестный пейзаж.

«В этом нет никакой рисовки и позы, — утверждал Макаров. — Подделать можно многое, но не интонацию, а интонация стиха искренна и безыскусна». Александр Николаевич был убежден, что интонация в поэзии не менее важна, чем колорит в живописи. Убедительно сопоставление критиком двух смеляковских поэм «Лампа шахтера» и «Строгая любовь», где есть «память былого, поднятая до вершин поэтической страсти».

Вот у меня в руках первый послевоенный (1956) номер журнала «Молодая гвардия», редактором которого стал Александр Макаров. Напечатаны здесь и главки из «Строгой любви».

Нас набатный ночной сигнал
Не будил на барачной койке,
Не бежали мы на аврал
На какой–нибудь громкой стройке…
Но тогда уже до конца
Мы, подростки и малолетки,
Без остатка свои сердца
Первой отдали пятилетке.

Многих читателей журнала взволновала главка «Маяковский», где особенно ощутима эта самая *скульптурность* смеляковской поэзии.

По–весеннему широка
Ровно плещет волна народа
За бортом его пиджака,
Словно за бортом парохода…
Счастлив я, что его застал
И, стихи зачитав до корки,
На его вечерах стоял,
Шею вытянув, на галерке.

Образ Маяковского на наших глазах вырастает в волнующий символ, в поэтический идеал.

…Как ты нужен стране сейчас,
клубу, площади и газетам —
революции чистый бас,
голос истинного поэта!

Первый номер журнала «Молодая гвардия» — явление примечательное. Тут же рядом с фрагментами «Строгой любви» одна из ранних поэм Василия Федорова «Белая роща». В ней сразу ощущаешь приметы того времени, когда парни и девчата пели: «Здравствуй, страна целинная!» Палатка на далекой Кулунде.

Раздумья главного героя Егора, мечтавшего через два–три года вернуться домой, «уехать из глуши». Но случилось так, что приехавшая к нему погостить и посоветоваться мать навеки осталась лежать в кулундинской белой рощице.

И сердце сильней застучало.
Могила–Простой бугорок…
В нем отчего края начало,
В нем будущей жизни залог.

Даже сквозь отдельные несколько наивные строки ранней федоровской поэмы проглядывает большое чувство и большая мысль. Не может быть чужой земля, на которой ты живешь, работаешь и в которой покоится прах твоей матери. Здесь, в кулундинской белой рощице, пришла к Егору настоящая любовь.

Притихла,
В глаза загляделась,
А вечер прохладен и тих…
Над ними звезда загорелась
Большая, одна на двоих.

А через два года в издательстве «Молодая гвардия» Дмитрий Ковалев показывал мне оформление будущей книги поэм Василия Федорова, которая так и называлась «Белая роща». В нее вошли такие ныне известные поэмы, как «Проданная Венера», «Далекая», «Золотая жила», «Дуся Ковальчук», «Марьевская летопись» и другие. Автор подарил мне свою книгу с дружеской надписью: «Володе Федорову, близкому мне не только по фамилии».

Мне довелось бывать в родных кемеровских местах Василия, где он работал колхозником и заводским мастером и где знают и любят семью Федоровых, давшую восьмерых коммунистов, в том числе и автора патриотической поэмы «Седьмое небо».

Я вспомнил,
Что летал когда–то,
Что у меня была звезда.
Кто хоть однажды

Был крылатым,
Приписан к небу навсегда.

В своей поэме Василию Федорову удалось ярко, образно рассказать о трудном пути нашего крылатого народа. Своеобразным ключом к «Седьмому небу» и всему лучшему, что создал поэт, является его лирическая миниатюра:

Средь тех,
Кому мечтается,
В толпе при свете резком,
Все чаще мне встречаются
Глаза со звездным блеском.

Надо было обладать зоркостью и чутьем Александра Макарова, чтобы заметить этот «звездный блеск» в ранней поэме мечтателя–сибиряка, тогда, пожалуй, известного лишь литинститутцам да молодым любителям поэзии, с интересом читавшим первую в Москве федоровскую книгу «Лесные родники». Александр Николаевич не только заметил, но и поставил «Белую рощу» рядом со смеляковской «Строгой любовью».

Впрочем, Макаров пошел еще и на больший «риск».. Он открыл этот памятный молодогвардейский номер циклом стихов начинающего Евгения Евтушенко, которого тогда никто не знал. Я очень внимательно прочел сейчас этот цикл. Надо прямо сказать: большинство стихов не выдержало проверки временем. Так чем же привлекли эти стихи и их автор такого взыскательного редактора и критика, как Александр Макаров? И вот среди звучных, на риторичных строк я нахожу росток поэзии, в который,, очевидно, поверил Александр Николаевич.

В пальто незимнем,
в кепке рыжей выходит парень из ворот.
Сосульку, пахнущую крышей,
он в зубы зябкие берет.
Он перешагивает лужи,
он улыбается заре…
Кого он любит?

С кем он дружит?
Чего он хочет на земле?

Здесь бы и поставить поэтическую точку, но юный автор еще долго и многозначительно творит на холостом ходу.

Эту особенность Евтушенко и некоторых его поэтических сверстников заметил, конечно, зоркий глаз Макарова. «Опасностью, подстерегающей Евг. Евтушенко, является его склонность к риторике», — предостерегал Александр Николаевич позднее. Внимательно приглядывался чуткий и строгий критик к молодым. Сознание некоторых из них, по словам Макарова, формировалось в сфере чисто образовательной, а не сфере практики. «Словом, приходилось им не от жизни идти в поэзию, а от поэзии к народной жизни». Сравнивая поэмы «За далью — даль» А. Твардовского и «Братская ГЭС» Е. Евтушенко, он писал: «В поэме Твардовского мы имели дело с идеей–образом,, возникающим из мироощущения, из внутреннего состояния души, личных раздумий, и как бы ни были многообразны анализируемые поэтом явления жизни, они, естественно стягиваются к ней, к центру. В «Братской ГЭС» идея заимствована, и все, что волнует поэта, о чем он не может молчать, он старается привязать к ней, прикрепить живые, зеленые ветви растений к стволу, проглядывающему сквозь трепетную листву, как телеграфный столб». Нельзя не удивиться тонкости суждений и яркому, образному языку критика–лирика.

Почему же Макаров уделил в своей кнпге раздумьям над поэмой Евтушенко такое большое место, гораздо большее, чем анализу творчества таких зрелых поэтов, как Светлов и Смеляков? Да потому, что такова была задача критика. Значение поэта никак нельзя определять страницами или даже печатными листами, отведенными ему в критической книге. На примере скрупулезного разбора поэмы Евгения Евтушенко Александр Николаевич учил всю поэтическую молодежь, давал свой строгий и страстный наказ «идущим вослед».

Передо мной последняя открытка Александра Николаевича, адресованная Дмитрию Ковалеву, поэту раздумчивому, предельно искреннему. Его лирические стихи с большой верой в молодое поколение пришлись по душе неизлечимо больному критику, уже не могшему подняться с больничной койки. А ему так хотелось навестить родной волжский городок…

Когда–то Саша Макаров сочинил о своем районном городке шутливое двустишие:

Есть на Волге, тих и грязен,
Знаменитый град Калязин.

Как он любил свой деревянный городок! Теперь он не узнал бы Калязина, речки Жабни, где когда–то рыбачил на рассвете. Вокруг встают корпуса заводов. Есть в Калинине улица Александра Макарова и мемориальная библиотека его имени. К открытию ее многие известные писатели прислали письма с воспоминаниями об Александре Николаевиче. «Его природный дар обладал двумя высшими качествами — аналитическим умом и чувством художника… — писал Константин Федин. — У него свое, и притом видное, место в истории нашей критики. Труд его сохранится в памяти пристального читателя».

А вот волнующие строки Николая Тихонова, Михаила Исаковского, Мирзо Турсун–заде…

К. Федин и А. Макаров

Академия наук СССР присудила Александру Макарову премию имени Белинского посмертно.

Недавно был юбилейный вечер, посвященный шестидесятилетию Александра Николаевича. А его уже несколько лет нет с нами. Самые разные люди вспоминают его добром.

Вдова, в тесной квартире, заставленной полками с папками, разбирает рукописи и пишет документальную повесть об этом замечательном человеке, неутомимом искателе. Уверен, что со временем будут изданы не только все его статьи, но и внутренние рецензии, написанные с блеском.

Когда Александру Николаевичу было особенно трудно, он любил читать стихи вслух. Привычка еще с юности: боец Макаров читал друзьям в походе Пушкина и Есенина. Он свято веровал в большую поэзию и знал: мимолетное пройдет, вечное останется. И еще знал: останется только то, во что вложена человеческая страсть.

У него была ребяческая мечта: иметь ручку с золотым пером. Оно–то, говорят, долговечное. Этот постоянно занятый, отзывчивый, бескорыстный человек с проницательным умом и не подозревал, что его простецкое перо — золотое.

ПОРТРЕТЫ ТОВАРИЩЕЙ ПО ПЕРУ

СИБИРЯКИ

В мою, творческую судьбу эти два известных писателя–сибиряка вошли одновременно. Георгий Марков и Сергей Сартаков. Я был одним из многих, чьи первые шаги в прозе они поддержали.

Помню, как Георгий Марков поздравлял нас, слушателей Высших литературных курсов, с завершением учения, вручал нам дипломы.

Потом мы с ним встретились в ЦК ВЛКСМ, куда пригласили восьмерых писателей, книги которых были отмечены молодежью на Всероссийской читательской конференции «Родная земля», организованной ЦК ВЛКСМ, Министерством культуры и Союзом писателей Российской Федерации.

Рядом с «Поднятой целиной» Михаила Шолохова, повестью «Хлеб — имя существительное» Михаила Алексеева и другими известными книгами о селе молодые читатели назвали роман «Отец и сын» Георгия Маркова. Секретарь Центрального Комитета комсомола вручил ему грамоту ЦК ВЛКСМ «За большую плодотворную работу по воспитанию молодежи», а комсомольцы Томской области подарили земляку замечательный сувенир: искусно выполненную миниатюрную карту таежного края с макетом нефтяной вышки. А в небольшом сосуде — сибирская нефть, еще одно из сокровищ родной писательскому сердцу земли…

Г. Марков среди выпускников Высших литературных курсов (1963 год)

Георгий Марков тогда с волнением говорил о своей далекой комсомольской юности, о родимом преображающемся крае, с которым тесно связано все его творчество.

Интересно, что своеобразным запевом к будущему творчеству была заметка юного селькора Гоши Маркова «Волки одолели» в газете «Томский крестьянин». После нее пристыженные односельчане устроили облаву на волков, и будущий писатель, говоря его словами, «понял своим детским сердцем великую силу печатного слова, его способность подымать людей на большие и полезные дела».

Юному Маркову довелось быть первым пионервожатым в родной волости. Затем комсомольская и редакторская работа, совмещенные с учебой в Томском университете. Постепенно пришел замысел первого романа «Строговы». Трудился над своей рукописью и помогал другим. Георгий Марков был редактором альманаха «Новая Сибирь». Много первых произведений товарищей по перу отредактировано им. В разное время большую помощь в работе над первыми книгами Георгий Марков оказал дочери машиниста Раисе Белоглазовой, председателю одного из первых сибирских сельсоветов Василию Балябину, бывшему директору кожзавода Францу Таурину.

Работал над своим романом неторопливо, пропадал в библиотеках, изучал архивы, беседовал с живыми свидетелями истории сибирского края. Хотелось написать правдивую книгу

большого звучания, обобщения. Ведь о Сибири уже были книги.

Когда роман был напечатан в «Сибирских огнях», его автор и редактор журнала Савва Кожевников приехали в Москву.

К Кожевникову подошел Константин Федин:

— У вас, сибиряков, вышел интересный роман о кедровых бунтах.

— А вот автор, — улыбнулся Савва Кожевников. — » Знакомьтесь.

— А я считал: вы старше! — Федин протянул Маркову руку.

Роман был тепло принят читателями и критикой. Подкупали сочный таежный язык, самобытные характеры. Посыпались читательские письма с разных концов страны. Писатель вспоминает: «Ив письмах и в статьях довольно сильно звучал один и тот же мотив: «Расскажите историю героев дальше, покажите их жизнь в наше советское время». Именно под воздействием этих пожеланий и сложился у меня замысел нового романа «Соль земли», героями которого были бы представители младшего поколения семьи Строговых»…

Георгий Мокеевич рассказал мне, что первой читательницей его рукописи, в которой было только 80 страниц, стала Лидия Сейфуллина. В свое время эта замечательная сибирячка поддержала и молодого Фадеева.

И новый роман Маркова получился добротным. Его не только тепло приняли читатели и печать, но появились и театральные инсценировки этой книги. Ею заинтересовались радио и телевидение.

В книге «Георгий Марков» Н. Еселев, обращаясь к роману «Соль земли», убедительно доказывает жизненность проблем, поднятых Георгием Марковым, сравнивая его со статьей С. Борисова «Не склони гордой головы» в «Известиях». Реально существующему молодому геологу Ивану Петрову привелось пройти через те же самые испытания, что прошел в книге ее герой Алексей Краюхин. Еселев заключает: «Вся история с геологом Иваном Петровым — это как бы документальное подтверждение жизненной правды, которая отражена в произведении Георгия Маркова (роман «Соль земли» был написан значительно раньше, чем появилась статья о Петрове). Побольше бы таких совпадений в нашей литературе!»

Интересны факты, свидетельствующие о большом влиянии романа «Соль земли». Проблемы, поднятые в нем, волнуют многих геологов, ученых, студентов. Автор ежедневно получает десятки писем. Семеро львовских студентов, прочитав роман, пишут о своем решении ехать в Юксинскую тайгу. Аспиранты–биологи, работавшие над научными проблемами кедровых лесов,

находят для себя много ценного в романах Георгия Мокеевича. Ведь он шел от жизни.

Кроме «Строговых» и «Соли земли» писатель создал роман «Отец и сын», посвященный годам становления Советской власти в Сибири. Этот роман молодой читатель России назвал среди десяти любимых книг.

Георгий Марков был участником разгрома квантунской армии. Об этом мне рассказывал поэт Николай Савостин, бескорыстнейшая душа, во многом напоминающая поэта из книги «Встреча с чудом» сибиряка Ильи Лаврова, которого Марков печатал еще деткором. В этой лавровской повести, как видно из авторской ссылки, использованы савостинские стихи.

— А Коля Савостин не рассказывал вам, как он спас всю нашу военную редакцию? — спрашивает меня Георгий Мокеевич.

Ночью наборщик Савостин стоял с карабином на посту. Вся редакция спала, в палатках только движок работал. Вокруг песчаные барханы. Чахлые кустики. Налетел буран. Дождь. Песок бил в глаза. При вспышке молнии Савостин заметил в кустарничке тени. Это были самураи–смертники. Видно, решили вырезать редакцию. Им терять нечего. Николай выстрелил, поднял тревогу. Загремели наши гранаты. Враги не прошли.

После войны Георгий Марков написал повесть «Солдат пехоты». Некоторые критики обрушились на нее. За повесть вступилась Лидия Сейфуллина, верившая в большую литературную судьбу своего земляка. Книгу эту писатель потом назвал «Орлы над Хинганом».

Творчество Георгия Маркова тесно связано с творчеством других известных писателей–сибиряков. К этому надо добавить, что Марков, как в свое время Фадеев, является одним из организаторов современного литературного процесса. Именно Александр Фадеев в свое время настоял, чтобы Георгий Марков был переведен в Москву.

В первой книге нового романа «Сибирь» Марков увлеченно раскрывает характеры людей родного, сказочно богатого края, который безнаказанно грабили царские хищники. Книга захватывает читателя с первых страниц. Автор колоритно рисует свадьбу сына местного богатея, прерванную известием о бегстве из Нарыма «наиважнейшего государственного преступника». Психологически точно нарисована сцена встречи в тайге бежавшего большевика Ивана Акимова с новой снохой богатея Криворукова — Полей, которая не выдала революционера–ученого.

Роман, написанный о революционной истории Сибири и о ее несметных богатствах, устремлен в грядущее. О будущей

разработке сибирских сокровищ думает Иван Акимов, прячась в таежной сторожке. Его дядя, знаменитый профессор Лихачев, эмигрировавший в Швецию, многие годы посвятил исследованию неиспользованных возможностей матушки-Спбири. И теперь его надо оградить от чужеземных и российских авантюристов, которые слетелись в Стокгольм к Лихачеву, как мухи на мед.

Тюк важных бумаг профессора Лихачева, хранящихся у одного из его сибирских проводников, стремится спасти большевичка Катя Ксенофонтова. «Ах, Сашуля, знал бы ты, какое сильное впечатление на меня произвела Сибирь! Все здесь обширное, могучее, крепкое и какое–то по–настоящему величественное», — пишет она брату.

Борьба за бесценное научное наследство профессора Лихачева, в которой большевики принимают самое активное участие, борьба за ключ к богатейшим недрам Сибири — главный сюжетный узел романа, который автору предстоит еще развязать в новых частях.

Действие этой увлекательной книги разворачивается на фоне самобытной сибирской природы, которую Георгий Марков знает и умеет ярко рисовать. Роман густо населен самыми разными людьми.

Большой вклад в создание коллективной эпопеи о Сибири внес и Сергей Сартаков. Недаром Григорий Ершов назвал свою книгу о нем «Певец Сибири».

Родился будущий писатель в Омске в семье железнодорожника. Отец болел чахоткой, и врачи посоветовали переехать из пыльного города в тайгу. Здесь была совсем иная жизнь. В одиннадцать лет Сережа, как он сам потом вспоминал, «научился охотиться, ловить рыбу, добывать кедровый орех, стрелять белку, делать сани, гнать деготь, смолу и вообще заниматься всякими прикладными лесными промыслами».

Возмужав, сибирский парень стал плотником, а затем и столяром–краснодеревщиком. А по вечерам успевал еще и учиться: одолел программу средней школы, затем закончил счетно–финансовые курсы. Стал бухгалтером, потом пограничником.

Этот человек, отлично знающий бухгалтерское дело и молчаливо щелкающий на костяшках счетов, был в душе романтиком. Он рвался в неизведанное: только случайность помешала вчерашнему пограничнику отплыть на ледоколе «Челюскин» в рискованный рейс. Тогда бы среди членов его экипажа был не только поэт Илья Сельвинский, но и прозаик Сергей Сартаков. И читатели наверняка бы получили не только замысловатую арктическую поэму, но и увлекательнейшую,

романтическую прозу.

Свою страсть к странствиям, к неизведанному Сергей Венедиктович отдал матросу–речнику Косте Барбину, герою повестей «Горный ветер» и «Не отдавай королеву». Помните оригинальный зачин повести?

«Эту книгу я взялся писать не потому что писатель… В хороших книгах главный герой непременно откуда–нибудь приезжает и, как новая метла, сразу начинает чисто мести. В этой книге главный герой я, но я ниоткуда не приехал. Все девятнадцать лет своей жизни прожил на одном месте, если не считать, что все эти девятнадцать лет, каждую навигацию я плаваю по реке. И мести мне, кроме палубы, пока ничего не приходится. А книгу написать хочется…»

Мы верим в реальность матроса Кости. Его жизненная позиция удивительно совпадает с позицией автора. Писатель устами героя выкладывает свое кредо, не нарушая художественности образа. Это счастливая находка Сергея Сартакова, любящего своего героя и знающего то, о чем еще не догадывается сибирский паренек.

Непосредственному, обаятельному Косте Барбину, человеку честному, но доверчивому и неопытному, писатель противопоставляет продувного Илью Шахворостова. Г. Ершов верно подмечает: не так–то легко раскусить этого «рубаху–парня», создавшего себе лжеромантический ореол.

Много испытаний выпало на долю Кости и в труде, и в дружбе, и в любви. Но его чистая, по–настоящему романтическая натура берет верх над всякой житейской пошлостью. В Барбине зреет настоящий патриот, влюбленный в свой суровый и прекрасный край. Послушайте только его горячую исповедь:

«Посмотрите на карту. Какая еще река как раз поперек от края и до края всю страну пересекает?

Кривулин Енисей не дает, врубается прямо в горы, в скалы, режет в тундрах вечную мерзлоту. Большой порог, Казачинский порог, Осиновский — бей через камни напрямую. Смелые никогда не отступают и не сворачивают. Ближе к низовьям что твое море — берегов не видать. В какую еще реку на тысячу с лишним километров от устья океанские корабли заходят? А утесы какие? Нет на Енисее двух утесов, друг на друга похожих…»

Чтобы написать эти несколько поэтичных строк, Сергей Сартаков должен был работать долгие годы сначала ревизором, а потом главным бухгалтером треста «Севполярлес», странствовать по низовьям Енисея и Ангары. В этих–то бесконечных странствиях–командировках Сергей Венедиктович и постиг красоту сибирских рек и людей, живущих и работающих на их

берегах. Здесь он повстречал новых матросов, удивительно похожих на его любимца Костю Барбина.

А до «Барбинских повестей», за которые писателю была присуждена Государственная премия, он написал рассказы, детскую приключенческую повесть «По Чуйским порогам», книгу «Каменный фундамент», восемнадцать лет работал над эпопеей «Хребты Саянские». Эти произведения подробно и доказательно анализирует в своей книге Григорий Ершов.

«Да, сибиряки — народ добротный, первосортный материал для писателя–краснодеревца!» — замечает автор монографии и тут же делает еще одно меткое наблюдение: «Тендряков, например, принадлежит к той группе писателей, которые любят заглянуть в темные тайники души человеческой, «поискать там черта». Сартаков изображает обыкновенных, простых людей. Ему не чужды ни драматические, ни трагические ситуации, которые он встречает в жизни, но, задумывая новую книгу, он чаще всего видит перед собой веселую, здоровую, светлую сторону бытия».

Могу добавить: видит не только в своих книгах, но и в книгах товарищей по перу. В новелле о Михаиле Годенко я привожу письмо Сергея Венедиктовича, где дан его глубокий анализ лирического романа «Зазимок» и ценный дружеский совет. Вспоминается телефонный разговор с Сергеем Сартаковым, по поводу моей повести «Марс над Козачьим Бором».

— Зачем вы сделали Прова Ястребова «снохачом»? — спросил тогда Сергей Венедиктович. — Такое романтическое начало и вдруг этот натурализм. Подумайте. Может быть, Пров не отец, а старший брат Семена? Тогда и любовь их к Поле будет естественнее. Подумайте.

Я не согласился, спорил, а потом понял: Сергей Венедиктович дал очень дельный совет. До читателя повесть дошла в новом варианте.

Сергей Сартаков в своих книгах всегда верен правде жизни. Немало драматических страниц и в его новом большом романе «Философский камень», но в целом–то вещь светлая, как и масштабный новый роман Георгия Маркова с кратким и емким заголовком — «Сибирь».

Читаю раздумчивые сартаковские строки: «…Где же такая книга, которая заворожила бы читателя показом героики труда, борьбой человеческих страстей, красотой сибирской природы?». И тут же хочется ответить: такая книга есть. Ее написали Ефим Пермитин п Савва Кожевников, Николай Задорнов и Константин Седых, Георгий Марков и вы, Сергей Сартаков. Ее пишут умудренный Афанасий Коптелов и мужающий Анатолий Иванов.

Недавно на писательском пленуме, посвященном творчеству

молодых, известный сибирский очеркист Леонид Иванов вспомнил, как на одном из семинаров был «открыт» его младший однофамилец. Дарование Анатолия Иванова зреет на глазах. За двенадцать лет он написал лирические «Алкины песни», эпические «Повитель», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов». Особенно обнадеживает то, что в небольшой повести «Жизнь на грешной земле» писатель сделал удачную попытку объединить лирическое и эпическое начала. Быть может, это магистральный путь не только Анатолия Иванова, но и многих современных прозаиков.

А щедрая сибирская земля родит новые и новые имена..

ГУМАННОСТЬ

Многим запомнился поэтичный рассказ Виталия Закруткина «Подсолнух», напечатанный в «Правде» почти пятнадцать лет назад. Это было философское произведение зрелого мастера, тонко чувствующего пленительную поэзию жизни. Сколько раз мы проходили мимо маленького солнышка, растущего на земле! Проходили и почти не замечали. Но прошел мимо него художник и создал поэму в прозе, полную раздумий о смыле человеческого бытия, о бессмертной красоте, которая сильнее утрат, о гуманности трудового народа. Канадский критик Дайсон Картер отметил взаимосвязь между рассказом Михаила Шолохова «Судьба человека», повестью Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» и рассказом Виталия Закруткина «Подсолнух».

А так ли легко дались Виталию Закруткину его литературное мастерство и знание жизни? Много прекрасных людей встречал он на своем многолетнем пути, но, пожалуй, ни один не сыграл в его жизни такой большой роли, как лобастый удивительный человек, живущий на берегу тихого Дона. Это ему принадлежат слова, сказанные о младшем друге:

— Виталий Закруткин — талантливый писатель, замечательный парень, человек нелегкой жизни, человек крепкий и живет в нашей литературе по–настоящему.

Да, это он, Михаил Шолохов, научил Виталия Закруткина жить в нашей литературе по–настоящему. Именно его влиянием объясняется та метаморфоза, которая произошла с блестящим доцентом–филологом Ростовского пединститута Виталием Александровичем Закруткиным, надевшим солдатскую гимнастерку и переехавшим после войны в донскую станицу.

А как же быть с годами, отданными науке? Неужели они пропали даром? Опыт, полученный при анализе книг русских классиков, очевидно, помогает Виталию Закруткину и сегодня в

его творчестве. Я уже не говорю о такой книге, как «Цвет лазоревый (страницы о Михаиле Шолохове)». А кто сказал, что настоящий писатель не должен глубоко разбираться в творчестве своего товарища по перу?

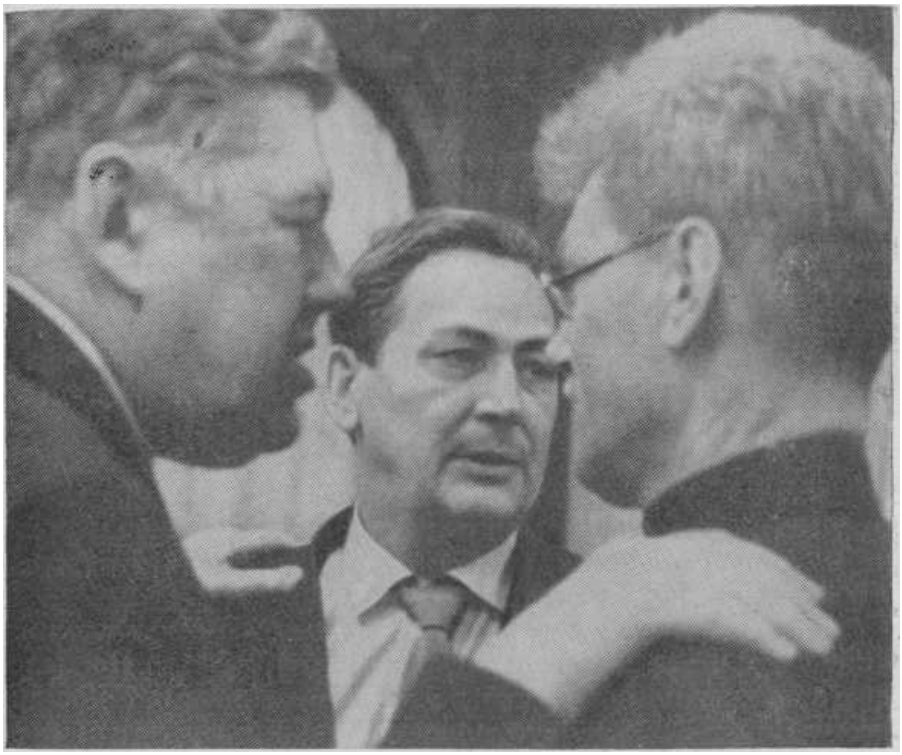
В истории русской и мировой литературы есть много примеров тому. Достаточно вспомнить, что одним из первых в печати сказал доброе слово о мало кому известном Стендале Бальзак. И сам Стендаль был блестящим критиком и, как бы мы теперь сказали, искусствоведом. И Анатоль Франс, и Ромен Роллан начинали как критики и исследователи.

Первая повесть Виталия Закруткина о старом ученом, принявшем революцию, вышла еще до войны. Она называлась «Академик Плющов». Надо сказать, что молодой автор в изображении человека науки шел не от литературной схемы, а от жизни, от встреч с замечательными русскими учеными. Это была первая проба пера.

Сегодня, пожалуй, не только читатели, но и сам автор редко вспоминает об этой повести. А вот о второй своей вещи — романе «У моря Азовского» Виталий Александрович говорил со мной горячо, взволнованно. В Ростове шел выездной пленум правления Союза писателей Российской Федерации. Закруткин рассказывал мне, какой большой архивный материал ему пришлось поднять, скольких свидетелей красного десанта под Таганрогом довелось опросить, чтоб написать роман о замечательном подвиге героев гражданской войны. Теперь, когда я шесть лет труда отдал роману–хронике «Мы были счастливы», я лучше понимаю Виталия Александровича.

Свой роман о гражданской войне Закруткин писал всю Отечественную и, безусловно, вложил в него свой собственный военный опыт. Вслед за исследователем–историком рождался исследователь–писатель. И кто знает? Быть может, именно на фронте, живя бок о бок с солдатами–окопниками, деля с ними тяготы и радости, Виталий Закруткин решил после войны перебраться из Ростова в донскую станицу, поближе к простым труженикам.

Я впервые увидел Виталия Александровича в Киеве, после войны. Закруткин любит Украину, где прошли его детство и ранняя юность. На киностудии имени Довженко был поставлен фильм по его сценарию «Без вести пропавший». Я видел этот фильм с романтическим сюжетом. В нем чувствуется будущий автор «Подсолнуха», потом экранизированного на «Мосфильме», и «Матери человеческой», которая, по–моему, рождена для большого экрана.



Л. Соболев, С. Воронин и В. Закруткин

Но до этих книг Закруткина были еще «Кавказские записки», был роман «Плавучая станица» и эпопея «Сотворение мира», на мой взгляд, одна из самых автобиографических вещей писателя. Но в фундаментальное произведение вложен не только личный жизненный опыт, литературный талант, а и незаурядная эрудиция историка–исследователя.

«Плавучая станица» Закруткина — необычайно свежая,, сильная вещь… Читается хорошо. Жизнь рыбаков — тема, почти не тронутая нашими романистами, — дана Закруткиным поэтически, люди написаны рукою твердой и точной, великолепен пейзаж…» — писал в журнал «Знамя» своим коллегам по редколлегии Петр Павленко.

Горячо принял книгу и большой читатель. Ее обсуждали рыбаки, работники рыбной промышленности, ученые.

Писатель звал на борьбу с массовым браконьерством, с неразумным, хищническим отношением к природе.

В юности Закруткин писал стихи. Поводом к этому лирическому взрыву была случайно найденная книжка стихов, оставленная кем–то в избе–читальне, которой заведовал юный Виталий. Сергей Есенин! Он буквально потряс

шестнадцатилетнего избача. Как просто, размашисто и сильно написано! И о чем? О селе, о самом понятном и близком…

Теперь Виталий Закруткин стихов не пишет. Но лиризм, присущий его первым робким опытам, явственно ощутим и в сегодняшней его прозе, в зрелых раздумьях о судьбах своего поколения.

В гостинице «Москва» мне вместе с Александром Бахаревым, руководителем ростовского отделения Союза писателей, довелось слышать речь Виталия Александровича, которую он собирался произнести на писательском пленуме, посвященном творчеству молодых.

— У нас любят говорить с молодыми об амфибрахиях, анапестах и так далее. Все это, конечно, нужно. Но молодые должны помнить, что великий русский поэт прежде всего гордился тем, что чувства добрые он лирой пробуждал.

Главной книгой Виталия Закруткина является роман «Сотворение мира». В центре этого многотомного произведения — судьба семьи сельских интеллигентов Ставровых, становление нового мира в захолустной деревушке Огнищанке, которая напоминает степную Екатериновку, где был избачом юный Закруткин. Замысел автора широк. Одной Огнищанки ему мало. Желая глубже понять эпоху, ен рисует образы Ленина, его соратников, строителей молодого Советского государства и их лютых врагов. Летят годы. Мужает главный герой романа Андрей Ставров, которому суждено пройти через многие испытания, в том числе через бурное море коллективизации и огненную купель Отечественной войны.

Жизнь Виталия Александровича, полная драматических, порой трагических коллизий, дала волнующий материал для его произведений. Человек большого мужества, он запомнил слова, сказанные ему маршалом Жуковым в Берлине в ту победную весну:

— Вручаю вам этот нелитературный орден, чтобы вы и в литературе вели себя так, как в батальоне! — И прикрепил к груди писателя й воина орден Боевого Красного Знамени.

Теперь можно сказать, что Виталий Закруткин исполнил наказ прославленного маршала.

О романах Закруткина много писали. И здесь мне хочется подробнее остановиться на небольшой повести писателя, которая всколыхнула читателей не менее его эпопеи. Старший редактор издательства «Молодая гвардия» Ирина Гнездилова рассказала мне историю рождения этой повести с выразительным названием «Матерь человеческая».

Когда я читал эту вещь еще в журнале «Огонек», мне

невольно вспомнился один из ранних рассказов Виталия Закруткина — «О живом и мертвом». Такое же название было и у книжки, изданной в освобожденном Ростове в годы войны. В этом выхваченном из суровой прифронтовой жизни полурассказе–полуочерке говорилось о судьбе молодой женщины Марьи, что осталась одна на спаленном хуторе и собиралась стать матерью…

Интересно сравнить ранний рассказ и зрелую повесть Виталия Закруткина. Безусловно, рассказ «О живом и мертвом» послужил отправным толчком для этой вещи. Но насколько все философски углублено, осмыслено, заострено! Марья стала Марией. Этим подчеркивается не бытовое, а общечеловеческое звучание имени главной героини.

Убраны лишние герои, в том числе и старик, говоривший в финале рассказа Марье: «Правильный ты человек… Страшно жить среди мертвых. А ты все пересилила… Все будет, как было, потому что смертью покорить человека нельзя, потому что живое сильнее мертвого…»

Эта глубокая, но выраженная в раннем рассказе несколько риторически мысль, теперь ушла в подтекст, ею как бы пронизана вся необычная, волнующая повесть.

Как же она возникла? Вернемся к рассказу Ирины Гнездиловой. Редактор она опытный. На последних страницах многих известных книг стоит ее имя. Так вот. У «молодогвардейцев» возникла идея «вдохновить» Виталия Закруткина на небольшую повесть, которая бы воевала за человечность, за мир на земле. Оказалось, что планы автора совпадают с пожеланиями работников издательства.

Пришел срок, и Закруткин прислал в издательство, как говорится, еще горячую рукопись. Она всех сразу покорила своей гуманностью и лиризмом. Но у Ирины Гнездиловой были и вопросы к автору. Договорились: редактировать рукопись она выезжает в станицу Кочетовскую.

Приветливый писатель тепло принял редактора — «молодогвардейца», перезнакомил со своими многочисленными друзьями–рыбаками, трактористами, райкомщиками.

Надо знать девиз Виталия Александровича:

— Хорошая школа, новая дорога, дом для престарелых не меньше значит, чем собственное произведение!

С раннего утра в гостеприимном доме Закруткина решались многие насущные проблемы станицы и всего района. Приезжий редактор терпеливо ждал своей очереди:

— Виталий Александрович, дорогой, а когда же мы, будсм работать?..

Закруткин смущенно улыбнулся:

— Гуляйте, Ирина… Ждите. Я уже обдумываю ваши замечания.

Но пришло время, и терпеливый редактор вскипел:

— Виталий Александрович, когда же вы сядете за рабочий стол? Ведь у вас с утра до вечера люди, люди, .люди… Это, конечно, прекрасно, что вы такой отзывчивый. Но поймите: вы не выполняете главной своей обязанности, которой никто, кроме вас, выполнить не может…

Закруткин виновато кивнул.

Слушая рассказ Ирины Гнездиловой, я подумал: связь с жизнью, выполнение гражданских обязанностей дело в высшей степени благородное и необходимое для писателя. Но только он никогда не должен забывать о выполнении и «своей главной обязанности, которой никто, кроме него, выполнить не может». Скольких замечательных книг мы недосчитались именно потому, что была забыта эта мудрая заповедь! И почему иной раз писатели как бы стыдятся своего главного труда? Разве он нужен только им?

Ирине Гнездиловой удалось усадить Виталия Александровича за рабочий стол. И вот передо мной вставки, написанные четким почерком Закруткина. К страницам 75, 86, 106, 123… Замечания редактора послужили толчком для последних штрихов писателя. Меткие бытовые и психологические детали. Нет, не только они. Дописал автор и финал повести, как бы замкнув ее в кольцо образом мертвой мадонны в каменной нише.

В антитезе: матерь божья с кукольными глазами и матерь человеческая, живая, исстрадавшаяся, щедрая — глубокий революционный гуманизм. Как гимн трудовым матерям звучит концовка повести, в которой явственно различим горячий голос писателя–патриота:

«Так будет. И, может, тогда не выдуманной художниками мадонне воздвигнут благодарные люди самый прекрасный, самый величественный монумент, а ей, женщине–труженице земли. Соберут белые, черные и желтые люди–братья все золото мира, все драгоценные камни, все дары морей, океанов и недр земных, и, сотворенный гением новых неведомых творцов, засияет над землей образ Матери Человеческой, нашей нетленной веры, нашей надежды, вечной нашей любви…»

Читателям полюбилась эта небольшая, но очень емкая повесть. Автор ее удостоен Государственной премии имени Максима Горького, а на всесоюзном конкурсе, организованном ЦК ВЛКСМ, Виталию Закруткину была вручена медаль с изображением Александра Фадеева. Поблагодарив жюри за высокую честь, Виталий Александрович задумчиво сказал:

— Помню: в войну мы бродили с Фадеевым по освобожденному Ростову, который он так любил. Никогда не думал, что меня наградят медалью с его изображением…

А я подумал, что и Александр Фадеев написал свою «Молодую гвардию» по заказу комсомола и велению сердца.

Не могу не сказать и о книге, которая вышла на несколько лет раньше, чем «Матерь человеческая». Это «Цвет лазоревый (страницы о Михаиле Шолохове)». Автор подробно рассказывает о своем знакомстве с Михаилом Александровичем и о его творчестве.

Яркими мазками в книге нарисована встреча автора, тогда молодого ученого, с одним из основоположников советской литературы Александром Серафимовичем, приветствовавшим первые шаги Шолохова. Старый писатель с тревогой и болью говорил о некоторых завистливых, мелочных людишках, травивших Шолохова в самом начале его пути:

— Вот подлецы, какую творческую обстановку создавали замечательному писателю, только–только вышедшему на литературную дорогу! Теперь уже Шолохов недосягаем для этой бездарной и подлой наволочи. Он заслуженно стал всенародным писателем. Пусть теперь попробуют, сунутся — народ им зубы обломает…

Запоминаются слова маститого мастера о том, что у «молодого орелика» Шолохова «люди не нарисованные, не выписанные, — это не на бумаге. А вывалились живой сверкающей толпой, и у каждого — свой нос, свои морщины, свои глаза с лучиками в углах, свой говор. У каждого свой смех, каждый по–своему ненавидит. И любовь сверкает, искрится…»

С письмом Александра Серафимовича попал молодой ученый, «революционно–архивный юноша», как насмешливо–ласково его называл старый писатель, в шолоховский дом, к «художнику божьей милостью», говоря словами того же Серафимовича. Молодой Закруткин еще не представлял, какую огромную роль сыграет в его судьбе эта встреча.

Автор подробно рассказывает о мужестве Шолохова, писателя и гражданина, в тридцатые годы. Не раз автору «Тихого Дона» приходилось откладывать еще не остывшую рукопись, чтобы на долгое время броситься в коловерть жизни. Так было в бурные дни коллективизации, в середине тридцатых годов и в первые же тревожные дни Отечественной войны…

Автор сравнивает творения Шолохова с пахучей травой–чабрецом, неувядаемым степным бессмертником, неумирающим весенним цветком лазоревым.

Тридцать восемь лет знает Виталий Закруткин певца тихого

Дона и поднятой целины, тридцать восемь лет учится у него гражданскому мужеству и литературному мастерству. В своей неизменной гимнастерке Виталий Александрович присутствовал на пресс–конференции, посвященной награждению Михаила Шолохова Нобелевской премией.

— Пускай ваш друг ответит, — обратился к Шолохову рыжеватый иностранный корреспондент, — почему он до сих пор ходит в униформе. Ведь война давно кончилась.

Закруткин неторопливо встал:

— Я не сниму своей гимнастерки до тех пор, пока льется кровь во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. А умру — пусть меня похоронят в этой гимнастерке. — Автор «Сотворения мира» и «Матери человеческой» помедлил. — Но если на мою Россию вздумают напасть кровожадные безумцы — я встану в этой гимнастерке из гроба. Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет!

УМЕЛЕЦ

Сергей Михалков постучался в наше детство звонкими, веселыми стихами. Помню, как всеобщий любимец артист Игорь Ильинский выразительно, вернее, заразительно читал по радио стихотворение «Мы с приятелем», посвященное автором, оказывается, ему — Ильинскому.

Мы с приятелем вдвоем
Замечательно живем!
Мы такие с ним друзья —
Куда он,
Туда и я!
…И живут в квартире с нами
Два ужа
И два ежа,
Целый день поют над нами
Два приятеля — чижа.

Сколько в этих строках детской непосредственности, пенящегося озорства! Он сумел передать незамысловатый, простецкий довоенный быт, чувство коллективизма, которое лучилось, несмотря на всякие большие и малые неурядицы, формировало впечатлительные детские души.

И про наших
Двух ужей,
Двух ежей
И двух чижей
Знают в нашем новом доме
Все двенадцать этажей.

Ведь если вдуматься, то главное в этом стихотворении не забавные приключения двух ужей, двух ежей и двух чижей, а сама атмосфера раскрытых дверей, распахнутости, в которой купаются детские души. Эти ребята, которые дружно играли, когда подросли, защищали свой дом и свою страну от нацистов. Любить и защищать Родину их учили юный Тимур и неунывающий дядя Степа в форме военного моряка…

По пути из школы мы с приятелями любили заглядывать в райкультмаг, где в новом патефоне частенько крутилась знакомая пластинка. Два известных актера дуэтом читали насмешливые михалковские стихи про упрямого Фому. Не помню уже сколько раз мы их слушали. Вскоре я их знал наизусть.

В одном переулке
Стояли дома.
В одном из домов
Жил упрямый Фома.
Ни дома, ни в школе,
Нигде, никому
Не верил Упрямый Фома
Ничему.

Александр Фадеев, который журил молодого поэта за «неряшливые, недоделанные строчки, трафаретные выражения» в отдельных ранних стихотворениях, очень тепло отозвался о «Фоме»: «В этом стихотворении нет ничего назойливого, но это — воспитание очень хороших революционных черт в ребенке, это — борьба со скептицизмом, с маловерием».

Сергею Михалкову, уверенно опиравшемуся на традиции Маяковского, пожалуй, больше, чем другим детским поэтам того времени, удалось передать новые черты окружавшего детей мира,

его советскостъ, естественно, ненавязчиво воспитывать в них патриотизм.

В 14 лет Сергей уехал из Пятигорска в Москву учиться. Остановился у тети, у которой было своих пятеро сыновей. Спали вповалку на полу. Двоюродные братья у Сергея были любознательные, способные. Спорили о литературе, искусстве, науке. Будущий поэт был деятельным участником этих споров.

Интересна судьба этих братьев. Один пз них погиб на фронте, другой стал профессором–искусствоведом, третий — изобретателем, четвертый — художником, пятый — актером. Это Петр Глебов, сыгравший роль Григория Мелехова в кинофильме «Тихий Дон». Родному же брату Сергея Владимировича — Михаилу суждено было стать разведчиком и поэтом.

Студенты Литературного института имени Горького запомнили Сергея Михалкова, приходившего на лекции в длинной старой шинели. Он учился вместе с Александром Коваленковым, Сергеем Васильевым, Константином Симоновым, Сергеем Островым.

Когда умер отец, Сергей Михалков вызвал в Москву всю семью. Жили в старом доме на Башиловке. Рабочим кабинетом юного поэта был чердак. Работал он упорно, ненасытно…

Тоненькая книга Михалкова «Первые стихи», изданная в библиотеке «Огонька», сразу же обратила на себя внимание.

Вокруг же поэмы–сказки «Дядя Степа» возник ожесточенный литературный спор. Один критик, пользуясь фельетонными приемами, устроил разнос этой оригинальной патриотической вещи. За поэму вступился Александр Фадеев. Он напечатал в «Правде» рецензию, в которой отметил большое гражданское звучание этого самобытного произведения.

Однажды вечером в квартиру Михалковых постучался наборщик из типографии «Правда».

— Сергей Владимирович? — недоверчиво разглядывал он молодого поэта.

— Я…

— Тебе орден!..

— Ордер? — переспросила мать.

— Орден, говорю! — повторил наборщик. — Своими руками набирал. Орден Ленина. За стихи, значит. Читайте завтра «Правду»!..

Смущенный и обрадованный Сергей Михалков написал стихотворное послание председателю Моссовета о том, что «нет у бедного поэта для работы кабинета», и «кабинетный вопрос» был разрешен.

Ветеран детской литературы Корней Чуковский говорил:

— У советских детей появился новый поэт, самобытный и смелый. Стих у Михалкова, то задушевный, то озорной, то насмешливый, неотразимо певуч и лиричен, и в этом его главная сила.

Доброжелательно отзывались о лучших стихах Михалкова Максим Горький и Ромен Роллан, Клим Ворошилов и Аркадий Гайдар.

Некоторые стихотворения поэта вызывали литературные споры. Так, Вера Инбер в журнале «Детская литература» подвергла критике его стихи «Одна рифма», обвинила Михалкова в декларативности. Это стихотворение взял под защиту Лев Кассиль в своей брошюре «Сергей Михалков» (Детгиз, 1954). А Г. Ершов и В. Тельпугов, горячо поддерживавшие все лучшее в стихах Михалкова, в данном случае стали на сторону В. Инбер. Интересную монографию написали они о Сергее Михалкове. Строгая объективность — вот отличительная черта их работы. Этим их книга выгодно выделяется из целого ряда монографий, безудержно курящих фимиам писателям, творчество которых в них исследуется. Поэтому–то она не устарела до сего дня. Ее авторы очень верно уловили главные тенденции в творчестве Сергея Михалкова.

Как же возникла эта интересная книга? В одном из кабинетов ЦК ВЛКСМ, Цекамола, как зовут его комсомольские работники, стояло два стола. За одним из них сидел зав. сектором пионерской печати Гриша Ершов, за другим — зав. сектором комсомольской печати Витя Тельпугов. Вот здесь–то и возник замысел книги о веселом помощнике нашей пионерии и комсомолии. И надо прямо сказать: написана она с комсомольским огоньком.

Михалков учит ребят не только наблюдать, размышлять, но и смело вторгаться в широкий, распахнутый мир, почувствовать себя его хозяином.

Авторы монографии исследуют причины удач Михалкова, подарившего маленьким читателям цветы настоящей поэзии. Сколько непосредственности и фантазии в стихотворении «Если», предназначенном малышам!

Если взять все эти тучи
И соединить в одну
И потом на эту тучу
Влезть,
Измерить ширину,
То получится ответ,

Что краев у тучи нет,
Что в Москве из тучи — дождик,
А в Чите из тучи — снег.

Как бы играя с ребятами, поэт дает им почувствовать просторы нашей Родины. И все это написано увлекательно, емко и четко. А вот в стихотворении «Светлана» возникает фигура часового на далекой заставе.

Он стоит,
Над ним зарницы,
Он глядит на облака:
Над его ружьем границу
Переходят облака.
На зверей они похожи,
Только их нельзя поймать»
Спи. Тебя не потревожат.
Ты спокойно можешь спать.

Это обращение к маленькой героине стихотворения — Светлане полно непосредственности ив то же время многозначительности. Она должна знать, кто бережет безмятежный покой ее детства. А может, этот суровый человек в шинели ее отец? Не забывай, Светлана, чем ты ему обязана!..

Михалковский «Веселый турист» родствен замечательной песне Василия Лебедева–Кумача «Широка страна моя родная» и его же «Веселому ветру».

Он слышал и зверя и птицу,
В колючие лазил кусты.
Он трогал руками пшеницу,
Чудесные нюхал цветы.
И тучи над ним вместо крыши,
А вместо будильника гром.
И все, что он видел и слышал,
В тетрадку записывал он.
А чтобы еще интересней
И легче казалось идти,
Он пел, и веселая песня

Ему помогала в пути…

Но, пожалуй, самой большой удачей Сергея Михалкова была его поэма–сказка «Дядя Степа». Да сказка ли это, если в ней полно живых, современных деталей?

Ведь недаром же мы в то время пели: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» Дядя Степа — и живой человек и поэтическая гипербола. Преувеличение только подчеркивает его замечательные реальные качества. Вот как сказал о Степане Степанове Владимир Луговской: «Отважный и добродушный, как и все большие люди, он проходит по нашим улицам…»

Все любили дядю Степу,
Уважали дядю Степу:
Был он самым лучшим другом
Всех ребят со всех дворов.
Он домой спешит с Арбата.
— Как живешь? — кричат ребята.
Он чихнет — ребята хором:
— Дядя Степа, будь здоров!

Много добрых и героических дел совершил Степан Степанов, ставший любимцем юных читателей. И не удивительно, что в конце концов автор изобразил его в форме военного моряка.

Кто, товарищи, знаком
С этим видным моряком?
Он идет,
Скрипят снежинки
У него под каблуком.
В складку форменные брюки.
Он в шинели под ремнем.
В шерстяных перчатках руки,
Якоря блестят на нем.

Дядя Степа обещал обрадованной детворе рассказать еще «сто историй». Почти через двадцать лет Михалков выполнил это

обещание. К этому времени он сделал любимого героя… милиционером. Некоторые читатели, не столько маленькие, как большие, были удивлены. Чего греха таить? У нас есть еще отдельные дяди и тети с обывательской душонкой, которые пугают детишек милиционером, как в старину букой. А между тем это нужная и благородная профессия.

Он шагает по району
От двора и до двора.
И опять на нем погоны,
С пистолетом кобура.
Он с кокардой на фуражке.
Он в шинели под ремнем.
Герб страны блестит на пряжке —
Отразилось солнце в нем!

Прошли годы. И юные читатели, и наша общественность приняли продолжение «Дяди Степы», и теперь обе части зажили одной жизнью. Автор этой патриотической поэмы–сказки удостоен звания лауреата Ленинской премии.

Талант Михалкова многогранен. Он создает и детские стихи, и самобытные басни, которые ему посоветовал писать Алексей Толстой, и сценарии, и пьесы. В автобиографии он рассказывает, как его отец привил ему с юных лет любовь к сказкам Пушкина, басням Крылова, стихам Лермонтова и Некрасова. Отец познакомил будущего поэта и с замечательными стихами Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Демьяна Бедного. Русский ученый Владимир Александрович Михалков был неутомимым тружеником и свое трудолюбие и любовь к Родине завещал сыну.

Вот нынешнее кредо умельца советской литературы Сергея Михалкова: «Воспитанный советской страной и Советской властью, я стараюсь писать такие произведения, чтобы они воспитывали моего читателя и зрителя в духе Советской страны и Советской власти. Я знаю, что книги, будь они написаны для детей или взрослых, должны быть близки, понятны народу».

СТОЙКОСТЬ

Недавно мне довелось видеть захватывающие кадры фронтовой кинохроники. Горстка наших солдат, защищая

безымянную высоту, вспаханную снарядами, не дрогнула под нарастающим огнем. Кинооператор почти в упор снимал атакующих гитлеровцев и выстоявших защитников высоты. И невольно рождалось чувство преклонения перед отвагой советских людей в боевых гимнастерках и перед храбрым человеком с кинокамерой в руках. Нет, этот оператор не был бесстрастным наблюдателем. Он верил в нашу победу, и его кинокамера передала эту веру.

Подобное же чувство я испытал, читая книгу Всеволода Кочетова, посвященную несгибаемым защитникам Ленинграда. Беспощадная правда — вот одно из главных достоинств его повестей, рассказов, очерков. Все, о чем в них говорится, не только увидено воочию, но и прошло сквозь сердце будущего писателя, тогда фронтового журналиста.

Правда правде рознь. Можно, запутавшись в нагромождении натуралистических подробностей, искренне уверять: «Это же правда!» А можно за внешней сдержанностью увидеть золотые души людей ратного подвига, людей труда. Настоящая правда крылата.

И ленинградцы–ополченцы дивизии полковника Лукомцева, вчерашние рабочие, инженеры, геологи, люди других сугубо мирных профессий (повесть «На невских равнинах»), и скромные, неприметные работники, которые в прифронтовой полосе думают о том, чем прокормить ленинградских рабочих, как бы собрать побольше столь драгоценного тогда картофеля (повесть «Предместье»), и герои рассказов и очерков — все это живые люди. Непоказной патриотизм вошел в их плоть и кровь. Такие люди не могли не выстоять.

Фронт и тыл в книге настолько неразрывны, как это могло быть в осажденном Ленинграде, где порой нельзя было четко провести границу между ними. И тыл, собственно, был фронтовым. В. Кочетову удалось правдиво передать неповторимую атмосферу ленинградской эпопеи с ее нечеловеческими трудностями и невиданным массовым героизмом. Показать, как вчерашние мирные люди обратились в обстрелянных, закаленных бойцов, защитников города Ленина и как их друзья, братья и сестры в тылу «расковали» свой красавец город от страшного «ледяного сна», как снова задымили заводы и фабрики.

Символичен образ весеннего грома орудий (рассказ «Гром в апреле»), которые били по фашистской артиллерии для того, чтобы спокойно мог заседать пленум райкома, посвященный восстановлению родных заводов. Запоминается романтическая концовка рассказа: «…Все, не сговариваясь, поднялись с мест, и в

звоне стекол, в грозовых раскатах возник «Интернационал». С особым чувством люди пели о великом громе, который в эти минуты там, за линией недалекого фронта, рвал в клочья небо над сворой пришлых псов и палачей». Это и есть революционный гуманизм.

В книге немало неожиданных встреч. Но не всем, конечно, довелось встретиться. Если жены ополченцев («На невских равнинах») ухитряются изредка навестить мужей на позициях, то жена хозяйственника Цимбала («Предместье») бесстрашно работает во вражеском тылу. А танкист Васильев (рассказ «Ночь в Белой»), искавший свою жену на фронте, нашел ее только после победы. А сколько людей потеряло своих близких в эту войну!

Романтика в произведениях Всеволода Кочетова органично сплавлена с суровым реализмом, который не боится нелегких испытаний, а порой и беспощадного дыхания близкой смерти. Но настоящий коммунист, по метким словам Дмитрия Фурманова — писателя, очень близкого Кочетову По духу, — и умирать должен агитационно. Герои «Годов фронтовых» верят в будущее, живут им и, если надо, гибнут во имя его. Будни войны суровы.

В очерке, завершающем книгу Кочетова, рассказывается о цене шестидесяти журналистских строк, написанных об ополченцах. Журналист простудился, ползая по болотам, а его репортаж был вытеснен более важным материалом. Казалось бы, бессмысленный труд? Нет! «…Когда поправлюсь, снова будет какое–нибудь срочное журналистское задание, и снова отправишься куда угодно за шестьюдесятью, за тридцатью очередными строками, и снова, может быть, они полетят в корзинку. А все–таки необыкновенно интересно ходить за ними».

На юбилейном вечере журнала «Октябрь». С. Бабаевский, В. Кочетов, С. Васильев

Не будь этих шестидесяти, тридцати строк, возможно, не было бы потом и ранних повестей и зрелых романов.

Всеволод Кочетов… Романы «Журбины», «Молодость с нами», «Братья Ершовы», «Секретарь обкома» вызвали горячие споры, многочисленные отклики читателей и критиков.

Страстная партийность, наступательность, острая полемичность — не те ли самые черты были присущи Горькому, Фурманову, Макаренко, а из наших современников Овечкину и Горбатову?

Одно время некоторые наши критики любили противопоставлять историческим произведениям книги о современности. Будто бы без знания истории можно написать настоящую вещь о современности!

Не случайно такой остро–современный автор как Всеволод Кочетов выступил с революционно–историческим романом «Угол падения». Это произведение заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее, проанализировать, что нового внес известный прозаик в жанр, приобретающий в наши дни все большее и большее звучание.

Скажем прямо, и в новом романе Кочетов остался Кочетовым — с его то полемическим, остро–усмешливым, то достоверно

психологическим стилем. Со скрупулезной точностью историка рисует он картину защиты рабочего Петрограда от белогвардейских банд генерала Юденича, опираясь на документы, раскрывает решающую роль Ленина в том, что Питер не был сдан лютым врагам, мечтавшим залить его улицы рабочей кровью.

…Трудный девятнадцатый год. После отъезда Советского правительства в Москву, оставшийся в Петрограде карьерист и двурушник Зиновьев проводит свою сепаратистскую политику. Вместе с Троцким, прикрываясь крикливыми ультралевыми фразами, он готовит по существу сдачу города Юденичу. Против сдачи категорически выступает Ленин. И петроградские большевики грудью заслоняют свой город от нависшей над ним беды.

Новый роман Всеволода Кочетова, несмотря на то, что автор кое–где перенасыщает его историческими документами и деталями, остро драматичен и читается с усиливающимся интересом. Мы видим, что борьба за красный Питер стоила революционному народу немалых жертв. Враги революции беспощадны. Они зверски расправляются с теми, кто, будучи честен, переходит из их лагеря на сторону большевиков; гибнут многие герои романа.

Писатель образно показывает «угол падения» всех тех, кто посмел идти против своего народа, против Советской России. На страницах, посвященных подвигам народных героев, ощущается глубинная перекличка нового кочетовского романа с «Железным потоком» Александра Серафимовича, «Чапаевым» Дмитрия Фурманова и другими патриотическими произведениями о гражданской войне. И дело тут не в литературных стилях, а в пафосе борьбы, одухотворяющем эти романы.

Всеволод Кочетов отнюдь не повторяет то, что было сказано до него> а говорит свое, новое слово. Пожалуй, давно в нашей литературе не было такого детального, многостороннего изображения борющихся станов и тех, кто мечется, путается между двух огней. Одной субъективной честности маловато для того, чтобы полностью осознать и принять правду века. Необходима добрая идейная закалка, которую получили в свое время бойцы ленинской гвардии и которую каждому новому поколению надлежит у них перенять. В этом смысле роман писателя по–хорошему современен. Он идейно обогащает нашего читателя.

Новый роман Всеволода Кочетова убедительно говорит о том, что родники советского патриотизма поистине неиссякаемы. Орден Октябрьской революции на груди писателя глубоко

символичен.

ДЫХАНИЕ СТЕПЕЙ

Помнится, на фронте, где–то в Венгрии, мне в руки попала тоненькая поэтическая книжка Анатолия Софронова. В ней были сочные, колоритные портреты земляков поэта, лихих донских и кубанских рубак, тех, что после победы, сняв шинели, постучались в софроновские комедии и драмы…

Поразило меня одно стихотворение с бесхитростным застенчивым названием — «Подснежник».

И весь он, весь он голубой,
Необъяснимо чист и светел.
Его касается губой
Бредущий с юга пьяный ветер.
А от него невдалеке,
У входа в душную землянку,
На покосившемся пеньке
Сидит с ребенком партизанка.
Лицом уткнувшийся в платок,
Еще беспомощный, несмелый,
Он темно–розовый сосок
Губами ищет неумело…

Сколько целомудрия, жизнелюбия было в портрете этой партизанской мадонны! Полет в партизанский край, где Софронов написал свою знаменитую эпическую песню «Шумел сурово Брянский лес», ставшую своеобразным гимном народных мстителей, неожиданно затронул в сердце поэта сокровенные лирические струны.

Быть может, самое главное в его лучших стихах — песенная сила. Иногда она течет скрытно, иногда буйно пробивается наружу. Вот вишня, что оказалась сильнее войны и расцвела на пепелище, заставив тоскующую хозяйку думать о новом жилье. А вот суровый бессмертник — память о погибшем молодом казаке, бессмертник, давший название всей этой цельной песенной книге, выпущенной Воениздатом.

Как будто из меди его лепестки,
И стебель свинцового цвета…

Стоит на кургане у самой реки
Цветок, не сгибаемый ветром.

А что такое «Полынок» — стихотворение или песня? И хотя поэт не включил его в раздел песен, безусловно, это песня, еще не нашедшая своего композитора.

Для того чтобы стих стал песней, нужна его особая прозрачность, непосредственность. Без всего этого настоящей песни не получится. В софроновских стихах и песнях чувствуется южнорусский характер, характер жителя бескрайних донских степей, своеобразный пейзаж которых поэту удалось нарисовать двумя известными строками.

От Волги до Дона — казачьей реки —
Сидят на курганах орлы–степняки.

У каждого настоящего поэта есть свой заповедный родимый край со своими красками п запахами, которые непременно найдут отзвук в его стихах на самые разные темы. Анатолий Софронов, как борец за мир, много поездил по белому свету и, кажется, побывал на всех континентах, кроме Антарктиды. Из его заграничных стихов особенно трогает стихотворение «Ночь в Каире», может быть, потому, что в нем чувствуется та же скрытая песенная сила.

Передо мной клетчатый листок, исписанный старательным ученическим почерком:

«Мы, хористы Дворца культуры имени Горького, просим передать от нас и от всей советской молодежи Анатолию Софронову горячий привет… Эта песенка «Не колокольчик под дугой», опубликованная в газете «Комсомольская правда», нам очень понравилась. Ведь эта песенка о русской земле. О советском простом человеке. Трогательно и задушевно звучит…»

А рядом с этим безыскусным письмом — конверты с заграничными марками. Писательские весточки из Чехословакии, ГДР, Франции, Исландии, Индии… Там, где пролегли пути–дороги Анатолия Софронова, у него остались друзья. Но, пожалуй, с самой большой радостью писатель едет в родной зеленый город на Дону, где были написаны первые стихи, первая песня, первая пьеса…

А. Софронов и Б. Ручьев в Кремле

Ростов–город, Ростов–Дон,
Синий звездный небосклон…

Без Ростова не было бы ни пьес, ни стихов, ни несен.

На одном поэтическом вечере, сидя рядом со мной, Анатолий Владимирович вспомнил, как в юности сочинял не только стихи, но п музыку к ним. Он был добродушно, благожелательно настроеп к поэту, пытавшемуся это делать теперь. Но когда внимательно вслушался в бойкие слова и «блатной» мотив, то невольно поморщился.

Кто–то сказал, что поэзия ближе к драматургии, чем к прозе. Творческий путь Анатолия Софронова убедительно подтверждает это. Казалось, вот–вот Софронов–драматург затмит, оттеснит на второй план Софронова–иоэта. И вдруг лирик, вобрав в себя опыт драматурга, предстал в новом качестве — автором искренних, захватывающих поэм. Этот «взрыв» не случаен. Для того, кто внимательно следил за творческой судьбой Софронова, он всегда оставался поэтом.

«Поэма прощания» и «Поэма времени» внутренне близки, но не повторяют, а дополняют друг друга. Для обеих характерны раскованные, естественные, подкупающе откровенные интонации,

суровый драматизм. Б них — раздумья поэта над судьбой человека, страны, эпохи. Здесь, безусловно, сказался благотворный опыт Владимира Маяковского, без влияния которого трудно представить современную поэзию. Голос Анатолия Софронова мягкий, плавный, но в его поэмах ощущается та же гражданственность, та же неразрывная слитность личного и общественного, что медью гремит в бессмертных строфах горлана–главаря.

«Поэма прощания», тепло встреченная читателями, рассказывает о большой и трагической любви. Много самых разных препятствий встает на пути двух любящих сердец, и, наконец, непреодолимое — роковая болезнь и смерть любимой.

О господи! Что делать атеисту,
Который лоб свой
в жизни не крестил?
Где волю взять
и где набраться сил,
Чтоб не упасть,
а выстоять,
а выстоять?!

«Живая вода воспоминаний» помогает автору нарисовать обаятельный, простой образ погибшей женщины. Быть может, самое главное в ней — это отзывчивость, стремление не замыкаться в узком комнатном мирке, а идти навстречу людям с их горестями и радостями. Любовно нарисованные донские и кубанские пейзажи помогают глубже понять характер героини. Воспоминания о ней, сопровождавшие героя в чужих странах, где часто бывал лирический герой, раскрывают поэзию и чистоту характера самобытной русской женщины, всем пожертвовавшей ради своего любимого.

Нужны высоты для любви,
Иначе все погаснет.
И заземленно
не зови
Простые встречи
счастьем.

А если счастье двух сердец нельзя построить без того, чтобы не задеть другие сердца, стучащие рядом? А если жизни одному из любящих сердец отпущено совсем немного и даже современная медицина пока еще ничем не может помочь? В один драматический узел туго–натуго автор связывает две нелегкие судьбы с их любовью, метаниями, раздумьями, больно ранящими вопросами, на которые не всегда есть ответ и у поэта, и у читателя. «Поэму прощания» можно назвать оптимистической трагедией, ибо, несмотря на весь ее трагизм, она пронизана удивительным жизнелюбием. Любовь в поэме так сплавлена с современным — то светлым, то тревожным, то грозным миром, что разъять их невозможно.

И все же, как мне кажется, автор иногда слишком увлекается описаниями зарубежных полетов своего лирического героя, и это порой идет в ущерб стройности всей поэмы. Думается, что от сокращения некоторых длиннот описаний поэма только выиграет.

В «Поэме времени» учтен опыт «Поэмы прощания». Новая вещь Анатолия Софронова, не уступая предыдущей по накалу чувств и дум, производит впечатление большей стройности, слаженности, сбитости. В ней, можно сказать, спрессован весь жизненный и литературный опыт автора. С суровой лаконичностью и захлестывающей искренностью говорит он о времени и о себе.

Эпоха — слиток
горестей и бед
В прожилках радостей и ожиданий.

Сквозь всю поэму лейтмотивом проходит мысль о нерасторжимом сплетении личного с общественным. Притом мысль эта не умозрительна, она как бы обрастает от главы к главе живой, жарко дышащей плотью.

А ниточка твоя, она осталась,
Ее уже не выплесть никому.
Она ведет к началу твоему —
Туда, откуда детство начиналось.

Мать, друзья, довоенная эпоха с дорогими сердцу приметами времени, строительство ростовского «Сельмаша», — все это оживает в поэме.

Автор использовал оригинальный прием: он, выражаясь его словами, «ныряет» в пережитое. Мальчик, любивший нырять вниз головой, и много переживший, передумавший лирический герой как бы сливаются в одно лицо. И уже плывет он не по родной реке и не в Черном море, с которыми знаком с детства, а в современном бурном океане:

Вот — Атлантический…
Авианосцы
Пошли сплошные рифы,
И даже
тушами лежат,
глуби океанские
От авиатурбнн,
дрожат
летящих, словно грифы.

Условность такого приема не мешает воспринимать нам все эти картины очень конкретно и в то же время чувствовать масштабность происходящего.

Я жизнь прошел,
протопал
и прополз:
Где по–пластунски,
чаще —
в полный рост.

«Поэма времени» — это смотр собственной жизни, жизни страны и всей планеты. Лирическому герою до всего есть дело: и до далекого детства в пионерском галстуке, и до погибших в бою друзей («уходят люди — остаются песни, горят они, как маяки во тьме»), и до далекого многострадального Каира, почувствовавшего братскую поддержку Москвы. Пионерское «всегда готов!» вдруг обернулось девизом всей жизни. Все сильнее звучит главный рефрен поэмы:

И ниточка твоя —
она осталась,
Ее уже не выплесть
никому…

Да, честно прожитая жизнь человеческая — это крепкая нить в красном знамени. «Поэма прощания» и «Поэма времени» Анатолия Софронова — произведения большого темперамента, большой искренности, больших обобщений.

Мне довелось видеть много софроновских пьес, начиная с «Московского характера» и «Денег» и кончая «Стряпухой» и «Сыном». Во всех них — будь то драма или комедия — присутствует тот же софроновский темперамент, что так ощутим в его поэмах. Наш большой зритель полюбил пьесы Софронова, в особенности такие, как «Деньги», «Сердце не прощает», «Стряпуха». Драматург–реалист, хорошо знающий жизнь донских и кубанских степей, по–своему продолжает традиции русских классиков, традиции Гоголя и Островского. Недавно он завершил работу над пьесами «Ураган», «Девятый вал», посвященной героям Малой Земли.

А вот снова лирика. Светло–зеленый поэтический томик, словно кусочек родной автору степи по весне. Избранные стихи и песни Анатолия Софронова — «Лед зеленеет по весне». Уже в первых из них чувствуется сыновняя любовь к отчему краю с его опьяняющим простором, трогающими душу запахами:

Родная степь: ковыль да жито,
Да полынок в степи седой, —
Ты перед нами так открыта,
Как мы открыты пред тобой.

Эти строки вырвались из сердца поэта–солдата в суровую годину испытаний. Точные, афористичные строки. Открытость, искренность свойственны лучшим стихам, песням, поэмам Анатолия Софронова. Надо было стать самому фронтовиком, чтобы так волнующе верно и глубоко передать чувства вчерашнего пахаря к земле, которую он защищал от нацистской нечисти.

Я уже рассказывал, как мои однополчане читали тоненький сборник лирических стихов Анатолия Софронова в далеких венгерских степях, которые мы освобождали. Эти места напоминали нам чем–то донские и донецкие степи. Мы читали о несгибаемом бессмертнике на кургане, о станице Вешенской, где живет великий художник современности, о шолоховском доме, который, как мы слышали, спалили фашисты, о партизанской елке, о подснежнике…

Любовь к родимой донской земле у Анатолия Софронова неразрывна с интернационализмом. Уж таково поколение, взращенное Великим Октябрем. Это чувствуется в стихах, песнях, поэмах, драмах и комедиях поэта и драматурга. Его произведениям свойственны партийность и народность.

Софроновский лирический герой, боец и гражданин, родствен образу поэта, который автор нарисовал как идеал в стихотворении, посвященном славному сыну армянского народа Чаренцу:

К поэту слава не приходит
В его обычное житье,
Она сама его находит,
Когда не ищет он ее.
Когда что было все без меры
Он отдал родине своей
И стал не то чтобы примером,
И даже сердцем для людей.

Анатолию Софронову исполнилось шестьдесят. В стихотворении, давшем название всей книге, он метко подметил, что лед зеленеет по весне перед бурным ледоходом.

НАСТУПАТЕЛЬНОСТЬ

Дымящийся берег Дуная. В полку все меньше и меньше ветеранов. На смену им пришли безусые юнцы. Этим вчерашним десятиклассникам некогда было лукаво мудрствовать о своем месте под солнцем. Они сжимали автоматы, еще теплые от прикосновения отцовских рук, и под огнем форсировали неведомый Дунай.

Им в песнях пели —

Дунай голубой, любовный чад,
соловьиный сад,
а он их встречае
пальбой,
пальбой
и кровью отсвечивает в закат.

Так стремительно начинается поэма Николая Грибачева, напечатанная в «Правде». Название поэмы «Иди, сержант!» верно передает ее дух, ее своеобразие. Подкупающая правдивость деталей, тонкий лиризм слиты в ней с настоящей наступательной публицистичностью. Перо поэта смело разрывает пелену времени, и события многолетней давности волнуют нас так, словно происходят сейчас, на наших глазах.

Поэма «Иди, сержант!» современна в лучшем значении этого слова. Поэт заставил вчерашний день работать на сегодняшний. Больше того, на завтрашний. Этому способствует насыщенность поэмы глубокими раздумьями, страстная заинтересованность автора в наших нынешних делах.

Герою поэмы юному сержанту Алексееву предложено отобрать добровольцев для захвата плацдарма на том, неведомом, черном берегу Дуная.

Чтоб властью души,
а не властью погон,
любовью к родной
стороне —
пучина — в пучину,
огонь — сквозь огонь,
как там,
на гражданской войне.

Вот откуда он бьет, живой родник самоотверженности и героизма! От отцов к сыновьям, от сыновей к внукам…

Когда читаешь яркое описание Грибачевым ночной переправы, отнюдь не любуешься эффектными строками или даже мастерским описанием картины ночного боя. Нет, поэта прежде всего интересует внутреннее состояние сержанта Алексеева. Оно передано динамично и психологически точно:

Где земля тут, где небо,
где сад и камыш?
Будто в погребе спишь
или в шахту летишь.

Мрак ночной переправы не мешает автору поэмы заглянуть далеко в будущее. Он видит и «первого в истории космонавта», что покуда сел за парту, и «нового поэта», еще кое–как, по складам читающего Блока. В космонавте автор уверен, знает, что тот пройдет суровую и прекрасную школу жизни. А вот судьба «нового поэта» всерьез беспокоит и автора и нас.

Что суждено ему в мире спеть?
Вспомнит ли он о погибших тут?
Или чужая и смерть — не смерть?
Или чужой ему труд — не труд?

В своей новой поэме Николай Грибачев поднимается до философских обобщений, утверждая бессмертие подвига во имя жизни. Надежным фундаментом для этого произведения послужила гражданская и философская лирика поэта. Это она придала поэме ту особую окрыленность и целеустремленность, которые заставляют прочесть это произведение на одном дыхании.

Поэт идет в ногу со своим поколением, одолевшим огни и воды. Но поэма «Иди, сержант!» близка не только тем, непосредственным участникам событий, о которых в ней так драматично, волнующе рассказано. Мне довелось быть свидетелем, как ее горячо приняли к сердцу молодые. И пусть об отдельных из них в поэме сказаны жесткие, но справедливые слова. Не «хлюпик и жох», не «слизняк с окурком над мокрой губой» представляют это поколение, поднимающее земную и небесную целину. Парни и девчата, покоряющие Енисей, — младшие братья и сестры по духу парням и девчатам, форсировавшим Дунай.

Когда спорят о литературном мастерстве, почему–то не всегда вспоминают, что главная его примета состоит в умении передать неповторимые краски, аромат жизни. В этом убеждает книга «Здравствуй, комбат», где собраны рассказы Николая Грибачева за тридцать четыре года.

Все рассказы, вошедшие в книгу, я бы разделил на два разряда: такие, как «Часы», где писатель перевоплощается в героя, тонко вскрывает его психологию, умело пользуется местным колоритом, и такие, как «Женя», где много интересных жизненных деталей, но меньше обобщений. И в самом деле, рассказ о веселой Жене, военфельдшере–девушке, любившей шоколад, но способной на подвиг, — по существу, граничит с добротным очерком.

К лучшим рассказам книги, безусловно, относится «Расстрел на рассвете». В нем, как и в «Жене», много убедительных бытовых деталей, но есть и коренное отличие: глубокое раздумье о судьбе человеческой. И фронтовой быт здесь не самоцель, он только оттеняет трагизм происходящего. Подтянутого, щеголеватого кадровика, комбата Вадима Шершнева за проявленную в бою трусость, пьянство и дебоширство военный трибунал приговаривает к расстрелу. Нелегко бывшим товарищам Шершнева слышать этот приговор. Ведь сам командир дивизии еще недавно верил в молодого расторопного комбата. Что же случилось? Автор постепенно вскрывает потребительское отношение к жизни, всеядность, гнилое нутро Шершнева, личности без заводной пружины.

Седой полковник, председатель трибунала в разговоре с офицером–сапером докапывается до самой сути того, что привело Шершнева к преступлению: «А личность–то эта в стеклянной банке выращена, что ли? Она комплекс, произведение от разных множителей. В этом вашем Вадиме Шершневе разными величинами, не считая водки и девок, сидят папа, мама, дядя, учителя, приятель, комдив, вы, я… Да, вы и я! Сказочку «Пятачок погубил» случайно читать не доводилось?»

Беспощадно–суровый рассказ «Расстрел на рассвете» выходит за рамки военного времени. Он ставит глубоко современный вопрос о цельности личности.

И. Стаднюк и Н. Грибачев на военных учениях «Днепр»

Герой маленькой повести «Здравствуй, комбат», давшей название всей книге, капитан Виталий Косовратов на первый взгляд чем–то похож на Вадима Шершнева. Но это обманчивое впечатление. На самом деле Косовратов — антипод Шершнева, цельная, искренняя, горячо любящая натура и в суровой фронтовой обстановке не терпящая пошлости и грубости.

Человек высокой нравственности, влюбленный в медсестру Ирину Озолину, капитан Виталий Косовратов сложил свою голову в бою за Родину. Через много лет на военных учениях «Днепр» автор встречает старшего лейтенанта с фамилией Косовратов. Это сын погибшего героя. Здесь очень естественно писателю удалось передать негасимость большой любви и преемственность поколений. «Меня захлестнула волна теплой благодарности к той девчонке, к той медицинской сестре Ирине Озолиной. Значит, свято несла она любовь своей юности, значит, помнила комбата, что даже в незарегистрированном, «под честное слово», браке сберегла сыну фамилию отца, не дала умереть его памяти и роду!

И я чуть не сказал вслух: «Здравствуй, комбат!»

Военные и «мирные» рассказы Николая Грибачева объединяет высокая нравственная требовательность автора к своим героям.

Вот романтический «Рассказ о первой любви», о своенравной девушке Соне Хмельковой, в которую были влюблены все парни села. Но им она предпочла неприметного паренька Алешу Круглова, заядлого книгочия с чистыми серыми глазами. И не только за то, что он ночью не побоялся переплыть реку. Видно,

Соня сама не осознала, что ее покорила Алешина целеустремленность, та удивительная черта, которая еще не проявилась у других парней. Впрочем, эта целеустремленность, любовь к книгам и явились причиной разрыва Алеши с Соней. Гордая девушка привыкла всюду верховодить, она не согласна делить свою любовь даже с книгами. И комсомол ей не по характеру… «Тут я — первая, а там — к последним пристраиваться…»

И горечь, и боль, и возмущение переполняют душу Алеши. Он же любит Соню. Но она–то себя знает лучше, чем Алеша. «…Ты — умный, тебе далеко идти, очень далеко, а я — не дойду, на рукаве висеть буду. Характера не хватит!» И гордая девушка сама отказывается от своей любви, выходит замуж за красавца–певуна Никиту, которого только жалела…

Но пусть читатель не спешит с ярлычком «эгоцентристка». Соня — характер живой, сложный, противоречивый. То ей почему–то тоскливо, то отчаянно весело. Она способна совершить подвиг: в войну топором зарубила фашиста и погибла сама. Не потому ли с такой затаенной грустью вспоминает о ней рассказчик–капитан, в котором угадывается возмужавший Алеша Круглов?..

Совсем иной характер у застенчивой молодой вдовы Марины из рассказа «Августовские звезды». «Руки у нее огрубевшие, в мозолях, а в сердце, обожженном однажды собственной жестокой бедой, носит она доброе тепло, которое стесняется обнаружить. Она поможет соседке, приласкает чужого мальчугана, но сделает это молча, не ожидая благодарности и не желая ее. Когда ее хвалят, она испытывает стеснение и неловкость, когда укоряют — опускает глаза, и все». Соня и Марина — не просто два характера, а два обобщенных типа русских женщин.

Грибачевские рассказы, как я уже сказал, неоднородны: одни — живые рассказы–зарисовки, как «У старого паровоза», «Пена», «Красивая жена», другие вызывают глубокие раздумья — рассказы «Ночная гроза», «Осенние листья», «Ведьма». В таких вещах большая мысль таит в себе большой эмоциональный заряд.

Помнится, в журнале «Огонек» я прочел рассказ Николая Грибачева «Любовь моя шальная». Уже во внешне спокойном, сдержанном запеве, в описании непогоды, не выпускавшей героев рассказа из районной гостиницы, чувствуется скрытая тревога, по мере развития сюжета из глубины прорывающаяся наружу и наконец властно захлестывающая сердце читателя. История пытливой сельской девушки, мечтавшей войти в большое искусство, стать актрисой, а вместо этого оказавшейся жертвой обманчивой, блестящей, но пустотелой моды, эта история не

может не взволновать.

Весь рассказ построен на контрастах. Обыденная интонация автора, бытовые детали районной гостиницы, непогода за окнами придают достоверность страстной исповеди сельского агронома, душевного умного человека, нашедшего свое место в жизни, но потерявшего свою любовь.

«Любовь моя шальная», на мой взгляд, один из самых сильных и гуманных рассказов не только этой книги, но и всей русской прозы последних лет. Сельского агронома Обдонского, этого целеустремленного талантливого человека автор ненавязчиво, но закономерно противопоставляет его любимой Зине, считавшей, что в родной деревне «мысли и то мерзнут» и гордо заявившей: «…До растворения в обыденности не опущусь!»

Николай Грибачев отнюдь не окарикатуривает Зину, он рисует ее такой, какова она в жизни: и привлекательной и отталкивающей. В конце концов дело не в самой Зине, а в тех, кто сломал ее жизнь.

Завершается книга веселым рассказом «Бегство на Усух», где в роли героев выступают прозаик Иван Стаднюк, поэт Илья Швец и автор. Подтекст этого юмористического рассказа вполне серьезен: «писатель должен писать». Увы! Не все понимают эту прописную истину. Невольно вспоминается родственная этому рассказу оригинальная повесть Михаила Алексеева «О друзьях–непоседах», на которую в свое время обрушились критики, лишенные чувства юмора. «Бегство на Усух» свежо, самобытно.

Четкая идейная позиция, острое чувство современности, зоркий писательский глаз помогает Грибачеву разобраться в самых сложных, порой запутанных жизненных вопросах.

ЛИРИЧЕСКОЕ ЗВЕНО

— Моя культурная жизнь началась с того дня, — с улыбкой рассказывал Михаил Светлов, — когда мой отец приволок в дом огромный мешок с разрозненными томами наших классиков. Он вовсе не собирался создавать публичную библиотеку. Дело в том, что моя мать славилась на весь Екатеринослав производством жареных семечек. Книги предназначались на кульки…

Будущий поэт предъявил родителям ультиматум: вначале он все прочтет! И стал жадно «глотать» том за томом. Он впервые узнал о дуэлях Пушкина и Лермонтова. Проснувшаяся фантазия подсказала ему, что «секундант» — это человек, виртуозно делающий секундные стрелки. А время неудержимо летело вперед…

В грозные годы гражданской войны Миша Светлов стал

комсомольцем. Подростком он уже редактировал журнал «Юный пролетарий», где напечатал стихи своих земляков–одногодков, среди которых был и Михаил Голодный.

— А ведь мы пишем не хуже, чем харьковчане! — заявил однажды другу Михаил Голодный, и их крылатое лирическое звено из родного города на Днепре перелетело в тогдашнюю столицу Украины — Харьков. Светлов издал там свои «Рельсы», а Голодный — «Сваи».

— А ведь мы пишем не хуже, чем москвичи! — не унимался Михаил Голодный. И вскоре лирическое звено приземлилось в Москве.

Светлова заметил Маяковский. Ему понравилось стихотворение младшего товарища «Пирушка».

— Не забудьте заменить выражение «влюбленный в звезду». Запомните: это литературщина!

— Я уже выбросил! — заверил Михаил Светлов.

А знаменитую «Гренаду» Владимир Владимирович выучил наизусть и читал в Политехническом, куда пригласил смущенного автора.

Мне довелось слышать, как читал свою «Гренаду» сам автор в День поэзии в одном из московских книжных магазинов. Читал по просьбе слушателей, ибо сам, конечно, предпочитал читать новые стихи.

«Гренада» романтична, как эпоха, ее породившая. Светлову удалось выхватить из клокочущей жизни образ бойца–интернационалиста. Не такие ли красноармейцы из бригады легендарного Василия Боженко, голодные, полураздетые, готовы были шагать на помощь братьям из красной Венгрии?..

Тем, чем для Светлова была «Гренада», для Михаила Голодного стала баллада «Судья Горба». Когда читаешь ее, кажется: сама жизнь перед тобой. В ней нет и следа литературщины. Яркими, запоминающимися мазками рисует поэт образ судьи–большевика, справедливого и беспощадного даже к родному брату, если он провокатор.

По существу — это маленькая пьеса: так рельефно выписаны в ней и другие образы подсудимых — озлобленной мещанки и перерожденца. Ритм баллады передает тревожную динамику гражданской войны.

Суд идет революционный,
Правый суд.
В смертный бой мои товарищи
Идут.

От баллад о гражданской войне был один шаг до песен о том неповторимом времени. И вот вся страна запела «Песню о Щорсе» и «Партизан Железняк».

Железняк… Легендарный матрос Анатолий Железняков, разогнавший в Питере право–эсеровскую говорильню–учредилку. Да, он бывал со своим бронепоездом в родном городе Светлова и Голодного. Но похоронен он в Москве, на Ваганьковском кладбище, рядом со свошм задушевным другом, кавказским орлом начдивом Васо Киквидзе.

Железняковцы, после смерти командира вынужденные взорвать свой бронепоезд, действительно выходили из окружения в украинских степях. И в бою действительно погиб один из товарищей Железнякова. Для народа он стал Железняком. Так сначала родилась легенда, а потом песня.

В степи под Херсоном Высокие травы,
В степи под Херсоном курган.
Лежит под курганом,
Овеянный славой,
Матрос Железняк, партизан.

Эту песню пели потом в республиканской Испании бойцы Интернациональной бригады. «Твои песни поют в Испании», — писал их автору Матэ Залка, ставший генералом Лукачом. Это и дало право Михаилу Голодному, отбивавшемуся, как от оводов, от въедливых критиков, написать такие строки:

Зачем же ты, критик, приходишь с обидой?
Меня не обидит твой суд:
В полях Арагонских, в бою под Леридой
Бойцы мою песню поют!

Первый светловский опыт массовой песни широко известен, но мало кто знает, что Светлов перевел с немецкого «Песню о юном барабанщике», которую поет уже не одно поколение. Этот перевод можно смело печатать рядом с «Каховкой». В своей

увлекательной книге «Повесть о стихах и их судьбах» Анатолий Елкин рассказывает историю создания «Каховки»: «В дверь постучали, и на пороге возник взлохмаченный Семен Тимошенко. Его (М. Светлова. — В. Ф.) давний друг, неутомимый бродяга и талантливый режиссер, он без проволочек приступил к делу:

— Вот что… Я обалдел, мне некогда. Миша! Я делаю картину «Три товарища». И к ней нужна песня, в которой были бы Каховка и девушка. Я устал с дороги, посплю у тебя, а когда ты напишешь — разбуди…

Рассказывая эту историю, Светлов добавил:

— Каховка — это моя родная земля. Я, правда, в ней никогда не был, но вся моя юность тесно связана с (Украиной. Я вспомнил горящую Украину, свою юность, своих товарищей… Мой друг Тимошенко проспал недолго. Я разбудил его через сорок минут.

Сонным голосом он спросил меня:

— Как же это так у тебя быстро получилось, Миша? Всего сорок минут прошло!

Я сказал:

— Ты плохо считаешь. Прошло сорок минут плюс моя жизнь…»

Михаил Светлов с мягкой улыбкой потом вспоминал, как на фронте после очередного артналета солдаты его спрашивали:

— Это вы написали «Каховку»?

— Я.

— Как же вас сюда пускают?

Поэт не мог обходиться без шутки даже на фронте.

Рассказывают, что однажды ему пришлось лечь в обмундировании с товарищем на узенькой кровати. Легли «валетом». Утром Светлов открыл глаза и невозмутимо произнес:

— Всю жизнь думал, что я король, а, оказывается, я валет!..

Он был неистощим на остроты и шутки, даже умирая.

Лучшие стихи и песни пережили поэта. И сегодня волнующе звучат знакомые слова:

Гремела атака и пули звенели,
И ровно строчил пулемет…
И девушка наша проходит в шинели,
Горящей Каховкой идет…

Родной город поэта — Днепропетровск, названный так в честь старого большевика Григория Ивановича Петровского, я видел только с самолета. И мне невольно вспомнилось, что вслед за

первым лирическим звеном в Москву улетело новое. Юные поэты, которые были на четыре года моложе Голодного и Светлова. Их имена: Дмитрий Кедрин и Анатолий Кудрейко.

Дмитрий Кедрин при жизни выпустил всего одну книжку — «Свидетели». О его известном стихотворении «Кукла» тепло отзывался Максим Горький. Это очень гуманные, волнующие стихи, обращенные к дочери забулдыги–пьяницы:

Для того ли, скажи,
Чтобы в ужасе
С черствою коркой
Ты бежала в чулан
Под хмельную отцовскую дичь, —
Надрывался Дзержинский,
Выкашливал легкие Горький,
Десять жизней людских Отработал Владимир Ильич?..

Автор «Куклы» говорил:

— Необходимо совершенно беспощадное отношение к себе. Требуйте от себя абсолютной честности, не выпускайте стихи из рук, пока замечаете в них хотя бы один недостаток.

Дмитрий Кедрин очень любил красоту, жизнь, искусство. Древним русским умельцам посвятил поэт своих знаменитых «Зодчих». А в нелегкие годы Отечественной войны он написал прекрасные стихи «Красота», которые так и светятся неподдельной любовью к России, к ее удивительному народу, выстоявшему в самую жестокую, самую тяжелую войну в истории.

Эти гордые лбы винчианских мадонн
Я встречал не однажды у русских крестьянок,
У рязанских молодок, согбенных трудом,
На току молотящих снопы спозаранок.
У вихрастых мальчишек, что ловят грачей
И несут в рукаве полушубка отцова,
Я встречал эти синие звезды очей,
Что глядят с вдохновенных картин Васнецова.
С большака перешли на отрезок холста
Бурлаков этих репинских ноги босые…
Я теперь понимаю, что вся красота —
Только луч того солнца, чье имя — Россия!

Кедрин глубоко знал русскую и западно–европейскую историю. Его драматическая поэма «Рембрандт» — невянущий венок великому живописцу–реалисту.

Поэт работал в заводской многотиражке, а потом в издательстве «Молодая гвардия», выкраивал редкие часы для создания стихов, которые не мог не написать. Грянула Отечественная — добровольцем ушел на фронт, стал военным журналистом и умер тридцативосьмилетним в год нашей Победы.

«Стихи Кедрина написаны прекрасным русским языком, отличаются умелой композицией и стройной архитектоникой. Чистые и ясные, они как бы насквозь просвечены добротой и правдой», — отмечает поэт и литературовед Сергей Наровчатов.

Нелегкой была поэтическая тропа друга Дмитрия Кедрина Анатолия Кудрейко. Когда–то Владимир Маяковский в полемике с Ильей Сельвпнским метнул стрелу и в стихи молодого, звонко начинавшего поэта.

У Анатолия Кудрейко были не месяцы, а целые годы, когда он не писал стихов. Судьба забросила его на суровый Урал, в войну он стал командиром взвода автоматчиков. А в памяти — яркие картины милого юга, щедрого края юности.

О годы!
Слышу вас опять:
вы, словно рыбаки Тамани,
перекликаетесь в тумане,
хоть вам друг друга не видать.

Родной приднепровский пейзаж, напоенный медовым запахом, лунным светом и степной музыкой, встает в лучших его стихотворениях.

Добрую поэтическую школу прошел в юности Анатолий Кудрейко. Об этом он вспоминает в стихах, рисуя «губернаторский дом — комсомольский губком» в своем приднепровском городе:

Был сердечен и строг
комсомольский Парнас.
Стих судили сто раз
и на глаз
Чтоб горел!

Чтоб звенел!
и на слух.
Чтоб как надо — про нас!
Чтоб от строф
у буржуя корежило дух!

Часто вспоминает Кудрейко родной город, старших друзей, научивших его ненависти к мещанской пошлости. Вот стихи, посвященные Михаилу Голодному:

Не писал я тебе, живому,
не услышишь ты, неживой…
Приближается память к дому,
где забыт уже голос твой…
Днем на Днепр ты глядел с обрыва:
шелестел над водой лозняк.
И, окутан клубами взрыва,
там мерещился Железняк.

Больше сорока лет работает в поэзии Анатолий Кудрейко. В сборнике «Близость», изданном «Советской Россией», стоят две даты: «1926–1966». А время неудержимо несется вперед. Из двух лирических звеньев, взлетевших некогда с крутого берега Днепра, из тех юных поэтов, полных дерзаний и надежд, остался в живых только он, Кудрейко. Все лучшее, что сделали мастера из Днепропетровска, они завещали молодым.

ВЕРА

Моя притихшая дочь–старшеклассница сидела за книгой. Я ее окликнул. Ответа не последовало.

— Да чем ты так увлечена? Что читаешь?

— «Повесть о суровом друге».

И я вспомнил, как сам в ее возрасте с упоением читал эту Книгу. Спроси кто–нибудь меня тогда — почему мне она так понравилась, быть может, я сразу не нашел бы ответа. Понравилась и все! А теперь скажу: меня заворожили, а в конце повести потрясли впечатляющая достоверность, суровый реализм в изображении рабочего донецкого быта.

Талант автора спаял их с высоким романтическим накалом,

юношеской верой в Революцию.

Жариков великолепно знает юношескую психологию. В финале повести любовь к суровому другу перерастает в любовь к неброскому и прекрасному донецкому краю. По существу, это своеобразное стихотворение в прозе: «Так умер Васька, мой суровый и нежный друг, и последняя ночь его жизни была последней ночью моего детства…»

Первым, кто по–настоящему оценил и помог доработать эту замечательную вещь, был Александр Фадеев. Она очень близка по духу автору «Разгрома» и «Последнего из удэге», певцу суровой юности солдат революции.

Повесть Леонида Жарикова переведена на многие языки. Из далекой Кубы автору пишет поэт Самуэль Кальдевилья: «Я вложил всю свою любовь в инсценировку Вашего произведения. Оно очень созвучно делам революционной Кубы и послужит воспитанию нашего юношества и детей».

Героям этой повести Леонид Жариков отдал самые сильные впечатления своего трудного детства и юности. Будущий писатель родился в землянке, сложенной из самана. Отец его был нищим орловским мужиком, затем, говоря словами Жарикова, «сменил навсегда крестьянский зипун на куртку рабочего». Его и мать в гражданскую войну унес тиф. Леонид узнал, что такое сиротство. Советская власть, щедрые рабочие души помогли ему стать человеком.

Жарикову по путевке комсомола довелось быть и сельским учителем, и заведующим клубом, и селькором, и контролером сберкассы, и рабфаковцем, и студентом Музтеатрального института имени Лысенко. Он работал статистом в Киевском театре имени Франко и снимался на киностудии в фильме Александра Довженко «Иван», посвященном строительству Днепрогэса. Многому научился будущий писатель у великого романтика. А киноактером суждено было стать его сыну Евгению, отлично сыгравшему главную роль в фильме «Иваново детство».

В жаркой Средней Азии пограничник Леонид Жариков написал свое первое стихотворение «На смерть командира». Потом его уговорили написать для сцены литмонтаж — историю погранотряда. Уже демобилизовавшись, он узнал что награжден Почетной грамотой.

Демобилизованный красноармеец Жариков, помня завет Чехова, не расставался с записными книжками и твердил, как стихи, письмо академика Павлова к молодежи: «…Прежде всего — *последовательность*… Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего. Второе — это *скромность*. Никогда не думайте, что вы уже все знаете… Третье — это *страсть*. Помните,

что наука требует от человека всей его жизни…»

Спецкор «Правды» Л. Жариков (крайний справа) в забое донецкой шахты

Первый рассказ Леонида Жарикова был опубликован в «Литературном Донбассе», где печатались тогда поэт–шахтер Павел Беспощадный, прозаик Петр Северов и другие. С мягким юмором вспоминает Жариков свою жизнь в Литературном

институте имени Горького, ночное бдение в кабинете доброго директора, где однокурсник–поэт Сергей Смирнов писал за столом стихи, а Леонид на диване — прозу… Запомнилась ему интересная встреча с Новиковым–Прибоем, заявившим: «Писателем может быть каждый, у кого на плечах голова, а не астраханский арбуз».

Самую большую роль в судьбе начинающего прозаика было суждено сыграть Александру Фадееву, в руки которого попало первое жариковское детище. «Повесть о суровом друге» складывалась из отдельных глав–новелл. На стихийном семинаре студентов–прозаиков Александр Александрович подробно разобрал незаурядную повесть Жарикова, отметил удачи, указал на недостатки и выправил всего–навсего один абзац. Вот как выглядел этот абзац у начинающего прозаика:

«Возле шарманщика стоял городовой в белом кителе, с облезлой черной шашкой. Оранжевый шнурок, привязанный к револьверу, обвивал его шею. Городовой ел кавун. К его усам и бороде прилипли черные косточки».

А вот каким он стал, когда к нему прикоснулась рука мастера:

«Возле шарманщика стоял городовой в белом кителе, с облезлой черной шашкой, свисающей до земли. Оранжевый шнурок от револьвера обвивал его шею. В расставленных руках городовой держал по куску кавуна и, вытянув шею, чтобы не закапать китель, хлюпая, грыз то один, то другой кусок. С усов у него текло, к бороде прилипли черные косточки».

Этот «фадеевский» абзац стал маяком–ориентиром при доработке автором повести.

Редактор журнала «Знамя» Всеволод Вишневский, которому пришлась по душе повесть Жарикова, напечатал ее в своем журнале.

Несмотря на то, что «Повесть о суровом друге» имела большой успех, ее автор после Отечественной войны вернулся к своему любимому детищу, углубил, дописал целые главы. Недавно она вышла восемнадцатым изданием, а читательский интерес к ней не ослабевает.

«Когда я закончила читать книгу, то мне показалось, что я прочла лишь отрывок из большой книги, рассказывающей о борьбе поколений. Очень хочется узнать, что было дальше, как сложилась жизнь Лени и его друзей, оставшихся в живых. Какую профессию выбрал он? Ведь он так хотел быть рабочим, мозолистые руки которого умеют все сделать!..» — пишет студентка Лия Овчинникова из Тамбова.

Она не ошиблась. Есть вторая часть трилогии «Червонные

сабли», в которой рассказывается о дальнейшей судьбе Леньки Устинова, ставшего красным конником. Здесь воистину былинный размах. Главный герой оказался достойным погибшего сурового друга. На III съезде комсомола Ленька, которому сам Буденный подарил маузер, встречается с Лениным.

Наконец, есть и заключительная часть трилогии — повесть «Судьба Илюши Барабанова», где рассказывается, как нэпманы и затаившиеся белогвардейцы, стреляющие отныне не пулями, а рублями, пытаются вырвать молодежь из–под влияния большевиков. Враги революции сколачивают «Спортивное общество «Сокол», где заправляют «скауты», нэпманские сыночки. Вот философия их руководителя, бывшего белого офицера: — «Вы спрашиваете, как воевать за молодежь? Уводить от политики, вытравлять из ее голов идеи революции. А для этого пробуждать интерес к удовольствиям жизни, неустанно повторять, что человек живет один раз. Жизнь хороша, но коротка, и за ее пределами нет ничего, даже сожаления о ней. Поэтому — живи!.. Короче говоря, мы должны противопоставить большевистской проповеди о служений народу свою проповедь о служении самому себе, и только себе».

Жариков пишет неторопливо. В его столе годами отлеживается не одна начатая вещь. В войну он написал сильную, пронизанную волнующим лиризмом повесть «Снега, поднимитесь метелью!» Посвящена она бессмертному подвигу 28 панфиловцев на подмосковном разъезде Дубосеково. В свое время ее жадно читали на фронте, куда с родины панфиловцев был отослан весь ее тираж.

На мой вопрос, почему он не переиздаст эту повесть, писатель, помедлив, ответил:

— Всему свой черед. Я много лет работаю над романом о нынешнем Донбассе. Побывал там много раз. Написал много очерков, а вот работу над романом никак не закончу. Нужно еще годика два–три…

Совсем недавно мы читали в «Правде» еще один очерк Леонида Жарикова о родном горняцком крае. Писатель награжден орденом, почетным знаком «Шахтерская слава» и медалью Николая Островского. Есть нечто схожее между трудом горняка и трудом патриота–литератора.

С портрета в книге, открывающей трилогию, смотрит на юного читателя Леонид Жариков, полный творческих замыслов, удивительно молодой сердцем. Видно, эту завидную молодость ему дала верность теме рабочего класса и революции.

Юные москвичи чествовали шестидесятилетнего юбиляра во Дворце пионеров на Ленинских горах. Вместе с цветами они

преподнесли Леониду Михайловичу буденовку, которую сшили сами. В краснозвездном шлеме смотрел автор вместе с пионерами отрывки из инсценировок «Повести о суровом друге» и «Илюши Барабанова». Московские школьники читали наизусть фрагменты «Червонных сабель» и других повестей.

Пускай же, Леонид, тебе всю жизнь светят Красная Звездочка с ребячьей буденовки и шахтерская лампочка, подаренная земляками!

РАЗВЕДЧИК

Говорят, в юности он был поэтом. Работал на Дальнем Востоке директором театра и председателем колхоза. А для меня он — разведчик. Недаром же он написал своеобразный гимн нашему разведчику:

«…Он не имеет имени, как лесная птица. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом пространств — духом, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль — свою задачу».

Но если бы герои Казакевича были бы только бесплотными «зелеными призраками», вряд ли бы они тронули наши сердца. В том–то их сила, что в них пульсирует горячая кровь, они живые люди.

Уж очень непохож чистый душой, собранный Травкин на простодушно–влюбчивую радистку Катю или уравновешенный Аниканов на щеголевато–расторопного Мамочкина. Люди всегда тянутся к чистоте. Поэтому вчерашний десятиклассник — целеустремленный Травкин, сам того не подозревая, облагораживающе влияет на Мамочкина и Катю. Поэтому так впечатляюще звучит в финале повести страстный призыв влюбленной радистки: «Звезда, Звезда!», как бы перекликаясь с призывом толстовской Аэлиты.

Начальник дивизионной разведки, капитан Э. Казакевич с другом–разведчиком

Да, на войне люди погибают. Но писатель никогда не забывает, во имя пего в глухой чащобе погибли Травкин и его друзья, во имя чего в чужой северной стране гибнет моряк Акимов из повести «Сердце друга». Недаром Казакевич так проникновенно воспевал людей Советской Армии.

«Быть человеком, описывающим жизнь, подвиг и труд такой армии, — великая честь для писателя, — гордо говорил писатель–боец. — Описывать людей нашей армии, храбрых, простых, скромных, верных, писать для таких людей — великая честь для меня. И я счастлив, что вместе со многими другими моими товарищами по перу я пишу о нашей армии.

В капиталистическом мире нет таких писателей, потому что нет такой армии. Да они озолотили бы того литератора, который взял бы на себя подлую и неблагодарную миссию прославлять

капиталистические армии — армии порабощения народов и растления молодых людей».

В памятные тяжелые дни сорок первого года Эммануил Казакевич, восхищенный мужеством наших людей, писал в своем фронтовом дневнике:

И сложат легенды когда–то
Про эту бессмертную рать!

Вряд ли он тогда думал, что после войны сам станет одним из создателей этих правдивых легенд.

В романе «Весна на Одере» и «Дом на площади» писатель, смело раздвинув рамки своих наблюдений, уже рисует не только тех, кто освобождал Европу, и тех, кого освобождали, но и наших заклятых врагов.

«В сражениях этой войны мы оказались не только солдатами, а и революционерами, ибо боролись не только против враждебной армии, но и против реакционной идеи», — размышляет писатель–коммунист. «…Мы имели возможность увидеть Европу — мятущуюся, бесхребетную, анархическую, полную феодальных пережитков, глубоко коренившегося неравенства и фашистской озверелой истерики. Мы могли заметить страшное идейное убожество людей при капитализме, думающих только о себе и своем благополучии. Мы увидели всю ограниченность мещанства, возведенную в государственную идеологию. Мы могли смотреть и сравнивать. То были жители гнилой низменности рядом с нами, жителями гор, с которых далеко видать во все стороны. То был УЖ рядом с СОКОЛОМ — не с горьковским СОКОЛОМ 1905 года, разбившим свою грудь об утесы, а с могучей птицей 1917 года, воспарившей в высоком полете…»

Задумав «Дом на площади», Эммануил Казакевич пишет в дневнике о том, что его новая вещь будет иметь ярко выраженную политическую нагрузку. Невольно вспоминается известное высказывание Владимира Маяковского, когда читаешь такие строки: «…Я ведь боец, не только художник. Я сам дал себе госзаказ и ничего худого в этом не вижу».

Как бы полемизируя с критиками–снобами, Казакевич называет для себя свою будущую книгу «Наставлением по комендантской службе». Да, да! Духовным, идеологическим наставлением.

А за два года до этого писатель, негодуя, записывает в свой

дневник: «Среди всех гадких черт, оставшихся в наших людях, одна из самых неприятных — безоговорочное приятие всего заморского и глупая недооценка своего…»

Казакевич умел замечать народные таланты. Так, по свидетельству критика М. Лапшина, автора литературнокритического очерка о владимирском прозаике Сергее Никитине, Эммануил Генрихович одним из первых заметил этого тонкого лирика–новеллиста и редактировал сборник его ранних рассказов.

Автор «Весны на Одере» и «Дома на площади» зорко следил и за международными событиями. Не успели отгреметь последние залпы второй мировой войны, как «опять запахло гарью пожаров на пространствах нашей измученной планеты». Словно после чтения сегодняшних газет с тревожными сообщениями из многострадальной ОАР и пылающего Вьетнама написаны такие строки:

«…Американская демократия становится величайшим тормозом прогресса человечества, силой, поддерживающей «черную сотню» во всех странах мира. Вот до чего довели великую демократию власть денег, жадность собственников, своекорыстие миллиардеров и развращенность мелких буржуа!»

Не случайно, что именно такого писателя–мыслителя всю жизнь притягивал к себе образ великого философа и борца нашей эпохи, образ Ленина. Но только в конце своей жизни Казакевич решился написать небольшую, но емкую повесть о прозорливом штурмане Октября.

На встрече со слушателями Высших литературных курсов уже больной Эммануил Генрихович рассказал о своей долгой кропотливой работе над «Синей тетрадью». Чтобы написать повесть, писателю потребовалось жить в обстановке, близкой к той, в которой жил его несгибаемый герой. «Синяя тетрадь» написана на реке Клязьме у радушного старого бакенщика, в сарайчике, оборудованванном под «кабинет».

— Так как, я художник, — рассказывал Эммануил Генрихович, — а не историк, то моя задача могла заключаться только в том, чтобы показать Ленина–человека…

Разумеется, в данном случае человек более чем когда–либо в истории неотделим от теоретика, вождя, революционера. Только в процессе деятельности познается человек…

И в ленинской теме Казакевич остался разведчиком. Он говорил о необыкновенной трудности воплощения в прозе образа вождя Октября. В кино и в театре мы жадно следим за актером, загримированным под человека, которого мы любим. Увидев его лицо, походку, жесты, услышав знакомый голос, мы готовы

примириться с несовершенством текста. Благодарим людей, давших нам возможность как бы видеть и слышать умершего гения. Литература, по словам писателя, не может дать эту иллюзию.

— И все–таки я рискнул! — улыбнулся Казакевич.

Обидно, что в этой повести писатель как бы сдерживает лирическую струю. Нельзя не согласиться с метким замечанием критика Виктора Панкова, в целом высоко оценившего повесть: порою автор перенасыщает «информационностью» высказывания самого Ленина, отдает дань цитатному методу воспроизведения живой речи.

С чувством уважения читаешь мучительные дневниковые раздумья писателя: «…Дана ли мне сила прозвучать трубой на дорогах моего времени? Или только бабочкой махнуть крылышками по дорожке?..»

Всю жизнь Эммануил Казакевич был разведчиком.

ПАРТИЗАНЫ

У этих двух людей схожая судьба. Сначала они были учителями, потом партизанами, а после войны стали писателями. Нет, они писали еще и до войны и во вражеском тылу приравняли перо к партизанскому автомату. Имя первого из них я услышал в юности на Кировоградщине. Василь Козаченко…

— Читали повести нашего земляка «Аттестат зрелости» и «Сердце матери»? — спрашивали меня на литобъединении студенты местного пединститута. — Обязательно прочтите! Правдиво написаны и сразу захватывают. Говорят: автор бывший учитель и партизан…

Сельский хлопец Василь Козаченко был когда–то работником Ново–Архангельского райкома комсомола. Затем, закончив литфак Уманского института социального воспитания, учительствовал. Нелегок хлеб сельского учителя. Знаний не хватало, а тяга к учебе была большая. И Василий стал студентом филфака Киевского университета. До войны он опубликовал сборник рассказов и три повести. Это были первые творческие поиски…

В начале Отечественной войны Василий Павлович уже командовал стрелковым взводом на Юго–Западном, оборонял столицу Украины. Попал под Киевом в окружение. Линию фронта перейти не удалось. Так он оказался в родном Ново–Архангельском, стал одним из руководителей местного подполья и организатором партизанского отряда имени Чапаева. В свободные часы бывший учитель писал листовки, рассказы,

повесть «Цена жизни». Материал был горячий, обжигающий. Односельчане рассказали Василию Павловичу о смерти и воскрешении советского военнопленного, неистового человека, которого били, расстреливали, даже топили, а он оставался живым и мстил, мстил, мстил.

О таком человеке нельзя не написать. А у Василя Козаченко было особое чутье на темы острые, патриотические. Недаром же он перед самой войной написал повесть «Первый взвод» об освобождении нашими войсками Западной Украины, о том, как бывшие студенты стали настоящими воинами. Писатель уже тогда чувствовал близкое дыхание большой битвы.

Те драгоценные черты, которые особенно проявились у Козаченко в партизанском стане: бесстрашие, отзывчивость, зоркость, умение быстро и верно разобраться в сложной человеческой психике — присущи ему и как писателю.

Не только медаль «Партизану Отечественной войны» I степени напоминает ему о пережитом, но и тот властно захватывающий материал, который лег потом в основу таких повестей, как «Аттестат зрелости», «Сердце матери», «Горячие руки», «Молния», «Письма из патрона».

Кандидат филологических наук Степан Пинчук, автор литературно–критического очерка «Василь Козаченко», в своей статье «С любовью к человеку», открывающей двухтомник писателя, справедливо подметил, что Козаченко принадлежит к тем литераторам, которые не повторяют себя. Каждая его повесть на тему Отечественной войны и послевоенные темы — новое художественное открытие.

Мне помнится, какую бурную дискуссию на Украине вызвала сугубо «мирная» повесть Козаченко «Сальвия», посвященная морально–этическим проблемам. Боль автора за запутавшуюся дочь фронтовика Ганнусю передалась читателям. Если в повести «Горячие руки» писатель нарисовал романтический образ художника Дмитра, совершившего подвиг в фашистском концлагере, то в «Сальвии» выведен совсем другой художник. Роман Петрович — себялюбец, индивидуалист, растоптавший любовь умной жены и доверчивой девушки.

И в этом произведении сказался «партизанский» темперамент Василя Козаченко, влюбленного в людей с чистой совестью. А читатели, как когда–то памятные мне кировоградские студенты, уже с захватывающим интересом читают и спорят о его новых повестях — «Яринка Калиновская» и «Белое пятно».

Лучшие повести Василя Козаченко переведены на языки братских республик и стран народной демократии. Много лет назад писатель в составе делегации Украинской ССР принимал

участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН и написал гневный публицистический очерк «Нью–Йорк вблизи», правдиво рассказывающий о язвах капиталистического общества.

Второй человек, о котором мне хочется здесь рассказать, — Юрий Збанацкий. Миллионам юных и седых кинозрителей полюбился фильм, поставленный по его повести «Среди добрых людей».

Жил на Черниговщине сельский хлопец. После Черниговского педтехникума стал учительствовать. Назначили директором школы, почувствовали в человеке любовь к детям и организаторскую жилку. Заочно закончил Нежинский пединститут. Я был недавно в этом здании, где когда–то учился Гоголь. Среди портретов известных питомцев института есть портрет и Юрия Збанацкого. Но пединститута ему, как и Василю Козаченко, показалось мало. Стал экстерном учиться на филфаке Киевского университета и одновременно работал в райкоме партии, потом редактировал районную газету.

Уже тогда Збанацкий искал себя в литературе. Стихи, одноактовки, первые рассказы… Он упорно собирал материал о замечательном сыне чувашского народа Сеспеле, чья жизнь была тесно связана с Украиной. Вряд ли начинающий писатель тогда подозревал, что свой замысел он осуществит только через двадцать с лишним лет и действительно напишет роман, который так и будет называться «Сеспель».

Когда гитлеровцы захватили Черниговщину, вчерашний учитель и журналист Юрий Збанацкий остался в родных местах. Он должен был создать местное подполье, а если удастся, то и партизанский отряд. Потом его схватили фашистские палачи, упрятали в глухой застенок, затем бросили в Яцевский концлагерь. Находчивый и бесстрашный узник бежал, а вскоре многие подпольщики Остерского района вступили в партизанский отряд имени Щорса, которым командовал Юрий Збанацкий. Отряд стал грозным соединением.

Когда наши наступающие войска под орудийный гром подошли к Десне и Днепру, переправы были уже наведены в этих местах партизанами соединения Юрия Збанацкого. Отчаянный и смекалистый командир поспевал всюду, бросался в самое пекло. Вскоре на его груди заблестела золотая звезда Героя Советского Союза.

А через несколько лет в редакцию украинского журнала «Днепр» пришел застенчивый человек с папкой. Он протянул руку писателю Валентину Бычко и запросто представился:

— Юрко Збанацкий…

На стол легла объемистая рукопись «Тайна Соколиного бора.

Повесть для детей». Бычко был удивлен. Он ждал, конечно, от прославленного командира партизанского соединения романа о жизни народных мстителей, а тут «повесть для детей». Писатель не ведал, что имеет дело с бывшим педагогом, отлично понимающим, что нужно нашим детям, чтобы из них выросли настоящие патриоты. Впрочем, Бычко это почувствовал, когда читал повесть ночь напролет…

Теперь книги Юрия Збанацкого читают не только на Украине, но и в братских республиках и в странах народной демократии. Вслед за повестью «Среди добрых людей» экранизирована повесть «Морская чайка», которая взволновала и детей, и взрослых. Повести и романы Збанацкого пользуются все большей популярностью.

Два педагога, два партизана, два писателя — Василь Козаченко и Юрий Збанацкий. Многое схоже в их жизненных и литературных путях. Оба они лауреаты премии имени Тараса Шевченко и премии имени Николая Островского. И это знаменательно. Прекрасные национальные традиции слиты в их творчестве с революционной романтикой. Оба они верят в светлые человеческие души и горячо — с партизанским упорством — ненавидят то, что порой еще мешает нам двигаться вперед.

ЗАПЕВАЛА

На Ваганьковском кладбище неподалеку от могилы Сергея Есенина есть строгий барельеф. А чуть ниже высечены четыре строки:

Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат,
Пусть солдаты
Немного поспят!..

Эту песню знает каждый мой ровесник. Это — наша юность, наша солдатская судьба. Правда, не все знают автора «Соловьев». А жаль! Фронтовик Алексей Фатьянов был из тех немногих счастливцев, чьи песни сами льются из души и сразу находят отзвук в душе народной. Кто из солдат не остановится возле памятника поэту и в раздумье не снимет шапку?

Как много для нас значат эти четыре строки! Знаю по себе.

Помню, когда кинорежиссер Анатолий Буковский, тоже бывший фронтовик, хотел рассказать о вдовьем горе Арины из моей повести, он вспомнил именно эти четыре ф>атьяновские строки. На экране бьется на земле плачущая солдатка, а за кадром скорбно поет мужской хор:

Соловьи, соловьи,
Не тревожьте солдат…

Режиссер убедил и меня, и композитора, мечтавшего написать новую песню, что здесь должны звучать именно «Соловьи». Лучше не передашь того времени. И мы согласились.

Пожалуй, никто душевнее Алексея Фатьянова не рассказал в песнях об опаленном огнем поколении солдат–победителей.

Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна —
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.

Кто еще так просто и так впечатляюще передал в песне торжество жизни над смертью? Тот, кто это пережил, меня, конечно, поймет. Много стихов и песен написано о землянке. Но меня почему–то больше трогают эти бесхитростные строки:

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей, фронтовой.
Не тратя время попусту.
По–дружески да попросту
Поговорим с тобой.

Такая правда, такая задушевность, что, кажется, никто не

сочинял этих стихов, а вот сейчас они сами вылились из твоей души. А дальше быль в этой песне сливается с русской сказкой, с тоской солдат по дому, где «девчатам кажется, что месяц сажей мажется», где «который год красавицы гуляют без ребят».

А после незабываемых салютов Победы по стране прокатилась новая песня:

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои…
Где же вы теперь, друзья–однополчане,
Боевые спутники мои?

Ну как отделить такую песню от тех, кто вернулся с войны? Не выйдет! Скольких друзей она снова свела, заставила слать телеграммы, письма… Помнится, когда я был еще в армии, а один из друзей уже демобилизовался, его первое письмо начиналось так: «Не могу тебе не писать: по радио передают «Где же вы теперь, друзья–однополчане?..»

Демобилизованные солдаты и в жизни и в песнях Алексея Фатьянова возвращались российскими полями и лесами.

Поет гармонь за Вологдой,
Над скошенной травой
Проходит песня по лугу,
Тропинкой луговой.

Гордо ступает по земле девушка–фронтовичка, которой теперь «положено по праву в самых лучших туфельках ходить». Недаром ветер бросает ей под ноги белые лепестки вишен. А ее влюбленный друг сам признается:

Я в боях командовал тобою,
А теперь я вроде рядовой.

Алексей Фатьянов много ездил по родной стране. Всю жизнь он был в дороге. И это ощущение непрестанного движения

хорошо передают его песни, написанные в пути, в простецких районных гостиницах, в приветливых гарнизонах. Зовет в дальние дали дорога, и верится, что «до счастья осталось немного, быть может, один поворот».

Нехитрое дорожное хозяйство было у поэта. Недаром он сравнивает себя с пчелами, летящими после грозы на посветлевшие луга.

Так и я…
Чем я хуже других?
Вещи собраны все у меня.
Вещи? Нет! Не багаж–саквояж,
Не громоздкий пузан–чемодан,
Лишь тетрадка да карандаш,
Да нечитанный друга роман,
Да еловая палка в руке,
Чтоб размашистей было идти.
В дальний путь я иду налегке,
Пожелайте же счастья в пути.

С болью вспоминаешь, что эти стихи написаны незадолго до смерти поэта. Сердце у него всегда было чутким, ранимым. Рассказывают, когда одна газета обрушилась на него незаслуженно резко, он сам пришел в редакцию. Нет, он не кричал, не возмущался, а молча расстегнул ворот, как бы ставший сразу тесным, и негромко сказал:

— За что же вы меня так, братцы?..

В этом весь Фатьянов. Именно у него вырвались эти строки:

Если б я родился не в России,
Что бы в жизни делал?
Как бы жил?
Как бы путь нелегкий я осилил?
И, наверно б, песен не сложил.

Конечно, были у Алексея Фатьянова и отдельные неудачи, и срывы. Но вот ушел человек из жизни и сколько чудесных песен оставил своим сверстникам. Думается, лучшие из них переживут и наше поколение.

Забылся, стерся из памяти фильм «Весна на Заречной улице». А песня живет, песня о большой человеческой судьбе.

Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
На свете много улиц славных,
Но не сменяю адрес я.
В моей судьбе ты стала главной,
Родная улица моя!

Родным домом Фатьянова был Краснознаменный ансамбль имени Александрова, где артист стал поэтом.

«Мы люди большого полета!» — еще в сорок седьмом году гордо заявил поэт–песенник вместе с другом Василием Сидоровым, словно предвидя орлиное племя нынешних космонавтов.

До самой далекой планеты
Не так уж, друзья, далеко.

РАЗНОЦВЕТЬЕ

Есть у Полторацкого, поэта и прозаика, своя любовь — Мещерская сторона, где народная сказка сплелась с настоящей жизнью, а от названия каждой речки и речушки веет родниковой поэзией.

Если хочешь знать
Есть ли чудо где,
Я скажу тебе:
Есть
На Судогде.
…Серебро ковшом
В нее звезды льют,
Соловьи
Ее перед песней пьют.

Каждая речка Мещеры имеет свой нрав, свой характер. В босое детство зовет поэта речка Гусь, с девчонкой–подростком схожа речушка–невеличка Поля, как в сказке, заплуталась в болоте речка Бужа. С самой жизнью схожа речка Стружань.

— Я тебе отдохнуть не дам.
Потеряешь ты счет годам
И хлебнешь маеты земной.
Не боишься —
Иди за мной.

«Стружань» — так назвал поэт книгу избранных стихотворений. Нет, романтика Виктора Полторацкого не заслоняет реальной жизни от читателя, а наоборот, помогает преодолеть ее нелегкие подъемы. Правдиво звучат строки о людях, преобразующих Мещеру, которые здесь столько пролили соленого пота, «что стала соленой в калужах вода».

Названия книг поэта «Доброе утро», «Вишня цветет», «Река жизни» выражают существо его душевной лирики. В книге «Разноцветье» есть раздел «От Селигера до Байкала». Поэт много ездил по России, часто бывал за границей. Не в пример некоторым своим собратьям по перу он не только пишет о том, что видел, но и всерьез размышляет об увиденном. Любуясь детищем русских умельцев — старинной церковью на Нерли или знаменитым Успенским собором во Владимире, поэт всматривается и в сегодняшний день наших помолодевших многовековых городов и сел, из которых «вся Россия видна».

В современном Париже Виктор Полторацкий зорко подмечает разницу между комфортабельным центром и рабочими окраинами:

В две строчки уложу я эту повесть:
Костюм дешевле,
но дороже совесть!

Закрывая интересную, звонкую книгу стихов «Стружат», я подумал: а почему наши издательства не выпускают с некоторых пор однотомники стихов и прозы одного автора? Почему эта

традиция почти забыта? В самом деле. С удовольствием читаешь рядом стихи и прозу Горького, Бунина, Сергеева–Ценского. В свое время такие однотомники издали Николай Тихонов и Ольга Берггольц. Не знаю, как книготорговцы, а читатели были бы рады.

В конце концов, книги выходят для читателей. Недавно безвременно ушел из жизни талантливый поэт и прозаик Дмитрий Блынский. Почему бы его стихи и новеллы не издать под одной обложкой?

Не надо забывать хорошие традиции. Уверен: скоро мы прочтем в одной книге стихи, рассказы и очерки Виктора Полторацкого, литератора многогранного, острого, думающего. Много сил в военные и мирные годы отдал он «Известиям» и боевой газете «Литература и жизнь», которую редактировал.

В книге «Разноцветье» меня заинтересовали стихи с посвящениями. Это немаловажно, кому поэт посвящает свои произведения. Скажи, кто твои друзья, и я тебе скажу, кто ты. Вот «Приглашение», посвященное Александру Прокофьеву:

Красоте сиять неугасимо!
А хотите знать, где красота?
Приезжайте летом под Касимов,
В наши благодатные места.
…Сладко пахнет дикая гвоздика,
Сохнет серебристый ковылек.
И такая зреет земляника,
Что хоть душу отдавай в залог.
А какое в пойме разнотравье!
Воздух — первозданной чистоты.
Приезжайте любоваться явью
Настоящей русской красоты.

А вот стихотворение совсем иного плана — «Старая история», посвященная критику Михаилу Лобанову. Рассказывается здесь о седом старике–алхимике из города Аугсбург. Автору по душе одержимость старого мечтателя, его вызов «трезвому» бюргерскому расчету, его устремленность в будущее. Невольно вспоминаешь стихи Беранже о том, что «если бы завтра земли нашей путь осветить наше солнце забыло, завтра ж целый бы мир осветила мысль безумца какого–нибудь…» И Виктор Полторацкий видит у своего героя «безумие, горящее в глазах», но автор не выскажет «хулы и осуждения». Без поисков не было бы и открытий.

В свой темный век
от солнца луч искал
Больной и старый,
он бессмертьем бредил.
Писал доносы на него фискал,
Над ним смеялись сытые соседи.
А он искал.
И, тяжело дыша,
Тянул к огню синеющие руки
И плакал, задыхаясь.
И душа
Была полна
отравой сладкой муки.

Невольно вспоминаешь слова русского писателя Ивана Гончарова о том, что во все эпохи будут свои Чацкие. Можно сказать, что во все эпохи будут и свои донкихоты, благородные романтики, мечтающие подарить людям счастье.

Виктор Полторацкий видит душевную красоту и безымянных русских зодчих, построивших чудесный Успенский сбор во Владимире, и нашей современницы Татьяны Морозовой, ставшей объездчицей вместо погибшего на фронте мужа. Поэту удалось нарисовать незабываемый портрет «мещерской Дианы»:

Статна, маиста, на ногу легка,
Как яблоко, крепка могучим телом.
Царь–баба.
А живет без мужика,
Двадцатый год уже, как овдовела…
В бушлате старом, что оставил
Он, с Его ружьем,
ремень стянув потуже,
Пошла в обход блюсти лесной кордон.
Мужское дело?
Так она ж — за мужа…
Вокруг сторожки
мир и тишина.
И знают только старые березы,
Как больно ей, как безутешны слезы,
Как горько–горько памятна война.

Это портрет, как бы написанный маслом. В нем явственно ощутимы жесткие мазки. Автор его показал себя незаурядным психологом, знатоком человеческой души. А то, что он тонко чувствует природу, придало и портрету особое обаяние.

Земляк Виктора Полторацкого критик и литературовед Евгений Осетров считает его мастером акварели. Осетров так и назвал свою статью «Свет акварельных строк». Что ж, акварели у Полторацкого действительно есть.

Хотя бы стихи о родимых мещерских речках и речушках, о которых мы говорили выше. Однако это далеко не весь Полторацкий. Ведь и «Старая история», и «Зодчие» тоже как бы написаны маслом. Так пусть Виктор Полторацкий пишет и мягкие акварели, и суровые полотна.

СКВОЗЬ ТЕРНИИ — К ЗВЕЗДАМ

В родном городе Максима Горького строили автогигант. На всю стройку, а потом на всю страну гремела слава о комсомольской бригаде Виктора Сорокина.

И вот в такую–то бригаду просился худенький шестнадцатилетний паренек, сбежавший из Московского художественного училища. Он хотел строить социализм своими руками.

— Нам нужны сильные парни! — усмехались сорокинцы.

— Вот подними двухпудовую гирю — тогда примем! — в шутку предложил кто–то из них.

Паренек наклонился к гире, весь побагровел от натуги и наконец выжал гирю правой рукой.

— А левой?

Левой гирю он выжать не смог, но его все же приняли в бригаду. Оказалось, что юный москвич не только рисует, но и сочиняет стихи. Вскоре он стал автором «Марша сорокинцев»:

И пусть старанье месится,
Как волжский ледоход.
Дадим в пятнадцать месяцев
Республике завод!

Пели строители автозавода эту песню на мотив «Марша

Буденного». А две последние строки были вышиты золотом на бархате переходящего Красного знамени. Автора «Марша сорокинцев» звали Германом Нагаевым.

Недавно я видел телефильм «Родом из комсомола», где воскрешены ударные будни юных строителей горьковского автозавода. Начало трудового пути Германа Нагаева во многом перекликается с началом пути Бориса Ручьева. Вот они — ударники первых пятилеток, призванные Горьким в литературу.

Вряд ли Герман Данилович думал, что и сам он со временем станет не только певцом рабочей темы, но и автором исторических романов. Герман Нагаев никогда не противопоставлял историю современности, в его повестях и романах они тесно переплетены.

Почти все свои повести и романы Герман Нагаев посвятил людям рабочего класса. Поэтому не случайно писателя привлек незабываемый образ русского умельца и бесстрашного революционера Степана Халтурина, отдавшего свою жизнь за рабочее дело, за народную свободу-С любовью и мягким лиризмом рисует автор вятские луга и леса, где вырос будущий богатырь, которого народные искусники обучили столярному мастерству, а ссыльные революционеры — горячей любви к матери-России, беспримерному мужеству.

Писателю удалось в повести «Казнен неопознанным» показать духовный рост юного Степана Халтурина, его общительный характер, который помог ему сблизиться с друзъями–рабочими. Обостренное чувство справедливости заставило подростка Степу отважно вступиться за вдову–соседку, у которой царские холуи отбирали последнюю корову. Уже революционером–подпольщиком, рискуя быть схваченным полицией, Степан защищает девушку–работницу, оскорбленную наглым мастером. Потом незнакомка становится его первой любовью, революционеркой Анной Якимовой, чистый, поэтичный образ которой светил Халтурину всю жизнь.

Юный Степан очень доверчив. Умный, смелый, ненасытно жаждущий знаний, он боготворит каждого ссыльного и легко попадается на удочку авантюриста, выманившего у него заграничный паспорт и деньги. С годами приходит нелегкий опыт конспиратора–революционера. Еще вчера в родном городке Халтурин брал на веру все, что слышал в кружках революцио–неров–народников, но вот, познакомившись с борьбой московских и питерских пролетариев, он вместе со своими соратниками–рабочими Виктором Обнорским и Петром Моисеенко организует «Северный союз русских рабочих».

Запоминаются сцены демонстрации рабочих и студентов у

Казанского собора и похороны рабочих, жертв хозяйского произвола, когда организованные пролетарии дают отпор царской полиции. Автору удалось убедительно показать, как террористические акты народников усиливали разгул реакции и по существу способствовали разгрому «Северного союза русских рабочих». Все соратники Халтурина оказались в застенках, и он был вынужден искать контактов с народнической партией «Земля и воля», затем расколовшейся на «Черный передел» и «Народную волю».

К тому времени, благодаря превосходной конспирации, вожаку рабочих, которого искала вся царская полиция, удалось проживать под одной крышей с царем, в Зимнем дворце, где Степан работал столяром–краснодеревцем. Народовольцы, давно приговорившие Александра II к смертной казни, не могли не воспользоваться этим обстоятельством. Халтурин взорвал динамитной миной столовую самодержца, на совести которого было много загубленных жизней революционеров. Только благодаря нелепой случайности царь остался жив. Зато халтуринский взрыв прогремел на всю Россию.

Писатель тонко показывает прозрение революционера–рабочего, когда он позже узнает, что смерть одного тирана возвела на престол другого, еще более жестокого. В неравной борьбе погибли лучшие борцы–народовольцы…

Удивительно яркую жизнь прожил молодой Халтурин. Много замечательных людей было его друзьями. Со страниц повести, как живые, встают рабочие–революционеры Виктор Обнорский и Петр Моисеенко, герои революционной борьбы Андрей Желябов, Александр Квятковский, Сергей Степняк–Кравчинский, Николай Морозов, Вера Фигнер, Анна Якимова и другие. Не раз встречался герой повести «Казнен неопознанным» и с Георгием Плехановым, возглавившим «Черный передел», а затем вовсе порвавшим с народничеством и пришедшим к марксизму-Степан Халтурин, испытанный вожак передовых русских рабочих и в то же время герой «Народной воли», — это живой мост от одного поколения революционеров к другому, от кучки героев к будущей пролетарской партии, которую создал в России В. И. Ленин. Владимир Ильич писал: «…Среди деятелей той эпохи виднейшее место занимают рабочие Петр Алексеев, Степан Халтурин… Но в общем потоке народничества пролетарски–де–мократическая струя не могла выделиться. Выделение ее стало возможно лишь после того, как идейно определилось направление русского марксизма…» В кремлевском кабинете Ильича рядом с портретом Карла Маркса висит барельеф Степана Халтурина, удивительного вятского самородка.

Новая повесть Германа Нагаева, отмеченная «Правдой», — хороший литературный памятник рабочему–борцу. С таким же интересом я прочел и роман о Николае Кибальчиче, вышедший в Воениздате.

«Казнен неопознанным», «Вдохновение перед казнью» — это, безусловно, умышленная перекличка названий. Нагаев рисует своих героев в самые напряженные, в самые решающие минуты, когда они, вдумываясь в смысл бытия, итожат свои короткие и прекрасные жизни. Глухая одиночная камера Петропавловской крепости. Николай Кибальчич, «техник» «Народной воли», недавно изготовлявший бомбы, которые народовольцы метнули в карету царя, в заключении создает проект первого в мире реактивного летательного аппарата.

Роман Германа Нагаева «Мечты и искания», опубликованный в журнале «Нева», — второе звено из задуманной автором серии романов о звездных мечтателях и искателях. Оба романа писатель искусно связал судьбой Сергея Стрешнева, соученика Николая Кибальчича, не побоявшегося в день казни народовольцев крикнуть другу последнее прости и сосланному за это в Калужскую губернию. Здесь–то в захолустном городке Боровске Стрешнев и встретился с необычным учителем из уездного училища, будущим великим ученым и изобретателем Константином Циолковским.

Автору удалось создать образ гениального самородка, одержимого мечтателя и трудолюба, мужественно преодолевшего немало препятствий на пути к звездам: собственную глухоту, беспросветную нужду, невежество и тупость царских чиновников, похоронивших не один замечательный проект, в том числе и летательный аппарат Кибальчича.

Долг писателя рассказать о замечательных учениках провидца из Калуги.

ТАНКИСТ

Это было в первые послевоенные годы. Редакция газеты «Ленинское знамя» созвала со всего Киевского военного округа молодых писателей. С нами беседовали о литературном мастерстве украинский поэт Иван Гончаренко и русский поэт Борис Палийчук. Оба в офицерских кителях с погонами. Потом пришел Виктор Кондратенко, недавно снявший офицерскую форму. Беседы были непринужденные, живые.

В особенности мне запомнился рассказ Кондратенко о его встречах с Маяковским и другими поэтами. Маяковский любил приезжать в пролетарский Харьков. По улицам города его

сопровождала восторженная молодежь. Однажды шумная ватага постучалась в номер гостиницы, где отдыхал после выступления Владимир Владимирович. Усталый поэт лежал на застеленной кровати и сосредоточенно крутил в воздухе цепочку от часов то в одну, то в другую сторону. Покосился на чубатых хлопцев, застывших у входа:

— Стихов слушать не буду.

— Так мы не читать! — воскликнул смелый Сергей Борзенко.

— А кто вы такие?

— Мы из рабочей поэтической студии.

— А! Тогда иное дело! — Взгляд Маяковского потеплел. — Чего приуныли?

— Хотим сегодня вас послушать в летнем театре Профсоюзного сада. А народу — тьма. Проведите!

Владимир Владимирович размашисто написал записку.

Застенчивый Кондратенко восторженно глядел на московского гостя. Вечером Виктор был среди тех юных маяковцев, которые вскочили в музыкальной раковине по команде поэтического полководца, демонстрируя перед разъяренными обывателями, что и в Харькове у горлана–главаря есть войско.

Как–то друзья привели Виктора в диковинный купеческий дом на улице Конторские ряды. Окна полумесяцем. На каждой двери — обычная конторская вывеска. Лишь на одной красовалась обложка журнала «Красное слово». Секретарем редакции работал удивительный человек — Радутин, лично знавший Маяковского и Велемира Хлебникова. Последний добродушно сказал Радугину в глаза:

— Ты загадка природы. Эрудит и графоман в одном лице.

Радугин не обиделся. Он исправно носил передачи больному Хлебникову и любил повторять чудесные стихи Велемира:

И черно–синий скворушка
На солнце чистит перышко!

Однажды неисправимый энтузиаст Радугин затащил упирающегося Кондратенко в редакцию, где сидел грузный человек с черной прядкой, спадающей на лоб. Оробевший Виктор стал читать свои стихи. Гость внимательно слушал и кивал головой. Резюме было кратким:

— Два проходных, а третье — печатать! Какие поэтические книжки вы читали?

— «Юго–Запад»… — пробормотал Виктор.

— А что вам больше всего понравилось?

— Все! — выпалил Кондратенко. — Всю наизусть знаю.

Гость недоверчиво глянул ему в глаза:

— А ну давайте…

Виктор, осмелев, стал декламировать «Думу про Опанаса». Незнакомец, закрыв глаза, кивал в такт большой головой. Напрасно Радугин подмигивал Кондратенко — увлекшись, тот ничего не видел. Незнакомец пожал крепко руку юному поэту.

Выходя из редакции, Виктор шепнул Радугину:

— А кому я читал?

— Багрицкому.

Виктор так испугался, что опомнился только на площади Розы Люксембург. Еле отдышался.

Вместе с Борзенко они ходили к Павлу Тычине в редакцию журнала «Червонный шлях». Приветливый Павел Григорьевич в белоснежной сорочке, с золотым пенсне столько говорил о музыкальности стиха, что Виктор принял его за композитора.

Вскоре Виктор Кондратенко стал курсантом танкового училища. Молодой поэт — танкист Кондратенко был переведен в военные журналисты. Редакция газеты «Красная Армия» на много лет стала его родным домом. В тридцать девятом году он вместе с Александром Корнейчуком, Андреем Малышко, Василием Лебедевым–Кумачом, Сергеем Михалковым и другими участвовал в освободительном походе в Западную Украину.

Едва глянул июньский гром в сорок первом — в редакцию газеты «Красная Армия» прибыли Александр Твардовский, Сергей Вашенцев и другие московские литераторы. На груди тридцатилетнего Твардовского алели орден Ленина и орден Красной Звезды. Не у каждого командарма в то время были такие высокие награды. Александр Трифонович вместе с Виктором Кондратенко писал стихи о подвигах деда Данилы–партизана.

Гитлеровцы были уже на подступах к Киеву. Гудели земля и небо. По ночам прожекторы, как ножницы, резали темень. А однажды днем на углу улицы Ленина и Владимирской Твардовский и Кондратенко услышали:

— Саша!.. Саша!..

На тротуаре стоял улыбающийся человек в гимнастерке с пластмассовыми пуговками. Полувоенный, а на груди — орден. Твардовский бросился к нему, обнял, а потом поманил Кондратенко:

— Виктор! Знакомься: Аркадий Гайдар.

Они были чем–то очень схожи, Александр Твардовский и Аркадий Гайдар. Как братья. Круглолицые, голубоглазые,

могучие, щедрые…

Спецкор «Комсомолки» Гайдар заказал Кондратенко очерк «Киев сегодня». Вскоре его опубликовали. Это был очерк о мужественном спокойствии людей прифронтового города.

Твардовский и Кондратенко потом оказались на южном крыле нашей обороны, в Каневе. Наши отчаянные бойцы под командованием офицера связи Беликова захватили в плен первых двадцать восемь гитлеровских минометчиков. Под самой Тарасовой горой. На допросе были поэты из «Красной Армии».

— Спросите вот этого в очках, — попросил Твардовский переводчика, — Шиллера он знает?

Немолодой немец, оказавшийся бухгалтером, оживился:

— О! Да, да! Его булочная рядом с моим домом.

Александр Трифонович махнул рукой. Все было ясно. Вот от кого отстаивает родную землю Василий Теркин.

В поэзии Виктор Кондратенко давно заявил о себе как о певце трудового и ратного подвига. И прозе поэта присущи лучшие качества его стихов: внутренний драматизм, лаконизм, масштабность, задушевность. В роман «Курская дуга», выпущенный Воениздатом, вложен большой жизненный опыт фронтового поэта и журналиста, участника обороны Сталинграда и битвы под Курском. Автор хорошо изучил предпосылки и последствия нашей победы в великой решающей битве на Курской дуге.

Главный герой романа поэт военной газеты «Красное знамя» Дмитрий Солонько, смелый, думающий, обаятельный человек, и его друзья — журналисты стремятся на самые опасные участки фронта. Это помогло писателю широко, всесторонне нарисовать небывалую битву, где с той и с другой стороны столкнулись в смертельном единоборстве сотни мощных танков. В конце концов побеждала не тяжелая броня, а сердца, беспредельно преданные Родине.

С большой любовью выписан образ одного из выдающихся советских полководцев, генерала Николая Ватутина, чудесного русского человека с горячей, отзывчивой душой. Трогает его отеческая забота о наших солдатах, изумляет его бесстрашие. Ради нашей победы он пожертвовал жизнью.

В своем предисловии к книге Александр Корнейчук писал, что «…роман Виктора Кондратенко «Курская дуга» завоюет сердца читателей. Таки& книги всегда ценны и очень нужны для воспитания молодого поколения». Теперь можно сказать: Корнейчук не ошибся. Талантливый роман тепло встречен критикой и читателями. Его знают не только у нас, но и в странах народной демократии. Да, это один из лучших романов о Курской

битве. Недавно он переиздан.

А к читателю уже пришел новый роман Виктора Кондратенко «Полюшко–поле», выпущенный Воениздатом. Это спрессованная, образная проза поэта, хорошо знающего военную науку. И здесь чувствуется личный фронтовой опыт плюс глубокое изучение архивных документов и мемуаров о второй мировой войне. Автору удалось экономно и ярко нарисовать оба противоборствующих лагеря.

В новом романе Кондратенко нет ни одного вымышленного образа. Генерал Мажирин и комиссар Коновалов, как и некоторые другие герои, живы и ныне. В центре книги — героические защитники Киева во главе с командующим фронтом генералом Кирпоносом.

Писатель рассказывает о нашем замечательном контрударе, приостановившем в первые дни войны наступление гитлеровцев, о подвигах воинов наших передовых частей, мужественно оборонявших столицу Украины.

Только угроза окружения вынудила генерала Кирпоноса и его командиров и бойцов оставить Киев. Вспомнив легендарные годы гражданской, соратник Щорса и Боженко с винтовкой в руках пытается вывести товарищей из окружения и гибнет в жестоком бою. Нацисты мечтают схватить живым начальника штаба фронта генерала Тупикова, который недавно был советским атташе в Германии. Но и этот патриот предпочитает плену пулю. Бросив гестаповцам гневные слова презрения, гибнет под нацистскими штыками дивизионный комиссар Евгений Рыков.

Удивительные подвиги совершает летчик Сергей Синокоп. В первый день войны он пошел на таран и отрубил фашистскому бомбардировщику хвост. И вот он уже летит на разведку над оккупированным Киевом, где остались отец и мать. Гнев и боль кипят в его душе. На обратном пути он сбил наглый «мессер», но на родном аэродроме его встретил огонь немецких танков. И Сергей снова в небе, снова сражается с «мессерами». Прыжок из горящего самолета на парашюте. Чудесное спасение под вражескими пулями. Схватки с нацистами на земле. К своим бесстрашный летчик выбрался с двумя немецкими автоматами.

Нет, это не вымысел романиста, а настоящая героическая правда. Сергей Синокоп остался в дивизии генерала Мажирина, последней оборонявшей Киев. С горечью отдает генерал приказ о взрыве чудесных днепровских мостов, которые пытались захватить гитлеровцы. Сквозь сто смертей с честью выводит он своих товарищей из окружения.

Рано фашистские захватчики торжествовали победу. Многие вырвавшиеся из окружения воины снова стали в строй. Ветераны

горели священным гневом к нацизму. Гитлеровские войска получили сокрушительный удар под Москвой.

Книга Виктора Кондратенко насыщена многими ярки–ми драматическими эпизодами. Жизнь предоставила автору такой замечательный материал, что оказалось: не надо ничего выдумывать. Досадно, что живой язык книги кое–где засорен газетными штампами.

Роман «Полюшко–поле», хотя и написан позже, по существу является своеобразной прелюдией к роману «Курская дуга», где показано, как наши войска сломали стальной хребет фашистской армии.

Замечательную встречу организовали Белгородский обком партии и белгородское отделение Союза писателей. Они пригласили к себе всех авторов книг о великой битве на Курской дуге. Среди гостей был и Виктор Кондратенко. Он долго, сняв шляпу, стоял в моем родном городе у Вечного огня на площади Революции. А потом на легендарном Прохоровском поле Виктор Андреевич нашел памятную высотку, где знойным летом сорок третьего его бывший отделенный по танковому училищу, капитан Скрипкин сжег десять нацистских танков и сложил свою геройскую голову. Вечная память тебе, товарищ Скрипкин, суровый донецкий шахтер!

Зреющая, наливающаяся пшеница шумела теперь на неоглядном Прохоровском поле. Сколько дорогих сердцу, родных, бесстрашных голов полегло на этом поле, которое тогда задыхалось от огня, чада и пыли!..

Виктор Кондратенко пишет книги о нашей армии, о том, что сам пережил и повидал на войне. Когда его семья в ночь накануне военного парада просыпается от грохота танков, он спокойно спит. Он привык спать и в танке. Всю жизнь он чувствует себя танкистом.

ЗАПАС ОГНЯ

Мы познакомились с ним на шумном съезде писателей. Я был тогда еще в старшинских погонах. Смотрю: ко мне подходит бритоголовый человек и начинает разговаривать со мной, как будто бы мы знакомы, по крайней мере, десять лет.

Вот эта непосредственность есть и в его стихах. Когда я открываю одну из поэтических книжек Александра Кравцова, перед глазами проплывает полынная донецкая степь, измеренная широко шагающими электромачтами, шахтерские поселки в вишневых садах, поля золотых подсолнухов, голубеющие терриконы. А главное — люди, простые, рабочие люди, земляки

поэта. С виду они не очень–то приметны, как донецкие горы. Но какие у этих невысоких гор романтические названия! Бесстрашная, Грозная, Красные зори, Гора Незабудка, Партизанская… Так их назвали люди, защищавшие родную землю.

Детство поэта, сына старого большевика, известного всему Донбассу, совпало с яростными годами гражданской войны. Поэтому так ярко, почти физически зримо предстают они в стихах и поэмах Кравцова. Высокий порыв красных бойцов осилил нечеловеческие трудности: блокаду четырнадцати держав, не только вооружавших белых, но и самих протянувших когтистые лапы к красной России, победил разруху, тиф, голод…

Наш дом был пуст:
Ни корки, ни иголки,
Один лишь стол
Да старая кровать.
Рядно.
И то я отдал в гроб сестренке,
На голых досках
Ночь привык встречать.
…Да еще лебеда:
Во дворе лебеда,
В чугунке лебеда,
На столе лебеда,
Нищеты одичалой скупая еда.

С особой любовью вспоминает поэт о матери, душевной русской женщине, пекущей красным конникам лепешки, впрягающейся в салазки, чтобы возить в свой дом тифозных бойцов. Образ матери вырастает до большого обобщения:

Хочу, чтобы люди назвали
Улицу или площадь
Именем многострадальных
Все вынесших Матерей.

Поэт прекрасно знает прошлое и настоящее донецких шахтеров и металлургов и умеет показать неразрывную связь

между вчерашними и сегодняшними делами нашего рабочего класса, преемственность его революционных традиций. Не могу не привести его запева из цикла «Каменный Брод»:

Опять я слышу: «Позабудь, что было,
На прошлом не тупи резца».
Но кровь моя такая в жилах,
Как у буденновца–отца,
И в паспорте рожденья дата,
Идущая от трудных дней.
И я несу в себе раскаты
Боев
и грохот площадей.

О книгах Александра Кравцова очень тепло отзывался Климент Ефремович Ворошилов, по–отечески следивший за творческим ростом поэта, сына своего боевого друга. Легендарный нарком писал поэту: «Ваши стихи и поэмы получили признание читателей, а Ваше имя стало известно не только в дорогих и близких Вашему и моему сердцу Донбассе и на Харьковщине…»

Хорошо, что поэт часто бывает в своем родном Ворошиловграде, поддерживает тесную связь с земляками. Бывало, поедет Александр Кравцов в Донбасс, возвращается оттуда взбудораженный, переполненный впечатлениями, и берется за перо.

Так он написал лирическую поэму «Анна». Ему удалось передать отзывчивость, человечность простой труженицы, ее самоотверженность, благородство.

Анна, потеряв в молодости родителей, заменила младшей сестренке Любе мать. Получив как ударница свою первую премию — отрез на платье — Анна, не задумываясь, отдает его сестре, а в трудные годы — и последний кусок хлеба. Все тяготы старшая сестра взвалила на себя, и из Любы выросла эгоистка, презирающая труд. Прозревшая Анна уходит от расчетливой сестры–мещанки, становится няней в детском доме. Там–то она и находит свою настоящую большую семью. Эта сильная и добрая женщина, как мать, заботится о тех, кому жить при коммунизме.

Поэма написана темпераментно и лаконично, в ней много точных, певучих строф, лирических пейзажей, оттеняющих чувства главной героини. Хороша сцена прощания Анны с молодым скворцом, которого она спасла, а теперь провожает в

дальний полет.

А даль звенит. Шумит Донец.
Как совесть, чист зенит.
А между тем уже птенец
С ладони ввысь глядит.

Все поэмы Александра Кравцова остроконфликтны, но, пожалуй, самая глубокая из них «В метель», где изображены огонь комсомольской юности и удушливое тленье лампады, влюбленный в девушку–сироту Настю строитель Василий и стяжатели–церковники Оградовы, искалечившие жизнь его любимой, мечтавшие сделать из нее в наше время забитую батрачку. Вся поэма пронизана захватывающим лиризмом:

А в сердце порою
Такие метели,
Что выпусти —
Землю собой заметут.

Впечатляюще, зловещими красками рисует поэт религиозную фанатичку, колдующую над умирающей девушкой, которую наконец нашел любимый. Но Настя нб умрет. Любовь — это жизнь.

Духом борьбы проникнута вся поэзия Александра Кравцова. И природа для него — не идиллические розовые пейзажи. Взять хотя бы отличное стихотворение «Гнездо». Еще мальчишкой поэт нашел в краснотале у Донца неведомое яйцо и положил в птичье гнездо у стены родного дома.

Потом к гнезду
Я вновь пришел с зарей, —
Птенцы лежали неподвижной горкой,
А через них, сверкая чешуей,
Змееныш полз и всматривался зорко.
Он промелькнул среди булыжных груд,
И мне осталось памятным уроком,
Что змеи яйца пестрые кладут,

Похожие на птичьи лишь до срока.

Конечно, не все стихи и поэмы Кравцова написаны так ярко и самобытно. В некоторых из них чувствуется влияние других поэтов, не всегда плодотворное. Но в лучших своих вещах он полным голосом говорит от имени поколения сыновей большевиков.

Облетели листья. Значит, что–то
Отлетело, умерло и в нас?
Только мы не листья с позолотой,
На сто зим огня у нас запас.

ЗА НЕВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

Рабочий парень Георгий Некрасов был другом и учеником Бориса Корнилова.

— Не только Борису я обязан многим, — говорит мне сегодня поэт. — И Виссариону Саянову, и Александру Прокофьеву, и Борису Лихареву. Они вводили меня в литературу. И за это я их глубоко уважаю и чту.

Это не просто красное словцо. В книге поэта я нахожу посвящения своим учителям. Из стихов Виссариона Саянова взят эпиграф: «Ах, ребята, ах, друзья родные!» Он, как нельзя, более уместен. Речь идет о заводских друзьях, с которыми после долгой разлуки встретился поэт.

Виссарион Саянов пристально следил за поэтическим ростом парня с Невской заставы, читал его книги, советовал, критиковал, хвалил. «Открытое сердце» — так называлась книга, которую Саянов читал уже тяжело больным. И все же он нашел в себе силы написать младшему другу небольшое, но очень душевное письмецо: «Дорогой Георгий Александрович, спасибо за книгу. Прочел ее внимательно. Сужден ей настоящий успех у критики, читателей, чему я сердечно рад. Будьте здоровы и счастливы в новом году! Ваш В. Саянов».

С благословения Виссариона Саянова Георгий Некрасов приобщился к каракалпакской поэзии, стал ее переводить. Поездки в эту братскую республику дали живой материал для написания большого цикла стихов о Средней Азии. Позже эти стихи вышли отдельным сборником «Под говор арыка». Не раз

ленинградский поэт вспомнил добрым словом своего наставника.

Александру Прокофьеву Некрасов посвятил проникновенные стихи, где говорится о «всетворящей силе» слов старшего товарища.

Словно Ладоги волны, вскипая,
Белой пеной покрыли сады…
А березка, сроднившись с тобою,
Шепчет ласково:
Чо да чо…
У нее поднывает порою
Пулей тронутое плечо.
Так же ноют и наши раны
И любая из них свята.

Стихи Георгия Некрасова привлекают своей простотой, естественностью, жизненностью. Они не только своим содержанием, но и формой спорят с «закрученностью» иных модных поэтов, которые изощряются в выкрутасах, ибо им нечего сказать.

В стихах Г. Некрасова живут рабочие парни, ровесники поэта. И не какие–нибудь абстрактные, а парни с Невской заставы, которые в Октябре были мальчишками, а в Отечественную не сдали колыбель революции гитлеровцам.

И люди, не едавшие досыта,
Ходившие недавно за сохой.
Как звезды, вырывались на орбиты,
И звезды меркли перед их судьбой.

Лучше всего, на мой взгляд, поэту даются стихи, где конкретная жизнь и философское отношение к ней слиты в единое целое. Эти обобщенные жизненные сцены по–человечески волнуют. Георгий Некрасов рисует эпоху, в которую мужало октябрьское поколение. Бытовая деталь часто приобретает у него символическое значение. Вот «Слово о вобле»:

По жизни вдоволь покружив,

Не брошу слов на ветер:
Быть может, потому и жив,
Что вобла есть на свете.
Когда четырнадцать держав
Палили в нас из пушек
И голод, крошки подобрав,
Казалось, всех иссушит,
Явилась вобла,
И она
За хлеб нам шла порою,
Хотя была и солона
И, как доска, сухою.

В стихотворении «Турист» автор вспоминает одного из тех, которые «разъезжали в «линкольнах», румяные, как напоказ, и были премного довольны, что бедность царила у нас». Вспоминает наших матерей, с опущенными глазами стоявших в очереди, на которую наводил свой объектив заморский гость. Но теперь такого гостя, заметно постаревшего, почему–то не радуют «новых проспектов просторы».

Мне понятна гордость поэта за свое поколение:

Юность, юность огневая!
Галифе, фуражка,
Гимнастерка боевая,
Ворот нараспашку…
Жили проще, но не просто,
Жили, как в походе…

Эти и другие идущие от сердца стихи не могут вас оставить равнодушными. Главное в лирике Георгия Некрасова — это верность заветам отцов, верность легендарной Невской заставе, сделавшей его поэтом, верность своему мужественному поколению, которое было требовательно прежде всего к себе:

Нашу юную тревог
Я судить не в состоянье:
Было все–таки в ней много
Чувства, мужества, исканья.

Если б мы росли другими,
Может быть, и не сумели
Стать, как батьки, боевыми
И в спецовке и в шинели.

У меня в руках новая книга Георгия Некрасова «Вторая половина лета», где много зрелых раздумий о пройденных дорогах. Поэт, немало переживший и повидавший на своем веку, призывает современников совмещать требовательность с нуткостью. Его обобщения выстраданы сердцем.

Служить, конечно, правде надо,
Но помни:
Правда для людей.

«ОКТЯБРЕНОК»

Виктор Александров писал лирические стихи об Октябре. До войны учился в Литературном институте. Работал метростроевцем. Родился он 7 ноября 1917 года по новому стилю. Ровесник Октября, «октябренок», как говорит он сам.

Помню, с каким подъемом поэт в офицерской гимнастерке читал нам поэму о Виссарионе Белинском.

С годами Александров перешел на прозу. Первая его «Повесть о солдате» напечатана в библиотечке «Советского воина». На обложке этой скромной книжки изображен солдат, держащий на руках раненого друга. На гимнастерках видны багровые отблески огня. Однако ошибается тот, кто думает, что эта книга о войне. Оказывается, и в дни мирной солдатской учебы есть место для подвига.

Во второй повести «Выстрелы в степи» действие развертывается захватывающе–стремительно. Уже с первых страниц увлеченно следишь за судьбой героев. Особенно запоминается солдат Максим Ткачук, могучий сибиряк с открытой душой. Это не тот лубочный солдат, речь которого представляет своеобразную смесь псевдонародного с военно–телеграфным языком. Максим — живой человек с сильным, неуравновешенным характером. Он горячо любит и ненавидит, тяжело переживает неудачи.

Мастерски написан эпизод внеочередного выпуска газеты, посвященной подвигу Ткачука, задержавшего диверсанта.

Александров не злоупотребляет техническими описаниями, не перенасыщает язык типографскими терминами. Чувствуется динамика, психологическая напряженность. Сказалось, что автор и сам не один год редактировал солдатскую газету.

Если образы советских воинов свежи, самобытны, то образы врагов и в особенности буфетчика Душняка, связанного с иностранной разведкой, несколько упрощены. В жизни они гораздо хитрее и изворотливее.

Максим Ткачук, познавший не только радость победы, но горечь утрат, с честью выдержал нелегкий экзамен жизни. И, видно, главная удача писателя в том, что его герои живые люди, а не картонные манекены. А когда есть живые люди, которых любит или ненавидит читатель, острый сюжет уже не самоцель…

Виктору Александрову, более сотни раз распускавшему в небе белый купол парашюта, как говорится, сам бог велел написать книгу о наших воздушных десантниках. Я обрадовался, когда узнал, что мой друг по ночам (днем — армейская служба) пишет повесть «Под белыми куполами».

Много своего личного, пережитого отдал писатель герою повести Дмитрию Высотину. Это как бы младший брат автора, мечтательный, непосредственный. Случилось так, что выпускник военного училища Димка Высотин попал в десантную часть под командование комбата Долматова, мужа своей первой любви — парашютистки Веры. Становление характера Высотина, ровесника наших космонавтов, — вот о чем эта повесть. Из вчерашнего щеголеватого курсанта — «стиляги» вырастает настоящий боевой офицер. Но все это происходит не так–то легко, как в иных военных и невоенных повестях, построенных «крупноблочным» способом.

Сначала подполковник Долматов кажется Дмитрию суховатым службистом. Но вскоре Дмитрий на деле убеждается, что службист–то, оказывается, не внешне сдержанный Долматов, а молодцеватый «парень–рубаха» майор Скакун, командир соседнего батальона. И хотя Скакуна называют маяком, на самом деле это изворотливый карьерист–очковтиратель, мастер показухи.

А Степан Долматов оказывается человеком широкой души, беззаветно влюбленным в небо. Недаром каждый свободный час он отдает любимому делу — сам конструирует новый парашют. Отнюдь не легок путь увлеченного изобретателя. При испытании нового парашюта он гибнет. Но не погибает его любовь к небу, которой он успел зажечь сердце Дмитрия Высотина.

Волнующе описана гибель Долматова, его похороны и отчаянные думы мужающего Дмитрия, который посадил желудь

на могиле бесстрашного комбата–изобретателя. Не забыть печальных синих глаз Веры, молча наблюдавшей на кладбище за другом своей юности. «Так умеют смотреть только матери на своих детей, когда впервые подмечают в них пробуждение чего–нибудь хорошего, чем всегда богата душа человека». Вера в человека, светлый гуманизм пронизывают всю ткань этой правдивой повести.

«Под белыми куполами» можно смело поставить в один ряд с наиболее удачными книгами о людях современной армии: «Наследниками» Михаила Алексеева, «Максимом Перепелицей» Ивана Стаднюка, «Сильнее атома» Георгия Березко и другими.

Тема крылатых людей продолжала волновать моего друга. Прошло время, и Александров напечатал в журнале «Радуга» повесть о русском самородке, изобретателе парашюта Глебе Котельникове. Оригинальна композиция повести. Историю замечательного изобретения читатель узнает вместе с молодыми героями, повстречавшими на Новодевичьем кладбище у могилы Глеба Котельникова его седого друга. Живым, сочным языком рассказывает он, энтузиаст русского парашютизма, о том, как талантливый петроградский актер Котельников сделал необычайное изобретение.

Рефреном через всю повесть проходит запоминающаяся песня о белых крыльях, написанная самим Александровым, в душе которого живет поэт. За спиной Виктора Александрова немало книг. О чем будет следующая?

Не надо забывать, что он ровесник Октября. Чувствуя долг перед своими сверстниками, он работает над новой повестью, которую назвал «Октябренок». Не подумайте, что в ней рассказывается только о детстве. Нет, Октябренок — это человек, рожденный Октябрем.

ПЕСНЬ О ПОДВИГЕ

Сквозь все творчество Бориса Котлярова проходит тема труда. Поэт хорошо знает и любит своих героев, простых и честных молодых тружеников, независимо от того, одеты ли они в спецовку рабочего или бушлат моряка. С годами он все пристальнее вглядывается во внутренний мир человека, все больше интересуется его духовной жизнью.

С первых же строк захватывает читателя широкая, напевная «Повесть о Гуре и друге его — комендоре», написанная в форме разговора с девушкой, потерявшей своего бесстрашного друга — комендора в дни защиты Севастополя.

Не эффектные батальные сцены привлекают поэта. Его задача

куда труднее: показать ратный подвиг простых советских людей, вчерашних рабочих и колхозников. Правдиво и любовно, как непосредственный участник событий и патриот, рисует Котляров суровые будни защитников Севастополя. В трагическую повесть врывается струя жизнеутверждающего юмора: севастопольцы и перед смертью умели шутить.

Как живых, видишь двух неразлучных друзей — огромного простодушного Никиту Гуру и его друга комендора, коренного севастопольца, горячего, влюбленного в родной город и в молодую землячку. Быть может, отдельные хлесткие «словечки» моряков резанут ухо какого–либо литературного чистоплюя, а мы благодарны автору и за то, что он сумел разглядеть за внешней грубоватостью замечательные души бывших рабочих парней.

Вот Никита Гура, этот великан, приводящий в трепет врагов, в минуту затишья признается влюбленному другу, что у него покуда нет невесты и что он согласен лишь на большую любовь, такую, как в книжке у Маяковского. Под грохот снарядов друзья мечтают о неведомой послевоенной жизни.

Любовно выписаны и эпизодические образы повести: скромный и бесстрашный политрук, отчаянная пулеметчица Нина, невозмутимый «рыжий философ» с его поговоркой «Летела мина и пролетела», лихой севастопольский мальчишка, наводящий после очередной бомбежки блеск на бутсы моряков, две Нади–медсестры из Минска, таящие в душе боль о своем разрушенном городе и в то же время веселящие раненых моряков — все они, вместе с главными героями сливаются в единый образ воюющего народа.

Повесть насыщена психологическими штрихами, достоверными картинами боя. Особенно запоминается героическая гибель крейсера «Червона Украина», который «умирая, стрелял из всех своих орудий». Нелегкой ценой досталась нашему народу победа. Ранена пулеметчица Нина, пали политрук и обе медсестры Нади, наконец, добровольно оставшись прикрывать отход друзей, геройской смертью гибнет молодой командор, друг Гуры. Родное Черное море, дыханье которого ощущается во всей повести, приняло, как мать, тело моряка, «спасло героя от поруганья». Но остаются Никита Гура, «рыжий философ» и другие герои. И в устах Гуры тут же рождается легенда:

И море друга снесет, положит
Под флаг «Червонки». Их судьбы схожи!
Когда же снова из глуби моря

Корабль поднимем, скажу: гляди же!
И вновь увидишь ты комендора
На прежней вахте…

Автор пишет точный, реалистический портрет своего героя в последние часы обороны Севастополя:

Вот тут и Гура! На черном теле
Одна тельняшка. Почти истлели
Бинты на ранах. Сменить? Да где там!
При нем — винтовка. И с партбилетом
В кармане — песня…

Раненого моряка подбирает катер. Символично, многообещающе звучит финал поэмы:

Тянется, вьется пенный кильватер.
К цели пробьется маленький катер.
Плещет, не плещет, знамя у древка.
Это не песня. Это запевка.
Это лишь только боя начало!
Старую песню море качало.
В песне поется — море широко,
В песне поется — едем далеко…

Котляров умело использует традиции народных песен и горьковской «Песни о Соколе». В поэме много метких выражений, рожденных народом в дни войны, а самое главное — поэту удались характеры его молодых героев, удалось передать их большие дела и мечты.

Николай Тихонов откликнулся на поэму взволнованным письмом: «…«Повесть о Гуре и друге его — комендоре» мне особо понравилась своей сильной запевностью, которую Вы не теряете на всем протяжении этой не короткой поэмы. Она полна хорошим, выгибающимся и взлетающим, как черноморские волны, каким–то зеленовато–синим, пенистым стихом.

…По случайности в эти же дни, когда я читал Ваши стихи, я

перечитывал стихи другого поэта моряков и моря — нашего чудесного Алексея Лебедева, погибшего на посту штурмана подводной лодки под Ленинградом осенью 1941 года. Я читал его стихи, потому что мы хотим выпустить его посмертный сборник, и я написал статью для этого сборника.

И вот я невольно сравниваю Ваши стихи и его. Если бы было таким разным содержание слов Юг и Север только потому, что они обозначают противоположные страны света, и если бы нужно было, чтобы они, эти слова, сблизились, то их сблизили бы поэты–моряки, взяв темой своих стихов — море. И еще потому, что они советские поэты–моряки. Читал стихи Ваши и Лебедева и находил одинаковую страстность, и волевое упорство, и поэтическую нежность».

Высоко оценил поэму и Николай Ушаков.

Во второй поэме Б. Котлярова — «Песне о Синегорье» рассказывается о нелегких судьбах военного моряка Ильи Чардара и девушки Поли, вчерашней школьницы. При встрече после боя Чардар рассказывает Поле о родном Синегорье, о замечательном судостроительном заводе, на котором он раньше работал. Этот славный рабочий парень «с техническим талантом» не только Полю, но и читателя заражает своей любовью к городу, к труду.

Большая мечта здесь живет так же, как в военной поэме Б. Котлярова, озаряет своим светом всю «Песнь о Синегорье». Потеряв на войне родных и ничего не. зная о друге–моряке, одна идет Поля в Синегорье, куда ее зовет мечта. Девушку встречает город в руинах, «здесь даже тополи и те обожжены». На испытующий вопрос коммуниста Ярчука, не испугается ли она трудностей, комсомолка отвечает:

— …Коль здесь всего труднее,
Так я и буду здесь!

Мы не спутаем московских строителей из стихов Ярослава Смелякова с уральскими металлургами Бориса Ручьева или донецких шахтеров Павла Беспощадного с харьковскими машиностроителями Бориса Котлярова. Герои стихов этих поэтов своеобразны, не схожи так же, как их творческие манеры.

Нелегко нарисовать запоминающийся портрет рабочего. Но если ты по–настоящему знаешь человека и любишь его дело — все это непременно скажется в стихах.

Стоят возле цеха красивые парни
И в кепках, и так — только чубик на лбу.
Я слышу знакомое слово: ударник,
Не просто знакомое. Слово — судьбу.

Поэт взволнованно говорит о перекличке двух поколений, о том гигантском скачке, который сделала наша страна от ударников первых пятилеток до сегодняшних бригад коммунистического труда. И здесь нельзя обойти молчанием те грозные испытания, которые выпали на долю твоего поколения.

Ты шел, как сердцем было велено,
Сквозь дым, огонь и минный вой.
Прошел и рубаный, и стреляный,
И обожженный, — а живой.

Живой, улыбчивый, но с прядкою
Седеющей — твои лета…
Живой — с возникшей в битве складкою
От крика гневного у рта!

Эти стихи, опубликованные в «Правде», запомнились. Сергей Борзенко рассказывал мне, как прочел их Михаилу Шолохову и как тому особенно понравилась эта складка «от крика гневного у рта».

Котляров много размышляет о проблемах современной поэзии. За последние годы у него вышло несколько книг таких раздумий — «Похожий на отца», «Страницы из дневника», «Тетрадь для младшего друга». Вот несколько интересных мыслей из этих книг:

«Тот, кто долго наблюдал за людской любовью к стихам, тот знает, что люди… не всегда вслух обстоятельно определят, почему им понравились такие–то стихи, но отмечают своей любовью стихи настоящие, прежде всего с большой силой чувства, с народным пониманием жизни».

«К скольким ошибкам приводит убеждение, что новое можно создать, ничего не продолжая».

«Я представляю, что поэзия может быть разной… Одного я себе не представляю. Не допускаю, что может быть поэзия–визг».

Не броскими эпитетами, не эффектными поворотами и

рифмами привлекают к себе стихи Бориса Котлярова, а душевной интонацией, пристальным вниманием к простому рабочему человеку. Есть у поэта стихи о серебристом тополе, у которого каждый листик сверху темен, а вот внизу — не видать пока.

Но едва лишь хлынет первый ветер,
Листья приподнимутся, и вдруг,
Станет тополь серебристо–светел,
Все нежданно озарит вокруг.
Ты и обо мне, мой друг, пожалуй,
В тихую погоду не суди.
И когда о чем–то знаешь мало, —
Лучше вправду ветра подожди.

Точнее о стихах Б. Котлярова и их авторе не скажешь. Свое шестидесятилетие поэт встретил в кругу живых героев его стихов и поэм. Сквозь годы он пронес по–юношески горячую любовь к родному заводу, сделавшему его поэтом, к родному городу рабочей славы, к неоглядному, вечно беспокойному морю, которое помнит поэта в бушлате, с автоматом в руках среди защитников легендарной Малой земли.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ОТ ИМЕНИ ПОКОЛЕНИЯ

У нашей колыбели время трубило грозный, негодующий «Интернационал», способный поднять с земли смертельно раненных, и бесхитростную песню Демьяна Бедного «Как родная меня мать провожала…».

Наши полуграмотные отцы, опоясанные пулеметными лентами, пели свои властно зовущие песни–клятвы:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это!

А у старших братьев рождались свои песни. Одну из них сочинили комсомольцы Киевских железнодорожных мастерских, где работал молодой Николай Островский. И кто знает — может, хоть одна его строка есть в этой песне, как бы летящей вслед за паровозными колесами:

Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне — остановка.
Иного нет у нас пути —
В руках у нас винтовка.

Еще ребятишками, скача на прутиках–конях, мы пели «Там, вдали за рекой…» и «Под частым разрывом грему–чих гранат…» До слез было жалко молодого бойца–буденновца, упавшего у ног вороного коня, и юных коммунаров, приговоренных язвительным белым генералом к расстрелу. Эти русские коммунары по благородству и мужеству ничем не уступали легендарному Оводу:

…Не смейся над нами, коварный старик,
Нам выпала тяжкая доля.

На выстрелы ваши ответит наш крик:
«Земля, пролетарская воля!»

А с Дальнего Востока прилетела песня «По долинам и по взгорьям», посвященная светлой памяти С. Лазо. И написал ее бывший красный партизан С. Парфенов.

Новое время рождало новые песни. Сколько свежести, жизнелюбия, задора в «Песне о встречном» Б. Корнилова!

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

Впервые мы с друзьями услышали ее по радио на далеком совхозном хуторе. В тот же день ее подхватили все хуторские парни и девчата:

И с ней до победного края
Ты, молодость наша, пройдешь,
Покуда не выйдет вторая
Навстречу тебе молодежь.

Но довоенная молодежь не только жила сегодняшним днем, она помнила о суровом вчера. Целая стая песен переносила нас на своих крыльях в легендарные годы гражданской войны. Мы пели «С неба полуденного» Николая Асеева и «Каховку» Михаила Светлова. Рядом с «Полюшком–полем» Виктора Гусева звенел «Орленок» Якова Шведова. Теперь герою этой песни, бесстрашному Орленку в отцовской папахе, поставлен памятник на Урале.

Довоенное село я не могу представить без удивительно душевных песен Михаила Исаковского, а довоенный город без зажигательных песен Василия Лебедева–Кумача.

…Как невесту, Родину мы любим,

Бережем, как ласковую мать!
…И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.

Эти строки формировали мировоззрение моего поколения, поколения победителей.

Мы все добудем, поймем и откроем:
Холодный полюс и свод голубой!
Когда страна быть прикажет героем,
У нас героем становится любой.

Да, именно: героем становится любой. Разве челюекинды, Валерий Чкалов и его друзья, защитники Бреста и Сталинграда всей своей жизнью, а иные и смертью не доказали это?!

Сколько гневных, величественных и проникновенно душевных песен звучало в огненные годы Отечественной войны! «До свиданья, города и хаты…» Михаила Исаковского, «Шумел сурово Брянский лес…» Анатолия Софронова, черноморский «Заветный камень» Александра Жарова… А там, на севере, студеные волны бушевали в «Скалистых горах…» защитника Рыбачьего Николая Букина.

Мне рассказали интересный случай. Один самовлюбленный автор гордо заявил, что он написал сто песен.

— А это автор одной песни, — лукаво указали товарищи на Букина.

— Всего одной? Какой же?

— «Прощайте, скалистые горы…»

Самовлюбленный автор ста песен потупил глаза. Его многочисленных творений никто не знал, а «Прощайте, скалистые горы…» пел и поет весь народ. Дай бог каждому написать одну такую песню!

Наши моряки и солдаты вернулись и в освобожденный Севастополь, и на скалистый полуостров Рыбачий. А впереди еще лежал дальний нелегкий путь. И если тоска по дому звучала в «Землянке» Алексея Суркова, то думы солдата в походе, пожалуй, лучше всего переданы в «Дорогах» Льва Ошанина. Недаром они так полюбились моим однополчанам, с полной выкладкой шагавшим по степным дорогам Венгрии, по гористым тропкам и автострадам Австрии и Чехословакии.

На вооружении наших солдат были и радость, и светлая человеческая грусть. Уже за Дунаем мы все еще пели широкую, волнующую «Песню о Днепре» Евгения Долматовского.

Ой, Днипро, Днипро, ты течешь вдали,
И волна твоя, как слеза…

А после войны солдатскую душу захлестнули необыкновенно чистые песни Михаила Исаковского и безыскусные песни Алексея Фатьянова.

Но рядом с этими песнями рос буйный лирический бурьян. Он даже грозил заглушить нежные и скромные цветы настоящей поэзии, что не раз беспокоило такого требовательного и чуткого песенника, как Михаил Исаковский. Настоящее чувство в песнях–скороспелках обращалось в чувственность, а красота — в пустую внешнюю красивость. Приторная патока этих завывающих песенок вызывает тошноту.

Недавно мне довелось видеть трогательную сцену в издательстве «Советский писатель». Виктор Боков привел в отдел поэзии самородка–композитора с баяном, и тот запел. Заведующий отделом поэзии, младшие и старшие редакторы поневоле стали подпевать. Попробуй не запой, если песня так и будоражит душу!

Неистощим могучий океан советской песни. А если он и выбрасывает иногда на прибрежную гальку пузырящуюся пену, то такие пузырьки живут одно мгновение. И лопаются. Главное, чтобы не обмелели души тех, кто написал хотя бы одну настоящую песню.

ПУТЬ ВСАДНИКА

Учителем юного Кешокова был основоположник кабардинской литературы Али Шогенцуков. Он учил Алима и его сверстников родному языку в школе–интернате. Внимательный, отзывчивый учитель «заразил» своих воспитанников любовью к поэзии.

— Он жил с нами в общежитии, — вспоминает Кешоков. — Часто собирал нас у себя и читал стихи. Доставал из–под подушки объемистые книги на русском языке и переводил их нам. Это были стихи Пушкина и Лермонтова. С замиранием сердца мы слушали историю мальчика из поэмы «Мцыри», а в каждом

молодом цыгане видели Алеко. Может быть, поэтому десять лет спустя первыми произведениями, которые я перевел на родной язык, были поэмы «Цыгане» и «Мцыри».

Начал Кешоков с подражания своему любимому учителю Али Шогенцукову. «Писать, как Али!» — решил юный поэт, но вскоре понял: «Как Али, другой писать не может». Начались мучительные поиски. Очень уж хотелось Алиму выпустить первую поэтическую книжку и на вырученные деньги построить новую школу в родном ауле Шалушка. Ведь самому ему начинать учение пришлось в бывшей кулацкой конюшне… На всю жизнь в поэте укоренилась эта благородная черта: сделать доброе дело для своих земляков, для читателей, для всех советских граждан. Писатель и общественный деятель в Алиме Кешокове нерасторжимы.

Грянула Отечественная война, и Алим Кешоков надел боевую гимнастерку, а в походной сумке лежала его первая поэтическая книжка «У подножья гор». Во фронтовом стихотворении «Счастье» он говорит:

И я вступил на путь бойца.
И нет пути тому конца.

В боях за Советскую Родину сложил свою голову учитель Кешокова — Али Шогенцуков. А его ученик в начале войны редактировал военную газету «За Родину» на кабардинском языке. В дни ожесточенных боев за Сталинград Кешоков стал работать вместе с даровитым балкарским поэтом Кайсыном Кулиевым в армейской газете. Здесь появились его очерки и рассказы на русском языке и переводы его фронтовых стихов.

Первая послевоенная книга Алима Кешокова называлась «Путь всадника». Так в Кабарде называют Млечный Путь.

Наездников умелых много тысяч
Добром земля могла бы помянуть,
Но кто из них сумел отважно высечь
На вечном небосводе Млечный Путь?
О, если б мне чудесный конь достался,
Не стал бы я на нем сидеть в седле:
Вскочил бы на хребет его, помчался
И Млечный Путь провел бы по земле.
(Перевод С. Липкина)

А разве нельзя сравнить с Млечным путем на земле дорогу, которую прошли на великой войне Кешоков и его товарищи по оружию? Это воистину Путь всадника. Недаром поэт обращается к своему фронтовому другу Кайсыну Кулиеву с такими строками:

Мы — всадники, что стремя в стремя
Летим, избрав нелегкий путь.
И волны поднимают время
И опускают нам на грудь.
(Перевод Я. Козловского)

Михаил Алексеев, по–моему, первым заметил, что образ всадника в творчестве Кешокова — это не просто дань горца традиционным мотивам, «это вечное, и притом стремительное, как бег скакуна, движение, без которого ни сам поэт, ни его герои… не мыслят жизни». Говоря о лирике кабардинского поэта, о его поэмах, пьесах и романах «Чудесное мгновение» и «Зеленый полумесяц», сложившихся в дилогию, Алексеев заключает: «В борьбе, в крови, в страшных муках люди пробиваются к самым высоким истинам, к той самой большой правде, которая уполномочила поэта Алима Кешокова заявить во всеуслышание:

На свете нет выше наших идей,
Так будем же лучшими из людей!»

Это же стремление окрылило кешоковские «Стихи–стрелы» (перевод С. Липкина). В них клокочет большая любовь и большая ненависть. Народная мудрость в миниатюрах поэта сочетается с природной наблюдательностью. Вот «Змеиный яд».

Змея войдет в реку, но воду не отравит:
Она свой страшный яд на берегу оставит.
А выйдет из воды — и яд опять возьмет,
Чтоб жалить каждого, кто эту воду пьет.

Некоторые «стихи–стрелы» по существу короткие басни, некоторые — развернутые афоризмы. В лучших из них поэт поднимается до философских обобщений. Такова «Буря»:

Поэт долгожданную бурю прославил,
За это поэта палач обезглавил,
Но, сделавшись бурей, поэтова сила
Могилу убийцы покоя лишила.

В этих емких четырех строчках — судьба Рылеева, Пушкина, Лермонтова и других любимых учителей кабардинского поэта. Конечно, не все кешоковские стрелы одинаково отточены. Но и на этот случай у него заготовлена улыбчивая миниатюра «Двуглавый Эльбрус»:

Иль ты обмолвился неточными словами,
Что замолчал навек могучий голос твой?
Уж если ты с двумя ошибся головами,
Как без ошибок жить с одною головой?

А. Кешоков и А. Твардовский

Кешоков не был бы Кешоковым, если бы не верил в торжество добра. Четырех строк ему хватило, чтобы написать автопортрет:

Считают земляки и старшие и младшие:
«Улыбку спрятал он в стихах. Алим хитер!»
Но то любовь: ее, как уголья горячие,
Кладу под самый низ, чтобы пылал костер.

Мы познакомились с Алимом Кешоковым, работая в приемной комиссии правления Союза писателей Российской Федерации. Я видел, как светлело лицо поэта, когда мы единогласно принимали в наш союз талантливого человека, как наш председатель досадливо хмурился, когда голоса разделялись и дальнейшая судьба такого человека представлялась неясной. Зато Кешоков бывал суров, когда речь шла о приеме человека случайного, скорее «пробивного», чем одаренного. И мне вспоминались замечательные строки кабардинского поэта:

Жить на свете с душою, исполненной зла,

Все равно, что скакать на коне без седла…

СЕРДЦЕБИЕНИЕ

Первые стихи Михаила Луконина, которые я прочел после войны, подкупали своей необычной свежестью и жизненностью. Они были естественны, как дыхание, как сердцебиение. Очень точное название нашел поэт для своей ранней книги — «Сердцебиение».

Когда нас принимали в Литературный институт, кандидат филологических наук Александр Власенко подробно расспрашивал меня о только что напечатанной луконинской поэме «Дорога к миру». Нам обоим эта поэма понравилась, и мы понимали друг друга с полуслова. По душе пришлась мне и первая поэма Михаила Луконина «Рабочий день», в особенности лирическое отступление, в котором ярко выражены своеобразие и темперамент поэта.

Тот, кто любит поэзию Михаила Луконина, должен знать, что родился он в огненном восемнадцатом на берегу матушки-Волги, в Быковских Хуторах, а юность его прошла в Сталинграде, где он учился, работал на тракторном, защищал спортивную честь родного завода…

«Сердцебиение», «Дни свиданий», «Стихи дальнего следования», «Признание в любви»… Я читал почти все книги Луконина, но почему–то особенно помнились первые стихотворения об осторожной девушке Поле, потерявшей друга, которому она не разрешила себя поцеловать, и о нашем солдате в Сталинградском театре…

И вот однажды я раскрыл тоненькую огоньковскую книжечку «Испытание на разрыв». И на меня снова дохнуло свежестью первых стихотворений Луконина. Нет, самих этих стихотворений в книжке не было, но была та же задушевность, то же первородство чувств, помноженные на нелегкий, порою горький жизненный опыт. В этой удивительной книжке как бы повстречались зрелость и юность. Невольно вспоминаешь время, когда на земле еще холодно поблескивает снег, а с неба уже щедро брызжет светом ослепительная весна.

Одно из стихотворений поэт как бы вызывающе назвал «Про это». Да, да, снова про это, про то, что волновало и мучило Владимира Маяковского. У Луконина совсем другая интонация, но боль та же.

Ни адреса нет, ни параграфа нету, ни ГОСТа,
Будет она неотступна, мучительна,
как и со мной.
Пишется это,
Не слышится.
Дышится просто.
Так и поэзия —
Дышится жизнью самой.

Новые стихи Михаила Луконина о любви звучат отнюдь не камерно. Это стихи об обманутом большом чувстве и трудном счастье. Это стихи о человечности чувства вчерашнего солдата и его острой боли от того, что «изображенье у окна с той, выдуманной мной, не схоже».

Ни в чем ее не нахожу,
Легко смеюсь стряпне бездарной
И мимо кошечки базарной
Так равнодушно прохожу.
Та, что любил, — в моей судьбе
Я выдумал ее, как сказку.
А эту
гипсовую маску
посмертную —
возьми себе.

Лирический герой пытается спрятать за усмешкой свою боль, но она рвется наружу, переходит в ранящий душу горький упрек:

(…И все же ты,
святоша и трусиха,
Ханжа, в гордыне выгнувшая бровь,
Как ты хитро,
извилисто и тихо
Решилась
обокрасть мою любовь!)

А память услужливо подсказывает те дни, которые когда–то назывались счастьем, образ «светлокосой девчонки» с Арбата, ее сиреневое платье, что «билось на ветру».

Зачем я это?
Кто подумать мог ли?
Москва, Тбилиси, Хельсинки, Париж?
И ты,
как в перевернутом бинокле,
Туманно отдаленно отстоишь.
…Меня совсем из сердца излучила?
Теперь уже не мучает вина?
Ты хорошо другого изучила?
Смотри,
не перепутай имена.

Да было ли оно — счастье? Лирический герой вдруг начинает понимать, что «нет памяти у счастья». Да, «любая боль оставит сразу мету, а счастье — нет. Беспамятно оно».

И пускай в ушах еще слышится звон от ее смеха, «от лепета птичьего» — любовь обернулась ложью, «кошачьей игрой двоедушия, хитрости, лживости». И невольно вспоминается молодой Михаил Луконин, пришедший с большой войны, Луконин, сказавший от имени фронтовиков: «Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой». Ту же бескомпромиссность, то же презрение к мещанской расчетливости, те же большие идеалы мы явственно чувствуем в его книге–исповеди «Испытание на разрыв».

Зрачки расширяло от страха,
И губы сводило виной,
Таилась трусливая птаха
Под смелостью этой шальной…
Итак, поломала немало
В разгуле своей пустоты.
Цветы поливать перестала.
За что ты казнила цветы?

Зорок глаз поэта, глядящего прямо в сердце. Он–то давно

знает, что «строчки с кровью — убивают, нахлынут горлом и убьют!» и что настоящее чувство «не читки требует с актера, а полной гибели всерьез» (Борис Пастернак). И лирический герой Луконина не в силах спрятать своей обжигающей боли:

Я, оглохший. И спящий город.
Стоим вдвоем, ни взад, ни вперед.
Я —
Открыв удушливый ворот,
Он —
С открытыми ртами ворот.

Мне тяжело.
И если правда,
Что поэзии это сродни,
То бросить стихи
обязательно надо:
Слишком дорого стоят они.

Да, слишком дорого. И все же на то ты и истинный поэт, чтобы не бросить. Есть, есть на свете синяя «отдушина» — это твоя родимая Волга, твои друзья–фронтовики в самом высоком значении этого слова.

Слышишь,
туда,
где в далеком году
я под огонь
добровольно иду!

Мерять все в жизни высокими идеалами фронтового поколения — это закономерно для Михаила Луконина.

У САМОГО ДОНА

Хорошо, когда зрелый мастер годами работает над большим полотном. Читатель понимает и терпеливо ждет обещанной встречи. Но разве плохо, когда писатель в расцвете сил каждый год радует читателя новыми самобытными произведениями?

С первых же строк повесть «Эхо войны» Анатолия Калинина увлекает яркостью красок, неподдельным драматизмом, живыми характерами. Писатель точно и беспощадно вскрывает корни частнособственнической психологии стяжателей Табунщиковых. Вот сама Варвара Табунщикова, вдова кулака. На первый взгляд — расторопная, домовитая хозяйка, мать троих детей. Разве что виноградным вином приторговывает… Но война вскрывает ее бесчеловечное нутро. Стяжатель в чрезвычайных обстоятельствах легко может обратиться в предателя.

Варвара жадничает, даже когда кормит блинами советских солдат–разведчиков с тайной целью оттянуть время и спасти связанного сынка — полицая Жорку. Прежде всего холодный расчет. Во всем и везде. А чуть подоспел ее старший сын Павел с немцами, Варвара, не задумываясь, выдает им советского разведчика, спрятавшегося в сарае. Она может спасти из огня собственную корову, но не солдата–освободителя. Это волчица. Недаром Варвара отчужденно смотрит на наши наступающие войска и даже про себя их называет русскими. Табунщиковы — отщепенцы.

— Какие, Шура, наши? — обрывает она внучонка.

Когда Варвара с корзиной, полной харчей, пробирается степью к сынам–полицаям, расстреливающим советских солдат из пулемета, эта стяжательница забывает на минуту даже о сыновьях. Ее прельщают на убитых шинели, которые можно потом перекрасить и сбывать на толкучке. Где предательство, там и мародерство. Волчица есть волчица. На ее глазах сыновья мучают преданного ею разведчика Алексея, на ее глазах Павел, старший сын, убивает брата этого разведчика — лейтенанта.

Недаром потом советский следователь бросает в лицо Варваре:

— Ну ты, старая сука, ты моей матери не тронь, ты даже этого имени «мать» не смеешь касаться.

Есть в повести настоящая Мать, мать двух погибших от руки Павла братьев — солдата и офицера. Это старая сельская учительница, человек большой, светлой души. Она долго ищет после войны могилы своих сыновей и наконец находит их на хуторе Вербном. В хату Варвары, думавшей, что ее злодеяние недоказуемо и забыто, старая учительница входит, как само возмездие. Эта сцена написана с потрясающей силой. Образ старой учительницы невозможно забыть.

«…Странные были у этой женщины глаза. То ли потому, что стекла очков так увеличивали их, казалось, что из этих серых больших глаз и состояло все ее лицо, и взглядом своим они втягивали человека в себя, как втягивает глубокая воронка

посреди Дона. И самое странное, что Варваре показался чем–то знакомым этот взгляд, хотя она твердо знала, что встречается с ним впервые в жизни.

…Две серые воронки за стеклами очков, потемнев, с бешеной скоростью закружились перед лицом Варвары и потянули ее в свою беспощадную глубину. Она уже узнала.

— Нет! — крикнула она, отступая от этой маленькой женщины в очках. — Ничего я не знаю! Нет!»

Варвару разбил паралич. Но даже бессильная, парализованная, она приносит несчастье в семью своей младшей дочери Ольги и ее мужа, бывшего солдата. Ольга — это молодой зеленый росток у черного, обгорелого пня. Она росла чужой в семье Табунщиковых, не пошла в Павла и Жорку, ставших в войну зверствующими полицаями.

В повести Анатолия Калинина, как в народных былинах и сказках, торжествует добро. Словно легенда, входит старая учительница, мать двух героев, в хутор Вербный и остается в нем жить. «Она каждый раз проходит мимо дома, где лежит разбитая параличом та, другая женщина, которая предала ее сына врагам на смерть и за это теперь сама приговорена людьми больше, чем к смерти».

Думайте, матери, как бы обращается автор к женщинам, кем вырастут ваши дети, какие семена вы посеете в их ребячьих душах…

«Эхо войны»… Название повести объемнее, чем оно кажется на первый взгляд. Речь идет и об Отечественной войне и о войне двух мировоззрений. В повести много раздумий, как бы растворенных в самом сюжете, много настоящей поэзии, народного искрометного юмора, оттеняющего драматизм событий, много ярких метафор.

Суровая повесть Анатолия Калинина читается с захватывающим интересом. Не успел журнал «Огонек» опубликовать ее до конца, а в редакцию уже полетели благодарные читательские письма. Что ж, это закономерно. Художник–коммунист, живущий в гуще народа, написал песнь о народе и его борьбе.

Характерна непоказная скромность писателя. Когда повесть «Эхо войны» заслуженно была выдвинута на Ленинскую премию, автор сам снял ее из списка, так как считает ее только фрагментом большого произведения, над которым сейчас работает.

И невольно задумываешься о доброй школе, которую прошел писатель. Вспоминаешь его острые и поэтичные очерки «На среднем уровне» и «Лунные ночи», опубликованные в «Правде».

Писатель как бы подхватил эстафету у Валентина Овечкина, развил наступление, внес в трудный жанр очерка свои, калининские, краски, подготовил площадку для появления «Сурового поля», «Запретной зоны», «Цыгана», «Эха войны»…

Хороший спектакль поставил Московский театр киноактера по роману «Суровое поле», и удивительно, почему он до сих пор не перенесен на экран. Ведь эта вещь, как и другие произведения Анатолия Калинина, очень кинематографична.

В последние годы читатели журнала «Огонек» познакомились с продолжением повести «Цыган», повестями «Гремите, колокола!» и «Возврата нет». На мой взгляд, наибольшей удачей Калинина является последняя повесть, в особенности образ главной героини.

Когда говоришь о творчестве Михаила Шолохова, невозможно забыть, сколько метких и всегда поэтичных наблюдений сделал, зорко вглядываясь в книги великого жизнелюба, его младший земляк. Недаром на торжественном вечере, посвященном шестидесятилетию Михаила Александровича, с приветственным словом от донских писателей выступил Калинин. Он сказал о редчайшем шолоховском даре любви к людям, возбуждающем ответную любовь в каждом сердце.

Убедителен его анализ образа героя «Тихого Дона» Григория Мелехова. В интересной статье «Неисчерпаема жизнь» Калинин пишет: «…Одни, попав под обаяние Григория, хотели бы «перекрасить» его в красный цвет, другие, листая послужной список его ошибок и заблуждений, упорно «выбеливают» его — так что под их пером он становится ближайшим родственником есаула Половцева. А неудержимо скользящий свет времени, озаряющий то красную, то белую «половины» Григория, вдруг возьмет и бросит на него яркий отблеск с самой неожиданной стороны и сразу как заново отчеканит его на фоне грозной эпохи социальных переворотов — всего, во всей его противоречивой цельности».

Неуступчивый, принципиальный, темпераментный — таков Анатолий Калинин во всем — ив делах литературных, и делах сельскохозяйственных, которые так близки его сердцу. Вот уже который год живет он в хуторе Пухляковском среди тружеников, уважающих его не только за слово, но и за дело. Светится огнями его гостеприимный дом у самого тихого Дона.

ПОДВОДНИК

Это было в небольшом зале Дома актера. За стеной в огромном зале веселились артисты одного из московских театров.

А здесь стояла торжественная тишина. По глазам было видно: юные и седые приникли к живому поэтиче скому ключу, вдруг одарившему душный зальчик луговой свежестью. Читал свои стихи Дмитрий Ковалев.

А теперь расскажу о разговоре с другом–однополчанином, который учительствовал в липецком селе. Он взял в руки книжку в солнечном переплете. Черным по оранжевому — «Рожь». Выразительное название. Оно–то и привлекло внимание друга. Прочел стихотворение, посвященное Михаилу Исаковскому:

Стой, простота!
Ты мне далась не просто,
И я
Без боя не отдам тебя.

Заинтересовался, кто автор.

— Дмитрий Ковалев? — И долго смотрел на портрет поэта. — Видно, интересный человек… Думающий… Фронтовик? Подводник, говоришь?..

Потом прочел стихи о матери–крестьянке:
Ты простишь мне, моя неученая мама,
Ты простишь мне,
Что был я так шибко учен…
Как же часто мишурность житейского хлама
Принимаем за принцип —
И все нипочем.

Это был разговор с вещим сердцем матери, которая жила, «что–то зная такое, что при всех наших знаниях нам знать не дано». Мой друг задумался. У него тоже была старая мать, что очень любила, но не всегда понимала сына. А может, по–своему понимала, только отмалчивалась? А он за вечной спешкой не заметил… Друг сел к окну, запоем стал читать.

— Какие правдивые, человечные стихи!.. Дмитрий Ковалев… Почему я про него не слышал раньше? Это же настоящий, удивительно душевный лирик! Есть стихи — пирожные, а у Ковалева стихи — хлеб, ржаной хлеб. Ты послушай:

Как медленно плывут колосья волнами!
Не наглядишься — хоть до ночи стой.
Как низко–низко Кланяются полные,
Как высоко заносится пустой!

Слушая эти стихи, я подумал, что Дмитрий Ковалев обладает удивительным поэтическим зрением: видит всю кипень наливающейся ржи и каждый колосок в отдельности. И так во всем. Не через простоватость он шел к простоте, а через сложность, иногда даже усложненность, пытаясь схватить все краски, все переливы, все оттенки жизни.

С гордостью говорит поэт о своих сверстниках, не дрогнувших перед чудовищной бронированной машиной фашизма. Кровью сердца написано стихотворение «Поколение» из книги «Молчание гроз».

Воспитаны,
испытаны
при нем.
Дух не покорности,
а покоренья.
Ты над враньем —
как лес прореженный
над вороньем,
высокое, прямое поколенье.
Не знавшее о многом до седин,
ты верило —
и смерть встречало смело.
Да усомнись ты хоть на миг один —
ты родину спасти бы не сумело.

Пятьдесят лет назад в белорусском городке на реке Сож в семье кузнеца родился будущий поэт Дмитрий Ковалев. Многодетная семья кочевала вместе с отцом из села в село. Еще парнишкой Дима стал помогать отцу в кузне, ходил с матерью работать на поле. Учился на рабфаке, потом стал учительствовать в селе. Оттуда и призвали его перед войной на Северный флот. Сражался в морской пехоте, был подводником, военным журналистом. Словом, был солдатом. И поэтом.

Настоящая поэзия не может не волновать. Семен Бабаевский

взял с собой за границу книгу Ковалева «Рожь» и оттуда прислал автору сердечное письмо о его стихах. В день пятидесятилетия Дмитрий Ковалев получил гору приветственных телеграмм от читателей, однополчан, братьев–белорусов, друзей–поэтов. Вот одна из телеграмм:

> «Дорогой Дмитрий Михайлович, в день Вашего пятидесятилетия поздравляю и приветствую Вас и шлю Вам самые добрые пожелания. Хочу сказать Вам, что очень люблю и ценю Вашу талантливую, вдумчивую, глубоко душевную, глубоко человечную поэзию. Искреннее Вам спасибо за нее. Желаю Вам новых удач, новых свершений. Желаю Вам здоровья и счастья.
>
> М. Исаковский».

Ковалевские стихи не раз читал и слушал Михаил Шолохов, очень тепло относящийся к лучшим вещам моего друга. Михаилу Александровичу поэт посвятил стихотворение «Память», в котором он от имени павших (моряк–подводник Ковалев заслужил такое право!) вспоминает наших многострадальных матерей:

Крутое время, хоть на миг причаль!
Нам — слава вечная, им — вечная печаль.
Боль, без которой жизнь понять нельзя.
Презрение ко всем, кто жил скользя.
Земля, где долг исполнить суждено.
Где каждое село — Бородино.

Любая травинка, любая зеленая ветка на этой земле, политой кровью ее лучших сынов, дороги поэту. Недаром и городок, где он впервые увидел свет, называется поэтично и просто — Ветка.

Вскоре после войны вышла первая книга демобилизованного подводника, которая называлась «Далекие берега». Ковалев был участником первого всесоюзного совещания молодых, учился на Высших литературных курсах. За эти годы у поэта вышло немало книг, среди которых «Тишина», «Тихая молния», «Рожь», «Солнечная ночь», «Молчание гроз», «Ветреный день», «Озимь», «Тревожный мир», «Годы», «Зябь».

Тихая молния — пожалуй, лучше не определишь некрикливую, целеустремленную поэзию Ковалева. Я бы добавил к этому, что поэт обладает своим особым «Ковалевским», кстати,

очень современным зрением, вобравшим в себя и традиции и настоящее новаторство. Характерно стихотворение «Солнечная ночь», где автор пристально смотрит «с небес на все земное». Очевидно, такой видели матушку–землю и наши космонавты. Тем дороже им все земное.

Есть поэты–фронтовики, которые еще в юности, не сняв гимнастерок, написали лучшее свое стихотворение. О Дмитрии Ковалеве этого не скажешь. Новые его стихи глубже, проникновеннее, острее.

Помнится, рецензируя одну из рукописей поэта, я заметил, что поэт зря все гражданские стихи выделил в последний раздел. Их надо было рассредоточить по всей книге, они сцементировали бы два лирических цикла, которые без гражданских стихов казались несколько монотонными. Ковалеву, поэту цельному, не стоит делить лирику на «чистую» и гражданскую.

В предисловии к Ковалевской книжке в молодогвардейской «Библиотечке избранной лирики» Василий Федоров, отдавая должное таланту поэта, сравнивает чтение некоторых нелегких для восприятия стихов Ковалева с преодолением колючего кустарника. Сравнение тонкое. Но шипы у поэта, можно сказать, умышленные. Они вызваны внутренней полемикой с гладкописью, которой, к сожалению, не так уж и мало в стихах отдельных наших поэтов.

Для Дмитрия Ковалева типично стихотворение «О зоркости»:

Да знают ли они,
Как мать моя,
Не глядя, видит,
Что скрываю я?..

Надо прекрасно знать психологию матери, чтобы так точно ее выразить. Или такое замечательное наблюдение в беспощадно–правдивом стихотворении «Долина смерти»: Как мы в бесчеловечной той метели, на той багрово–черной полосе остаться все–таки людьми сумели… и даже человечней стали все?..

Много зрелых раздумий в Ковалевской книге «Тревожный мир», которая вместе с книгой избранной лирики «Годы» полнее, чем другие, помогает представить боевой и творческий путь поэта. Есть у поэта стихотворение, которое так и называется «Однополчане». Посвящено оно командиру подводной лодки Григорию Щедрину, под началом которого воевал старшина

Ковалев.

Все неизвестность,
В минах,
С тишиной…
Все машет шторм подводницкой пилоткой…
Я так вот и остался старшиной.
А ты, Щедрин, командовал подлодкой…

Читая эти строки, я невольно вспомнил, что на обсуждении стихов Дмитрия Ковалева кто–то метко назвал его «подводником» и в поэзии. Да, лучшие Ковалевские стихи, как айсберги. В них всегда много подтекста. Вот поэт посетил «места давнишней рукопашной». На первый взгляд, кажется, что он рисует знакомый пейзаж. Но освещенный памятью сердца, и пейзаж становится обобщенным.

Не бьются головами оземь
Цветы, где срезаны колосья,
На вспаханном воспрянет озимь,
Лишь смолкнет птиц разноголосье.
Как откровенно все и прямо,
Как обнаженно все до жути:
Заштопана кустами яма —
Ведь время и с войной не шутит.

Здесь все не только зримо, но и пронизано глубоким раздумьем. Поэт поднимается — естественно и закономерно — до философских обобщений. В стихотворении «На Севере», посвященном его другу Валентину Овечкину, автор рисует березу, у самого обрыва пустившую корни в расщелины черного мыса и растущую там, где «удержаться не может и снег». В концовке образ березы поднимается до символа:

У земли этой
Милости ты не просила,
А врастала в гранит,
Край суровый любя…

И нельзя без скалы той
Представить Россию,
Как нельзя без Отчизны
Представить себя.

Снова и снова возвращается Дмитрий Ковалев к образу Ленина, чтобы сверять по нему свою жизнь и жизнь современников. В каждом из таких стихов много тонких психологических наблюдений и мыслей, отлитых в волнующие, афористичные строки:

И все, что он оставил.
С каждым днем
Для нас теперь
Крупнее и крупнее —
Не потому ль,
Что сами мы растем,
Что сами мы становимся мудрее
И что себя мы открываем в нем?..

Большая требовательность к себе и к людям, обостренное чувство справедливости, духовная щедрость, полная самоотдача — вот характернейшие черты одного из самых проникновенных лириков нашего времени Дмитрия Ковалева. «С душевной близостью» — читаю на одной из его книг. Спасибо, друг–подводник, что ты есть на свете!

СЫН ДАГЕСТАНА

С Расулом Гамзатовым меня познакомила его землячка, поэтесса–горянка Машидат Гаирбекова.

— Он у нас такой молодой и такой талантливый!

Теперь, глядя на белые, как снег на горных вершинах, волосы Гамзатова, я вспоминаю, что это было более двадцати лет назад…

Расул Гамзатов, можно сказать, поэт по наследству. Все помнят его отца, замечательного народного поэта Дагестана Гамзата Цадаса. Отец когда–то был чернорабочим и пастухом, а сын стал учителем, потом заведовал литчастыо Аварского государственного театра имени Гамзата Цадаса, затем в годы войны стал журналистом, работником Дагестанского

радиокомитета.

Когда я демобилизовался и поступил в Литературный институт имени Горького, Гамзатов его уже заканчивал. Читателей привлекла его книга «Год моего рождения», в которой свежо, образно говорилось о нашем поколении. Автору этой книги удалось слить в единое русло замечательные традиции дагестанской народной поэзии и традиции большой мировой поэзии.

Мы не удивились, когда одна из гамзатовских книг была названа «Слово о старшем брате», а другая, как бы перекликаясь с лирикой великого шотландца Роберта Бернса, — «В горах мое сердце…» Теперь Расул Гамзатов автор не только стихов, песен и поэм, но и прозаической книги «Мой Дагестан», переведенной его бывшим однокурсником Владимиром Солоухиным. А стихи Расула переводит его однокурсник Наум Гребнев.

Сыны стараются быть достойными своих отцов: абхазец Георгий Гулиа написал повесть о своем родном горном крае и книгу об отце, народном абхазском поэте Дмитрии Гулиа. Расул Гамзатов написал книгу о родном Дагестане.

Что подкупает в стихах Гамзатова? Душевная теплота, любовь, грусть, юмор, ненависть, вся полнота человеческих чувств, беспокойный ум… Свои чувства и мысли поэт старается выразить лаконично, как этого требуют традиции горской поэзии, и живо, непосредственно, как этого требует современность.

Верный друг мой, отнятый войной,
Мне тепло от твоего огня,
А иной живой сидит со мной —
И морозом обдает меня.

И поэту, и его переводчику Н. Гребневу удалось здесь передать сложные чувства лирического героя: горячую любовь к погибшему другу и неприязнь к холодному, равнодушному собеседнику. Этот резкий контраст еще более усиливает и любовь и неприязнь. В лирике Гамзатова много точных психологических деталей.

Дождь шумит за моим окном,
Гром гремит за моим окном.
Все в душе у меня слилось:
Боль и радость, любовь и злость.

Радость я подарю друзьям,
Боль я песне своей отдам.
Людям буду любовь дарить,
Злость оставлю — себя корить.

На первый взгляд кажется: это стихотворение написано в духе народной горской поэзии. Так оно и есть. Но имеется в нем нечто от сложного душевного мира современного человека. Вот это–то богатство душевных оттенков и есть то новое, что внес Расул Гамзатов в нынешнюю поэзию Дагестана. В его стихах много мыслей, выстраданных, рожденных жизненным опытом поэта и всего нашего поколения.

Ты перед нами, время, не гордись,
Считая всех людей своею тенью.
Немало средь людей таких, чья жизнь —
Сама источник твоего свеченья.
Будь благодарно озарявшим нас
Мыслителям, героям и поэтам.
Светилось ты и светишься сейчас
Не собственным, а их великим светом.

Глубокая мысль. Именно думы и дела лучших сынов и дочерей эпохи озаряют светом разума и сердца эту эпоху. Иоэт остро ощущает невидимый полет времени.

Множество огней мерцает красных,
Множество мерцает золотых.
Светятся одни, иные гаснут,
Как сердца товарищей моих.

Новое поколение вырастает на смену возмужавшему. Сложные чувства — и грусть, и боль, и радость переполняют душу поэта.

Жена двадцатилетнего героя

Сидит седая около крыльца.
Их сын, носящий имя дорогое,
Сегодня старше своего отца.

Мне вспоминается рассказ Ивана Рахилло на устном выпуске журнала «Советский воин» в московском Доме журналиста. Писатель рассказывал, как перед войной присутствовал на конных состязаниях, где, гордо стоя на коне, скакал юный джигит Расул Гамзатов с трепещущим красным галстуком на груди…

Утекает детство, как вода,
Утекает детство, но в наследство
Остается людям песня детства,
Память остается навсегда.

Не из таких ли прозрачных, певучих строф родились песни Расула Гамзатова, которые мы слышим теперь по радио и на улицах? Одну из них, гамзатовские «Журавли», миллионы телезрителей слышали на большом вечере «Песня-71». Она стала любимой песней нашего народа.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю пашу полегли когда–то,
А превратились в белых журавлей…

Грусть по погибшим товарищам, священная память о них навсегда останется в наших душах.

И в зрелые годы у поэта сохранилась юношеская непосредственность, любовь к крылатому слову, неприязнь к холодному расчету куцых мещан:

Если вдруг и я металлом стану,
Не чеканьте из меня монет:
Не хочу бренчать ни в чьих карманах,
Зажигать в глазах недобрый свет.

Если суждено мне стать металлом,
Выкуйте оружье из меня.
Чтобы мне клинком или кинжалом
В ножнах спать и в бой лететь звеня.

ВПЕРВЫЕ

Впервые о Михаиле Алексееве я услышал лет двадцать назад в Литературном институте от своего однокурсника поэта Егора Исаева. Он, как вихрь, налетел на меня на площади возле задумчивого бронзового Пушкина.

— Егор! — и протянул мне руку. — Из Вены. Знаешь, кто первый в редакции нашей военной газеты прочел твой цикл «Белгород»? Михаил Алексеев. Сам прозаик, но очень любит поэзию. Вырвал из журнала листы и отдал мне. — Исаев тут же вытащил из кармана листы, свернутые в трубочку. — Я вас познакомлю. Алексеева перевели в Москву.

Когда я потом начал читать роман «Солдаты», меня удивило и обрадовало, что действие этой книги начинается у стен моего родного Белгорода. Здесь не только сражались герои романа, но и воевал сам автор. Здесь же, в Шебекинском лесу, как узнает читатель из повести в новеллах «Биография моего блокнота», Михаил Алексеев впервые стал военным журналистом.

Егор Исаев не ошибся. Алексеев очень любит поэзию и сам в юности писал лирический дневник. Стихи, щедро рассыпанные по роману «Солдаты», сочинил автор. Это он мне сообщил «под большим секретом». Будучи студентами Литературного института имени Горького, мы, вчерашние солдаты, целым поэтическим отделением чуть ли не строем входили в бревенчатый домик у платформы Челюскинская. Особенно автору «Солдат» нравились фронтовые стихи Сергея Мупшика «Чоботы» («Сапоги»).

— Какая свободная разговорная интонация! Люблю украинский язык. У меня прабабка украинка! — признался Алексеев. — Заметили, и Пинчук в моем романе кроет по–украински?

Правда, не обошлось и без казусов. Дотошный Сергей Мушник, а потом Иван Стаднюк находили отдельные неточности в украинской речи алексеевских героев. Автор тут же их исправлял, не без улыбки ссылаясь на то, что украинкой у него была все же не бабка, а прабабка.

Михаил Алексеев родился в селе Монастырском под Саратовом в грозном 1918 году. Прадед, старый солдат, участник Крымской войны женился на крепостной украинке. Дед писателя

бурлачил па Волге, отец и мать, крестьяне, умерли в памятном 1933 году. Многие детали из трудовой родословной автора «Солдат» вплетены в художественную ткань романа «Вишневый омут», повестей «Хлеб — имя существительное» и «Карюха».

Л. Леонов беседует с М. Алексеевым и С. Борзуновым

Студент педучилища, потом солдат, офицер, участник ожесточенных боев за Сталинград, битвы на Курской дуге, военный журналист, прошедший в рядах наступающих войск до Бухареста, Будапешта и Вены — вот боевой путь подполковника Алексеева. Этап за этапом этого пути лег и еще ляжет в новые романы и повести писателя. Ему есть о чем сказать.

Помню сосредоточенное лицо Михаила Алексеева на одном из Пленумов ЦК, посвященных сельскому хозяйству. Тогда мне подумалось: а ведь не случайно человек с военной косточкой, автор известных книг о Советской Армии, так близко принимает к сердцу назревшие вопросы сельского хозяйства!

И здесь мне вспоминаются раздумья Михаила Алексеева об Александре Довженко. Вот что Алексеев написал о нем в «Правде»:

«Александр Довженко мерил все земные дела какой–то своей, непривычной для многих, мерой, мыслил крупно и необыкновенными категориями. Твердо, основательно стоя на земле и, конечно же, не хуже нашего зная ей цену, он мог сам подняться и нас поднять над землей с тем, однако, чтобы мы не отрывались от нее, а видели больше, шире, дальше».

С ростом мастерства в произведениях и самого Алексеева романтика становится полновластной хозяйкой. Это чувствуется в «Наследниках», повести о юных волгарях, получивших в армии на Крайнем Севере добрую закалку, не посрамивших славные боевые традиции отцов–победителей. Есть своеобразная романтика и в повести «Дивизионка». Речь в ней идет не о пушке, как не без юмора сообщает автор, а о солдатской газете.

Я работал в дивизионке, и мне эта повесть особенно пришлась по душе. Хорошо, душевно, с юмором и любовью говорит автор о солдатской газете: «Звали ее и «хозяйством имени первопечатника Ивана Федорова», а то еще как–нибудь, обязательно придавая этим названиям ласкательную и насмешливо–простодушную интонацию. Из военных газет дивизионка находилась всех ближе к солдатским окопам. Думается, что и к сердцам солдатским она была ближе, потому что рождалась там, где совершался подвиг».

Долго, помнится, Алексеев собирался написать эту небольшую повесть о военных журналистах, приравнявших перо к штыку. В ней особенно чувствуется возросшее мастерство писателя. Уже в повести «Наследники» Михаил Алексеев пишет о своих земляках–волгарях, которым в дальнейшем посвятит многие свои книги.

«Вишневый омут» — уже само название романа Михаила Алексеева настраивает читателя на особый лад. Что это? Лирическая хроника степного приволжского села или раздумье о красоте души народной, которая наперекор суховеям истории цвела вишневым цветом даже в самые глухие годы? Запев книги романтичен и суров. Он как бы предвещает события, полные драматизма, сквозь которые пройдут три поколения крестьянского рода Харламовых.

На берегу хмурого Вишневого омута появился светло–русый великан с веселыми, добрыми глазами — Михаил Харламов. Он не сворачивал в кулачных побоищах чужих скул, как это делал местный силач Гурьян Савкин, который, по слухам, — заодно с нечистой силой омута. (Пуще этой дьявольской силы боялись односельчане сельского мироеда Савкина.) Это совсем иной человек. Негромко напевая, он корчует лес, чтобы посадить на берегу нелюдимого омута сад, первый плодоносящий сад в

глухом селе, где летом лютуют суховеи, а зимой — морозы.

Сын Гурьяна Савкина — Андрей, побоявшийся в открытую выступить против гордого, независимого Михаила, тайно, как вор, покушается на молодой сад. Но гроза местных крестьян бессилен перед упорством и светлой мечтой Михаила. И сад зацвел…

Непростой это сад. Он олицетворяет лучшие надежды трудового крестьянства и всего русского народа, а образ великана Михаила, патриарха рода Харламовых, пронесшего свою мечту сквозь тяжелые испытания разных времен, вырастает до большого обобщения.

Жестоко отомстил Харламову Андрей Савкин: надругался над любимой Михаила — красавицей Улькой, которую скуповатый отец насильно пытался выдать замуж за Андрея. Во время венчания непокорная Улька сходит с ума.

Да и мог ли найти счастье правдолюбец Михаил в темном запуганном селе конца прошлого века, где все трепетало при имени ненасытных Савкиных? Единственная утеха молодого великана — молодой сад. Он подрастал. В нем поселились птицы. Первая песня соловья, облюбовавшего колючий куст крыжовника, заставляет Михаила обливаться горькими и радостными слезами. Писатель светло рисует облагораживающее влияние природы на душу человеческую.

Подросший сад стал свидетелем многих памятных событий. Здесь прячется от царских ищеек большевик Федор Орланин. Здесь зародилась любовь сельского паренька Ивана Полетаева и певуньи Фроси–Вишенки. Но их чистым чувствам, описанным с таким неподдельным лиризмом, грозит участь горькой любви Михаила и Ульки. Таковы жестокие обычаи старого села, такова суровая жизнь.

Не может забыть своей первой любви Михаил Аверьянович, с тоски пьет его старший сын Петр, вернувшийся калекой с японской войны, а младший неказистый сын Николай женился па Вишенке, которая его не любит. Даже сам мудрый Михаил Аверьянович не в силах переступить вековые сельские устои, не в силах помешать этому несчастливому браку.

Символична сцена гибели Гурьяна Савкина, выслеживающего большевика Орланина и беглых солдат. Старого мироеда запорол рогами бык по кличке Гурьян, которого когда–то тот лицемерно подарил «опчеству». А вскоре после похорон сельского царька Гурьяна Савкина в село пришла добрая весть: свергли царя.

Две части романа — две эпохи. В муках рождался новый мир. Его ровесником стал маленький Мишка Харламов, незаконный сын Фроси–Вишенки, живая память первой несчастливой любви.

Старый мир еще долго будет показывать свои когти. Легче посадить на месте мрачного болотистого леса у Вишневого омута молодой колхозный сад, чем выкорчевать из людских душ проклятые пережитки… Но люди упрямо тянутся к счастью. Недаром даже цвет Вишневого омута, окруженного садами, изменился.

Характерна судьба сельского балагура, философствующего чудака — неудачника Карпуши. Не сумел он ни вырастить сада, ни создать семьи и лишь в конце жизни в колхозном саду почувствовал себя человеком. Нельзя без волнения читать о колхозном «матриархате» в годы войны, о песнях в саду неутомимых тружениц–солдаток, которыми верховодила бригадир Фрося–Вишенка. Женщины за внешним весельем пытались скрыть тоску о любимых, да не всегда это получалось…

Запоминается богатырский поединок садовода Михаила Аверьяновича Харламова с шальным ледоходом. Промокший старик несколько дней и ночей спасает колхозные яблони. Надорвался сельский Илья Муромец, свершая свой подвиг. Но выращенный им сад все–таки гибнет. Нечем было топить в лютые морозы обессилевшим полуголодным солдаткам, и сад срубили на дрова. Умирая, сад отдавал свое благодатное спасительное тепло озябшим ребятишкам, которым предстояло сажать новые сады.

Роман Михаила Алексеева говорит о творческой зрелости автора. Написан он уверенной руной мастера и получил всенародное признание. Тем досаднее его отдельные недочеты. Иногда лаконизм повествования обертывается торопливой информацией. Бледны образы сельских вожаков Федора Орланина и Ивана Харламова. Самобытный язык романа иногда засоряют отдельные канцеляризмы. Некото–рые герои исчезают со страниц романа на продолжительное время, автор как бы забывает о них. Быть может, этому способствует обилие лирических отступлений, которые хороши сами по себе, но иногда тормозят действие.

От Михаила Алексеева, настоящего художника, мы вправе были ждать волнующего полотна о нашей современности. Так оно и случилось. Автор, крепко связанный с родимым селом на Волге, упорно собирал материал для новой повести. Писатель уезжал за Волгу, оставляя друзьям сразу два адреса: ищите его в Саратовской или Волгоградской области. Для того, чтобы написать повесть об одном селе, надо объездить много сел!

И вот — «Хлеб — имя существительное», повесть в новеллах. Наша жизнь настолько стремительна и многообразна, что неспроста мы, писатели, ищем для ее образного,

концентрированного воплощения новые формы. Так появился своеобразный жанр повести в новеллах, романа в новеллах. Иначе бы вряд ли удалось Михаилу Алексееву относительно небольшую площадь повести так густо заселить самыми разными персонажами.

Это жители тех самых Выселок, о которых местный философ, сторож при «наиважнейшем объекте» — хлебе дед Капля говорит: «В коммунизм Выселки придут последними». Но ни сам Капля, ни многие его односельчане, ни автор повести не хотят мириться с таким положением вещей. Ибо колхоз «мог бы быть и передовым также по всем показателям».

Сделав героями повести людей отстающего колхоза, вернее, одной из его бригад, Михаил Алексеев не противопоставляет им по известной схеме людей передового колхоза, а так рисует большинство высельчан, что мы видим в них самих силы, способные при определенных обстоятельствах творить чудеса.

Автор щедр на портреты хлеборобов, на первый взгляд, простых, а на деле сложных, с богатой душой. Вот они — золотые советские люди, что прошли сквозь огонь и воду. Такие родные, неповторимые, с присущими им отдельными человеческими слабостями, они властно стучатся в сердце читателя. Они, хозяева жизни, противопоставлены художником людям иной закваски: спекулянтам, рвачам, дезертирам.

Помню, на встрече в ЦК комсомола, куда были приглашены писатели полюбившихся молодежи книг, молодые волгари преподнесли своему писателю–земляку огромный пшеничный каравай, так сказать, «хлеб — имя существительное». Мой друг, смущенно улыбаясь, ответил, что он еще в большом долгу перед земляками. И рассказал, как в пригородном поезде один из них образно заметил: «Хлеб — самое главное. Хлеб — имя существительное, остальное все — прилагательное».

— Низкий поклон вам, писатели земли русской, за то, что воспеваете нелегкий труд хлеборобов, — сказала бывшая колхозница, а в то время аспирантка Воронежского сельхозинститута Антонина Косьянчук.

Прошли годы, и вот в одном из московских кинотеатров после премьеры фильма «Журавушка», поставленного по этой алексеевской повести, мы встретились с автором. Он был радостно возбужден и даже смущен. Вопрос его был несколько неожидан:

— Хочешь еще посмотреть?

Это было сказано с такой детской непосредственностью, что мне невольно вспомнилось, как мы мальчишками смотрели полюбившиеся фильмы сразу по нескольку сеансов подряд.

Недавно на экраны вышел фильм «Русское поле», созданный по роману Михаила Алексеева «Ивушка неплакучая». Он продолжает тему повести «Хлеб — имя существительное», вернее, расширяет и углубляет ее. В «Ивушке неплакучей» писатель рисует душевную красоту, благородство и многотерпенье русских женщин, наших современниц. Большой популярностью у читателей пользуется алексеевская повесть «Карюха».

А впереди новые многолетние нелегкие поиски. Снова и снова возвращается мой друг к рукописи романа «Сталинград», которому быть может, суждено стать главной книгой его жизни. Снова уезжает к родной матушке-Волге, на места былых боев, к поднявшимся из пепла стенам легендарного города–героя. Большой тебе удачи!

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Поэму Сергея Викулова «Преодоление» я услышал еще до ее опубликования. Автор читал самозабвенно, горячо, чувствовалось — он говорит о наболевшем, хорошо знакомом. Поэму увлеченно слушали критики Владимир Архипов, Валерий Дементьев, Александр Власенко. «Прозу» сельской жизни сердце поэта переплавляло в настоящую гражданскую поэзию.

По страстности, смелости, знанию проблем сельского хозяйства поэмы Викулова можно сравнить с памятными очерками Валентина Овечкина. Поэт перешагивает установленную рафинированными снобами неписаную черту поэзии, насыщает свои вещи хлесткой публицистикой. Эти правдивые строки были написаны еще несколько лет тому назад:

Где рано сеяли, где поздно,
старались глубже — для тепла, —
могилы делали — не гнезда,
и кукуруза не взошла.
Хоть те участки в перепашку
пошли — беда не велика.
Но веру в дело — вот что страшно —
убили в сердце мужика.

Недавно один товарищ из Курской области читал мне эту главу наизусть. Значит, дошло.

Сергей Викулов родился в дальнем вологодском селе. С

малых лет он приглядывался к крестьянскому труду отца, учился ценить и уважать тех, кто сеет рожь–кормилицу. Свою поэму «Окнами на зарю» автор посвятил памяти отца–землепашца и солдата.

Топотали цепы на снопах, как по нотам.
Улыбался отец, наставляя сынка:
— Коли взялся работать,
работай до пота,
а без пота работать — валять дурака!

Эту простую крестьянскую истину на всю жизнь запомнил будущий поэт.

Да и то:
хлебороб, он же издавна знает:
мать сырая земля
не от сводок рожает — от любви неизменной!
В ответ на любовь
отдает она людям зеленую кровь!

Сергей Викулов не страдает близорукостью, которая порою удивительно склонна к черным очкам. Нет, позиция поэта по–настоящему партийна, наступательна. Поэтому–то его так и радуют поднимающиеся ростки нового в деревне.

Нету старой деревни! Кого там обманывать?!
Моргунка тоже нет. Уработался. Спит.
Нет! И строит деревня сегодня все заново:
избы, клубы, дворы, психологию, быт.

Кстати, о психологии. Викулов умеет не только остро поставить злободневные проблемы, но и заглянуть в душу человеческую. Путь Валерия, нового председателя колхоза из поэмы «Преодоление», отнюдь не усеян розами. Трудно на работе, изменила любимая, «выскочившая» замуж за приезжего гостя,

лишь бы убежать из села. Но человек выстоял, поднял на ноги колхоз.

Любит русский человек удаль, любит праздник силы и ловкости, а тайную печаль прячет глубоко в сердце, подальше от чужих, недобрых глаз.

Что им сон — девчатам нашим!
Каблучками словно шьют.
От любви сгорают — пляшут,
От измены сохнут — пляшут,
И зимой и летом пляшут —
Как они не устают?!

И тут вспоминается иное, горькое стихотворение Сергея Викулова о деревенских женщинах, названное «После войны». Поэту сурово и человечно удалось передать невеселую бабью вечеринку. В подтексте этих правдивых строк чувствуется некрасовская боль:

А тоска велика, без меры,
Встанут в круг, подперев бока, —
Сами дамы и кавалеры,
Ни единого мужика.
Ну хотя б один завалящий,
Даже пусть инвалид какой.
Покурил бы, коли курящий,
Уцелевшей обнял рукой…

И в радости и в горести поэт хочет быть с народом. Поэтому–то его так обнадежила вырастающая новая изба на месте отцовского пустыря. Пусть под цветущей черемухой стоит новый дом возвратившегося земляка, и непременно окнами на зарю!

Здесь, среди пахучих росных лугов, лесов и распахнутых сердец, берет свое начало река Поэзия, вливающая новые силы в душу поэта.

Да вот она — незамутненная!
Склоняюсь я и жадно пью

ее гремучую, студеную,
ее дремучую струю.
Не кипяченую, из чайника,
в котором в накипи эмаль…

С. Викулов в Узбекистане

Неспроста когда–то большой русский писатель Федор Панферов приметил вологодского юного поэта, недавнего солдата. Есть у Сергея Викулова добрая хватка и в поэзии и в жизни. Это ему во многом обязана своим рождением молодая писательская организация Вологды, в которой царит дух настоящей творческой дружбы. Какие интересные поэты там выросли! Самобытные лирики Александр Романов п Ольга Фокина, лирик и эпик Василий Белов… Их догоняет поэтический подлесок.

Есть у Викулова стихотворение «Ледоход», которое, по–моему, является своеобразным ключом ко всему его творчеству:

Я дьявольски люблю его работу —
Неукротимый ход воды и льда.
Что мне напоминает он?
Пехоту,

Штурмующую крепости, когда
Отваге тесно на широком поле
И цепи не редеют — их все боле, —
И наша сила верх–таки берет!..
Штурмуют льдины мостовой пролет!

Но не — всякая льдина стремится к пролету. Одна правит к берегу, а другая «на колке около моста угрюмо наслаждается покоем», чтобы потом оставить «после себя лишь грязное пятно».

Интересна новая викуловская поэма «Одна навек». Детям солдат предстояло стать солдатами. Росли они в трудное время, и родители не думали приучать их к легкой жизни. Сыны подражали во всем отцам, даже в играх.

Рубали сабли «белых гадов»…
И не было у них, мальцов,
Ни булочек, ни шоколадок,
ни даже просто леденцов,
ни «ружей» и ни «пулеметов» —
стругали доски для игры…
Но было что–то, было что–то
у них тогда, у желторотых,
важней всей этой мишуры!

Да, у них была большая вера в правое дело своих отцов. Священная вера, способная обыкновенного мальчишку сделать героем, поднять на подвиг. Многие из них потом не вернулись с войны. А разве меньше подвиг их верных невест, на плечи которых легли в тылу и мужские заботы? Даже получив скорбные похоронки, эти удивительные русские девушки продолжали ждать своих суженых. Год, два, три, целые десятилетия…

Ах, сколько же без вас, ребята,
поблекло губ, потухло глаз
и залежалось кофт несмятых
и платьев, сшитых про запас.
А сколько хромок синемехих,
у вас гостивших на руках,
обезголосело навеки,

рассохлось в старых сундуках.

Простые бытовые детали, озаренные в поэме большим чувством, становятся настоящей поэзией. Какого человека могут оставить равнодушным строки, рассказывающие о судьбе юных патриотов, во имя Родины отложивших «на потом» даже любовь?

Все–все, чем юность так богата,
чем вечно молодость жива,
швырнули вы в огонь, ребята,
охапкой полной, как дрова.

Неожиданно смелый и тонный образ. Так и видишь бесстрашных и щедрых парней в пилотках, защитников родной земли, насмерть стоявших за каждую ее пядь.

Швырнули в самую середку
огня… И ваша ли вина,
что не спалила сразу глотку,
а поперхнулась лишь война?!
…Да, отступили вы… Но каждый
сто раз тот горький проклял путь!
Да, шли назад… Но пули вражьи
вас убивали только в грудь!

Здесь мысль и чувство, как бы сами собой соединившиеся, легко и естественно становятся достоянием поэзии.

Поэма Сергея Викулова написана живым, ярким, народным языком. Здесь поэт, как и Владимир Гордейчев в своей новой поэме «Колыбель», идет вслед за крупнейшим мастером эпической формы Александром Твардовскпм. Творческая учеба у него порой ясно различима в поэмах Викулова, Исаева и Гордейчева, как она, безусловно, есть и в талантливой поэме Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом».

Новая поэма Сергея Викулова наталкивает на серьезные раздумья об эволюции современной поэмы. Очевидно, ошибаются те, кто утверждает, что век сюжетных поэм совсем прошел. Но не

правы и сторонники другой крайности, пытающиеся в наше время механически возродить сюжетную поэму. Время властно требует нового сплава лирики и эпоса. Прообраз будущей поэмы мне видится в лучших главах «За далью даль» Александра Твардовского и «Любавы» Бориса Ручьева, «Свидетельствую сам» Сергея Смирнова, «Поэмы времени» Анатолия Софронова и поэмы «Одна навек» Сергея Викулова.

Сергей Викулов силен там, где он выступает от имени своего поколения. Строки, обращенные поэтом к своим сверстникам, по–настоящему берут за душу:

Друзья! А я, когда мне трудно
бывает,
вспоминаю вас
и распрямляюсь снова, светел,
и мыслю, верою согрет:
пока вы есть на этом свете —
он будет белым,
этот свет!

ПОЛЕТ В ИСТОРИЮ

В винницком яблочном краю родился мальчишка. Отец его, сын тверских мужиков, лечил украинских крестьян. А Сергей мечтал о небе. Он жадно слушал по радио повести о дерзких перелетах семерки полярных летчиков, спасавших челюскинцев, о полете Михаила Водопьянова, доставившего папанинцев на льдину, что дрейфовала на северной макушке земного шара, о беспосадочных перелетах в Америку Чкалова и Громова…

В то время мы пели:

Над границей тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят…

Учиться Сергей приехал в Москву, к ученым теткам, авторам учебников на английском, французском и русском языках. Квартиру незамужних теток он про себя называл «женским монастырем». Дисциплина была сверхстрогая. Позже, став курсантом, он говорил друзьям:

— В армии дисциплина что! Вот у тетушек…

Но именно они научили его работать над книгой. Комсомол шефствовал над авиацией, и Сергей, председатель учкома, ходил в районный аэроклуб. Закончив в Москве десятилетку, Сергей Алексеев добровольцем ушел в Красную Армию. В первый же день войны он увидел на западной границе стервятников с крестами на крыльях, расстреливавших с воздуха колонны беженцев — женщин, детей и стариков. Ах, если бы он был в эту минуту в небе!

Но, став курсантом Чкаловского авиационного училища, он решил, что на летчика учиться слишком долго. Вместе с друзьями подобрал «танковый экипаж» и стал проситься на фронт.

— Помнишь, как нам дали по мозгам? — вспоминал позже его друг Герой Советского Союза Федор Шмырин. — А ведь мы были передовыми…

И все же Сергей стал летчиком. Блестяще закончив училище, не только сам летал, но и учил летать других. Он не представлял себе, что когда–нибудь сядет уже не за штурвал самолета, а в пассажирскую кабину. Но в воздухе пилота подстерегает много неожиданностей. После тяжелых травм врачи запретили ему летать. Что делать? В военном санатории он лежал в одной палате с Алексеем Маресьевым. Этот человек имел большое влияние на Сергея Алексеева, но автором книги об этом герое стал, как известно, не Алексеев. Он мучительно думал: кем быть?

Еще в детстве Сергей улетал в далекие и близкие эпохи, жадно слушал от стариков местные легенды о том, как по этим местам проходило свободолюбивое войско Богдана Хмельницкого, как казнили здесь оклеветанного Мазепой Кочубея, как совсем недавно билась с ясновельможными панами красная конница…

А в войну Сергей Алексеев с отличием закончил не только авиационное училище, но и заочный исторический факультет пединститута в Орейбурге, «обнаружил склонность к самостоятельной научно–исследовательской работе», как заключили его ученые руководители.

Да, они не ошиблись. Бывший летчик со своим новым коллегой историком В. Карцевым написал учебник «История СССР», который был признан лучшим на специальном конкурсе. По нему занимались ребятишки из начальных школ, которым писатель Сергей Алексеев сделал за последние годы много замечательных подарков.

Человек, который в дни войны учил летать молодых, горячих курсантов, теперь учит летать наших ребятишек. Да, летать. Он уносит их на крыльях мечты в прекрасную Страну подвигов. Умеете читать? Так прочтите же увлекательные рассказы о

подвигах ваших предков, ваших дедов и отцов.

Вот вам не один, не два, а целых «Сто рассказов из русской истории». Хотите совершить небывалое путешествие от разинских времен до времен ленинских? Раскройте эту правдивую, увлекательную книгу. Не так–то легко она создавалась. Сначала вышла первая книжка «Небывалое бывает». В ней было тридцать четыре исторических рассказа. Что ж, для молодого писателя это не так уж и мало. И взялся он за нелегкую тему — за петровскую эпоху, за сложный образ царя–реформатора. Сергей Алексеев не идеализирует царя Петра, но и не чернит его, как пытались делать иные историки и писатели.

Бывший летчик пролагает свою трассу в исторической литературе, опираясь на замечательный опыт наших ветеранов исторического жанра — Алексея Толстого, Сергея Бородина, Ивана Новикова, Сергея Григорьева, Алексея Югова, который приветствовал первую алексеевскую книгу: «Закрывая книжку С. Алексеева, я подумал с чувством глубокого удовлетворения: вот и еще одной добротной исторической повестью обогатилась школьная наша библиотека. Можно, оказывается, и в детской повести «совладать» с образом Петра, столь огромным и противоречивым!

И в то же время — это книга отнюдь не об одном Петре, это повесть о подвигах и величии родного народа!»

В книге «Сто рассказов из русской истории» Сергею Алексееву удалось создать живые запоминающиеся образы Петра Первого, Александра Суворова, Михаила Кутузова и их бесстрашных, выносливых чудо–солдат, лучших в мире. В коротеньких рассказах много драматизма, юмора, точных деталей, метких выражений.

Разве забудешь, как Суворов наградил медалью молоденького солдата, испугавшегося в первом бою? Поверил в человека, поддержал, и из него вырос герой. Или эпизод, когда Кутузов, взяв кадило у хмурого попа, отказавшегося отпевать геройски погибшего в бою солдата — «инородца», сам отпевает татарина, погибшего за Россию. Удался автору и образ вождя восставших крепостных крестьян — Степана Разина, именно такого, каким хранит его в памяти наш народ: щедрого, отзывчивого, бесстрашного. Недаром волжский мужик назвал яблоню в честь защитника народного — разинкой.

Ярко написаны и революционные были, где действует и детвора, «любимая героиня» писателя. В отдельный раздел выделены «Рассказы о Владимире Ильиче Ленине». Запоминается встреча в Смольном костромских крестьян с Ильичей, которого они еще не знали в лицо. На их вопрос: «Где здесь старшой, тот,

что ныне Россией правит?» — усмехнувшийся Ленин показал на рабочих и крестьян в коридоре. Костромичи не сразу поняли ленинский ответ, но зато когда поняли, он им очень понравился.

Полет бывшего летчика Сергея Алексеева в русскую историю явно удался. Недаром беговой дорожкой послужил ему его же школьный учебник истории, первая проба пера. Это заметил Сергей Михалков, хорошо изучивший детскую душу: «…Меня опять обрадовало то, что остановило на себе при чтении учебника, — легкость формы, умение рассказать детям о делах сложных просто, занимательно, а порой и весело…»

Первые шаги Сергея Алексеева–писателя поддержали Александр Фадеев, Сергей Михалков, Сергей Баруздин и директор Детгйза Константин Пискунов.

Теперь они объединились и помогают друг другу — Алексеев–историк и Алексеев–литератор. Известно, что в авиационном звене бывают ведущий и ведомый. Настоящие большие удачи у Сергея Алексеева там, где ведущим оказывается литератор, а ведомым — историк.

Кстати, писатель отдал дань и своей первой любви — авиации. Он вместе с украинским поэтом Богданом Чалым написал сценарий кинофильма «Закон Антарктиды». Надо надеяться, что мы еще увидим фильмы, поставленные по историческим рассказам и повестям Сергея Алексеева, ибо лучшие из них кинематографичны.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ПУЛИ

В поэме «Суд памяти» Егора Исаева зрелость мысли слилась со свежестью чувства. Словно с высокого холма смотрит поэт на мир, тревожась за его судьбу.

…Забытое старое стрельбище, засеянное не зерном, пулями разных калибров. Поэт нащупал нитку, за которую можно распутать клубок злодеяний гитлеровцев и их предшественников, отцов германского милитаризма. Потом это стрельбище разрослось до гигантских размеров. Отсюда на Запад и на Восток хлынула лавина огня, отсюда бросил фюрер на мирные народы своих натренированных убийц. И солдат Герман Хорст в этой лавине был малой огневой точкой.

Хорсту твердили, что он «должен быть жесток и, как взрыватель, прост». Но в груди солдата стучало живое сердце, в котором пробивался запретный росток, хранящий и материнскую улыбку, и Рейн, и тишину, и свет девичьих глаз. Отсюда, со дна небронированного сердца, как ртуть, потом станет подниматься страх, нараставший у таких, как Хорст, вместе с беспощадным

огнем возмездия.

Уцелевший Герман Хорст сменил солдатскую шинель на рабочую спецовку. Но его совсем не интересует, где он работает и что производит. И здесь, как когда–то на фронте, он живой автомат. Главное — покой, домашний уют. К чему большая политика! Он обзавелся семьей, растит сына. «Кино в субботу, кирха в воскресенье. Все было так незыблемо и вдруг…» Хорста рассчитали, как когда–то в юности.

И вот он стоит безработный на безработном стрельбище. Есть о чем вспомнить Хорсту. Но не для воспоминаний пришел сюда вчерашний солдат. Он предприимчив: убитых не вернуть, а свинец во много раз дороже винограда. Домой Герман вернулся с рюкзаком, туго набитым пулями. Да, да, пулями, из которых над газовой плитой капают свинцовые слезы. Война мало чему научила Хорста. Ему плевать, что из его свинца будут делать потом. Лишь бы была довольна и сыта его семья. Ох, как живуча эта философия маленького человека!

Дальше, дальше распутывается клубок, связавший воедино стрельбище и патронный завод, на котором в юности работал Хорст, когда «коммунистов ставили к стенке».

А Хорст не видел, стоя у станка.
Как страшно тяжела его рука.
Работа есть работа!
Без помех.
Патронный цех,
Как макаронный цех.
Сопел станок —
Плевок! —
И на лоток
Срывалась пуля ростом с ноготок —
Праматерь всех снарядов и ракет.

Рядом с Германом работал Ганс, считавший, что «патронный цех, как похоронный цех», Ганс, попавший затем на Восточный фронт и испытавший на себе весь ужас и позор разгрома. Теперь, много лет спустя, встретившись с Германом на заброшенном стрельбище, он рассказывает о своих хождениях по мукам в зимней выжженной степи, о молчаливом суде над ним русских стариков и женщин, спасших в своей землянке замерзавшего немецкого солдата: Гансу никогда не забыть их взглядов.

Но Хорста и этот потрясающий душу рассказ не пронимает.

Он думает об одном: свинец — хороший бизнес. Вместе с безногим Куртом, негодующим на то, что на развалинах войны дети играют в войну, вместе с много повидавшим Гансом мы начинаем возмущаться аполитичностью Германа. Не благодаря ли невмешательству подобных ему, к власти пришел Гитлер, а теперь вербуют новые отряды всякие реваншисты? До каких пор будет дремать обывательская душа Хорста? Поэт нарисовал ее тонко, без пережима.

«Запомни, Хорст, как дважды два: огонь, он возвращается!» — говорит безногий Курт Гофман. Ему вторит гневный голос поэта:

И кровь лилась.
Большая кровь лилась
Всеевропейским пятым океаном.

Погибли миллионы людей. «Целая страна ушла ко дну, в дымы ушла, в коренья». А пули лежат в земле. Их, свинцовых, не берет тленье. Пройдут дожди — они не прорастут. Спокойно спит Хорст. А может быть, и не было убитых? Он не чувствует за собой никакой вины, этот маленький винтик чудовищной гитлеровской машины.

Но нет, ходит по земле босая Память, маленькая женщина. На голове ее меняются платки — знамена стран, потрясенных войной. И вот в одну из таких ночей она придет к Хорсту, когда тот будет плавить пули над газовой плитой. Придет и скажет:

— Я мать тобой убитых сыновей.
Тобой убитых и тобой забытых.
. . . . . .
— Но я же рядовой…
А рядовых, сама ты знаешь, за войну не судят.
— Нет, судят, Хорст!

Совершается невероятное. Все пули, выпущенные когда–то солдатом Хорстом, возвращаются к нему. «Я без тебя, без глаз твоих нецелеустремленная!» — говорит первая из них. За ней посыпались вторая… десятая… сотая… Впрочем, это дождь барабанит по крыше. Хорст проснулся. Но радоваться рановато. За окном — шаги, шаги живых солдат, которых гонят на вновь

открытое стрельбище, где берут свое начало две предшествующие войны. Кончился бизнес маленького Германа Хорста, начинается бизнес реваншистов и их заокеанских хозяев, тех, что жгут напалмом, травят газами вьетнамских детей и женщин.

Опомнись, Хорст, пока не поздно! На земле не должно быть ни одного человека, безучастного к преступной игре с огнем. Поэт верует в разум, в силу света. Как гимн человечности звучат торжественные жизнелюбивые строфы:

Земля добра.
И голубая Вега
Не может с ней сравниться,
С голубой.
Она собой
Вскормила человека
И гордо распрямила над собой.
Дала ему сама себя в наследство
И разбудила мысль
В потемках лба,
Чтоб превозмочь свое несовершенство,
Чтоб победил
В самом себе раба,
Возглавил труд
И совершил рывок
В надлунный мир…

Фронтовики пришли в Литинститут имени А. М. Горького. Е. Исаев, В. Федоров, С. Мушник, И. Варавва

Шесть лет писал Егор Исаев свою поэму. Если в начале ее еще чувствуется влияние поэтов старшего поколения, то в финале автор выступает как зрелый мастер с собственным голосом, в котором то нежно звенят лирические ноты, то властно гремит медь публициста, встревоженного думой о судьбах нашей планеты. Поэма эта писалась на моих глазах — от первоначального замысла, о котором Егор Исаев рассказал ныне покойным Борису Ромашову и Федору Панферову, до последнего обсуждения уже почти завершенной поэмы на Высших литературных курсах, где товарищи, обрадованные удачей поэта, дали ему немало дружеских советов.

Егор Исаев вложил в эту поэму опыт своей солдатской юности, видавшей Европу с глазу на глаз и зорко подмечавшей чужие обычаи, чужую психологию, чужую мораль. Много дала поэту учеба у Александра Довженко, великого художника нашей эпохи, повлиявшего не только на киноискусство, но и на литературу. Отмечаешь запоминающиеся детали, умение мыслить масштабно и в то же время очень конкретно, — видеть небо, но не забывать о земле.

Те, кто не знал Егора Исаева до поэмы «Суд памяти», могут подумать, что это его первая вещь и что удача пришла к нему опьяняюще легко. Нет! До этого был угловатый юношеский цикл в сборнике «Солдатские стихи», первая ученическая поэма «Над волнами Дуная», многолетнее редактирование чужих стихов, которое не прошло даром, наконец, удивительный, крылатый

перевод замечательной поэмы узбекского поэта Султана Акбари «Пламя». Жаль, что наши критики его не заметили. Были еще попытки написать поэму о селе и киносценарий на ту же тему. Пожалуй, без всего этого — без первой своей поэмы, многолетнего редактирования, перевода чужой поэмы, без иных поисков, «Суд памяти» не был бы тем, чем он ■стал теперь.

Я не удивился, когда узнал, что мой друг вернулся к теме родного села. Название поэмы, над которой он сейчас работает, — «Не вся земля в городах». Работает много лет, неторопливо. Фрагменты, которые я слышал, интересны. Хочется верить в большую удачу.

Недавно в редакции «Правды» мне довелось слышать, как критики Николай Потапов и Сергей Кошечкин читали вслух гранки со строфами из новой исаевской поэмы. Всех присутствующих покорили лирические строки о коне, на котором когда–то держалось все крестьянское хозяйство. Сразу бросилось в глаза умение автора от бытовых деталей свободно перейти к большим обобщениям. А назавтра этот фрагмент читали миллионы.

Здесь же, в редакции «Правды», Егор Исаев стал вспоминать о своих встречах с Александром Твардовским, которого считает своим учителем. Рассказал о редактировании книг Александра Трифоновича, о его уважительном отношении к творчеству Дмитрия Ковалева и Василия Федорова, о том, как он, Исаев, просил Твардовского прочесть чудесную повесть «Карюха» Михаила Алексеева и как больной поэт сдержал свое обещание.

Жаль, что Александр Твардовский уже не прочтет новой поэмы Егора Исаева. В ней живы традиции автора «Страны Муравии» и «За далью даль». И в то же время мы слышим исаевский голос с собственными интонациями:

А все оттуда, друг мой,
Все оттуда,
Все от Микулы, пахаря того.

МИННЫЕ ПОЛЯ

С поэтом Михаилом Годенко мы познакомились в Литературном институте. По всему чувствовалось, что Михаил служил во флоте: ходил он чуть вразвалочку, уверенно. Помнится, он любил рассказывать о своем родимом Приазовье, куда уезжал на лето.

А впрочем, что же это я описываю поэта «презренной прозой», если у него есть добротный «Автопортрет»?

Держусь за землю цепкими корнями.
Не верится?
Попробуй оторви!

Что это? Неужели самолюбование? Нет и нет. По существу это не столько автопортрет, сколько обобщенный портрет своего поколения, прошедшего сквозь обжигающие фронтовые вихри и минные поля. Здесь ничего не говорится о нелегких испытаниях, но они ясно ощутимы, ибо такой характер закалялся в жестоких схватках.

В годенковской поэтической книжке «Лучшее имя» есть одноименное стихотворение, открывающее ее. В нем бесхитростно рассказывается, как лирический герой выбирал имя для сына.

Новейших есть имен немало,
Есть выходцы из дальних стран…
Я одарю тебя, пожалуй,
Коротким именем Иван.
Оно всех ближе,
Всех роднее.
В нем сила русская и ум,
В нем сказки деда–чародея,
Колосьев звон,
Дубравы шум.
…В нем
Пресня стойкая
И Зимний,
И волжский взнузданный поток…
Достойное я выбрал имя.
Не урони его, сынок!

Михаил Годенко душой интернационалист. Первое его стихотворение, написанное еще в школе, было посвящено испанским республиканцам. В лирических книжках Годенко меня всегда подкупала простота и искренность: автор писал о том, что

его по–настоящему волновало — будь то глаза любимой, в которых ему виделись «степи с синевою» или деревушка земляков–переселенцев на Амуре, из которой «вся Украина мне видна».

С годами Михаил Годенко все смелее и смелее осваивал жанр поэмы. Он шел от украинской народной думы и молдаванской дойны. Все его шесть поэм сюжетны, насыщены зримыми, запоминающимися деталями. «Людское счастье», «Бессмертник», «Цветет акация» и «Надия» рассказывают о судьбах земляков из родного поэту Приазовья. «Последний» и «Добрые всходы» повествуют о людях возрожденной бессарабской земли.

Если в ранних поэмах местами чувствовалось влияние других авторов и даже некоторый схематизм, то такая поэма, как «Надия», захватывает читателя. Это волнующая, зрелая вещь. Чудесная украинская дивчина Надия, угнанная на чужбину нацистами, нарисована удивительно живо. Этой Надьке — «Козе», бесстрашно плававшей в Азовском море и смутившей покой не одного хлопца, жизнерадостной, неугомонной девушке, предстояло стать человеком–роботом. Вернее, ее такой хотели сделать нацисты, бросив в неволю, на военный завод.

Многое довелось испытать Надии до того, как она вернулась на родной двор. Запуганная нелепыми слухами:

«Тюрьмы ждут вас на Востоке,
Ждут колымские морозы!» —

она вместе со своим мужем, бывшим невольником–рабочим, оказалась в Америке. Тонко поэт передает душевное состояние своей героини на чужой земле. С горькой болью вспоминает Надия беззаботную юность в солнечных приазовских степях:

Густосахарные дыни,
Густо–синий виноград.
Надька ползала по глине,
Лазила в совхозный сад…
Нет!
Чужие здесь баштаны,
Виноградник здесь чужой,
Степь чужая без курганов,
Сад нерослый за межой.
Виноград с полынным соком,

С кислым соком кавуны.
Солнце всходит не с востока,
А с закатной стороны!

Надия похоронила на чужбине любимого мужа. У женщины, страстно желавшей вернуться на родину, американская полиция отобрала малолетнего сына. И вот мы видим седую молчаливую героиню поэмы на родимом подворье.

Твой муж не вырвется оттуда —
Чужой землею взят навеки.
Но сын приедет.
Веришь в чудо.
Он твой,
Как эти травы, реки…

Чувствуется, что в основу поэмы положена живая, потрясающая человеческая судьба. Многие герои Михаила Годенко прошли через «минные поля», как прошел через них и сам поэт, попавший на Балтику по комсомольскому набору. Простой матрос, он служил на сторожевом корабле «Снег» в дни битвы с белофиннами, а в начале Отечественной войны познал тяжелые испытания Таллинского перехода, где седели безусые юнги. Сражался Годенко и в морской пехоте.

Первые стихи Михаила Годенко были опубликованы в кронштадтской газете «Огневой щит». Способного поэта–моряка приметил Александр Прокофьев. В дни блокады в Кронштадт приезжали исхудалые Николай Тихонов, Вера Инбер и Ольга Берггольц. Они читали стихи балтийцам, среди которых был и Годенко.

А через несколько лет на Втором всесоюзном совещании молодых Михаилу Годенко суждено было заниматься в поэтическом семинаре, которым руководили Вера Инбер и Александр Макаров. Ассистентом у них был Сергей Наровчатов. Когда Годенко с моряцкой прямолинейностью стал «щипать» стихи молоденького Цыден–Жапа Жимбиева, Макаров отозвал его в сторону и покачал головой:

— На кого нападаешь? Это, можно сказать, бурятский Пушкин. Он рифму ввел в бурятскую поэзию. Ему могут еще и памятник поставить.

В Литинституте Годенко с Жимбиевым подружились. Недавно я видел, как они по–братски обнялись после многолетней разлуки. Курс, на котором учился Михаил Годенко, был сильный. Много фронтовиков. Юрий Бондарев, Ольга Кожухова, Евгений Винокуров, Семен Шуртаков, Владимир Тендряков, Владимир Солоухин… Добром вспоминает Годенко тогдашнего директора Литинститута Федора Гладкова, тепло принявшего юных победителей, и руководителя своего поэтического семинара Александра Коваленкова.

Не все пережитое умещалось в годенковские стихи и поэмы. Тогда–то и родился роман «Минное поле». Напечатан он был в журнале «Москва». Интересный роман поддержал рецензией Михаил Алексеев. Он заметил главное, что отличало прозу вчерашнего лирика: «Поэтическая практика, поэтический стаж, — а он у Михаила Годенко не такой уж малый, вероятно, подсказали ему, что художественная деталь не только в стихах, но и в прозе — штука весьма важная, она поможет тебе не только резко сократить количество страниц на описание событий, но и самым кратчайшим путем — что, разумеется, важнее — достигнуть сердца и ума читателя, взбудоражить его, взволновать».

Да, прозаику Михаилу Годенко очень пригодился его зоркий поэтический глаз. Он все подметил: и что «солнце перед заходом было мутное, словно налитый кровью бычий глаз», и как «дождь пройдется босыми пятками, сомнет лепестки, втопчет их в сырую землю», и как в темную военную ночь с тонущего транспорта «люди сыпались в воду, словно галька с обрушенного берега».

Автору романа «Минное поле» удалось и большее: мужественный, обаятельный характер главного героя Супруна, отграненный суровым временем. Ему пе страшны «минные поля» не только военного, но и мирного времени. Супрун научился глубоко разбираться в людях. Встречались, конечно, в первой книге и отдельные стилевые промахи.

Второй роман Михаила Годенко «Зазимок» написан более уверенной рукой. Здесь в центре повествования уже не один человек, а четыре сверстника. У каждого свой характер, своя судьба. Трое честно прошли огненную реку войны, четвертый стал искать брод. В начале романа мы видим их озорными мальчишками на берегу целебного ключа, а в финале — трое хлебнувших лиха сорокалетних мужчин хотят услышать правду от четвертого, который в войну стал отступником.

Роман лиричен. Он весь пересыпан меткими психологическими деталями, запоминающимися степными пейзажами, оттеняющими настроение героев, памятными приметами довоенного, военного и послевоенного времени. Книга

освещена большой любовью автора к приазовской родной земле и ее работящим людям. Прочтешь такую вещь, и от души хочется посоветовать прочесть ее своим друзьям, знакомым.

Мне понятно волнение нашего старшего товарища по перу Сергея Сартакова, который прочел «Зазимок», лежа в больнице «на краю Москвы» и сразу же откликнулся:

«…Хорошая, очень хорошая книга у Вас получилась. Своя, годенковская, не напоминающая никого другого. Все как–то просто, ясно, по–житейски знакомо. Вырос я, как Вы знаете, в Сибири, и наша природа и быт весьма и весьма несхожи с тем, что Вы живописуете, но, дорогой Михаил Матвеевич, какие же изумительные и крайне интересные подробности Вы подбрасываете читателю, легко, ненавязчиво, а в память все это потом очень крепко врезается.

Не говорю о людских характерах, поскольку они рельефны и логически последовательно развернуты, разве лишь иногда в немного замедленном темпе. Но это, собственно, нельзя и поставить в упрек — это Ваша писательская манера, я бы сказал, двигать свое повествование не на мотоцикле, а на упряжке добрых сильных волов…»

Мастер художественного слова метко схватил существо манеры своего младшего товарища. Такой четкий и емкий анализ не столь уж часто встретишь и у профессиональных критиков. Интересно и замечание Сергея Сартакова:

«…Из всей книги единственное слово меня очень резануло. Это — «понять» (третья строчка снизу, в самом конце). Напрашивается: «Разобраться во всем до конца». Да и закончить вроде бы лучше словами: «Без этого нельзя». Самая последняя фраза лишняя. И тоже двусмысленная. Уж лучше просто бы повторить: «Без этого нельзя. Без этого — никак нельзя…»

Речь идет о финале романа. Конечно, «понять» по отношению к бывшему отступнику — совсем не то слово.

М. Годенко с отцом и матерью в родном селе

Насколько же глубже и точнее сартаковский вариант: «Разобраться во всем до конца».

А вот у меня в руках тонкая книжка библиотечки журнала «Советский воин». Называется она «Зацепка». Здесь собраны морские рассказы Михаила Годенко. Море шумит не только в его стихах, романах, но и в коротеньких, правдивых новеллах.

Емкий годенковский стиль. Два–три мазка, и мы видим целую картину. Вот северный пейзаж, увиденный глазами лейтенанта: «Привык к тому, что в полдень не солнце светит, а луна. Крупная, белая, вся в пышном ореоле, точно в инее. Взойдет над черной водой и осветит, как ни в чем не бывало». А вот судьба моряцкая: «Помню, нас жестоко бомбили. Но мы ушли, ведя на буксире подбитый корабль из нашего дивизиона. Мы спасли его. Спасли друзей. Потом обороняли Таллин. Шли в Кронштадт, охраняя транспорты. Когда корабль подорвался, тот командир погиб. Он ушел на глубину вместе со своим судном. Корабль стал ему домом навеки. Помни об этом. И не бойся этого. Будь готов ко всему…»

Так из поколения в поколение наши моряки передают суровое, непоказное мужество, о котором просто и впечатляюще пишет Михаил Годенко. Героям своих стихов, поэм, рассказов и романов он, сын большевика, организатора приазовской коммуны «Пропаганда», отдал многое из пережитого, передуманного, перечувствованного.

Генрих Гейне говорил: для того, чтобы писать совершенную прозу, надо быть большим мастером метрических форм. Красочная, живая проза Михаила Годенко — одно из свидетельств тому. Бывший моряк–минер не только провел своих героев через «минное поле» жизни, но и сам умело обошел «минные поля» литературщины.

ОТ СЕРДЦА ДО ЗВЕЗДЫ

Мне довелось жить в Молдавии до Отечественной войны. Помню веселые молдаванские празднества, скрипки, бубен, веселый танец жок, задумчивые, протяжные дойны. На всю жизнь запомнился пушкинский бюст в тихом парке и надпись:

Здесь лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я…

Я выучил эту фразу по–молдавски. Никогда не забуду гостеприимства местных крестьян. И еще запомнились мне бесконечные сады со спелыми пушистыми абрикосами. Там в начале войны стояли зенитные пулеметы. На абрикосы никто не обращал внимания. Все смотрели на мост через Днестр, над которым надрывно выли фашистские бомбардировщики.

Молдавский поэт Петря Дариенко почти мой сверстник. Мне понятна его солдатская грусть по родным местам, которые топтали сапоги оккупантов. Помнится: в Харькове я видел на экране столицу Молдавии, над которой кружили черные птицы. А диктор комментировал: «Воздушная тревога в городе Н.». Кинохроника запоздала. В Кишиневе уже были войска Гитлера и Антонеску…

До войны Петря Дариенко мечтал стать учителем, а после войны стал журналистом. А в душе он всегда был поэтом. Поэт прошел академию войны и Высшую партийную школу. Был ответственным редактором республиканской газеты, министром культуры родной Молдавии, работает сейчас главным редактором «Советской культуры». Общественная деятельность, безусловно, повлияла на поэтический кругозор.

Дариенко повезло с переводчиком: Сергей Смирнов сделал его лирику достоянием самого широкого читателя. По–русски, как известно, читают не только русские… Чтобы понять своеобразие и глубину лирики молдавского поэта, стоит познакомиться с его программным стихотворением «Беспредельность», звучащим в переводе Сергея Смирнова очень по–современному:

Сердце в действии с умом
Разрушает все преграды.

Я ищу
в себе самом
Неразведанные клады.
Мир со сводом голубым,
Твердь земли,
моря и реки
Не имеют тех глубин,
Что таятся в человеке!

Биография поэта в его стихотворениях. Вот душевные строки об отце из «Слова к партии»:

Погиб отец мой.
Он схоронен где–то,
Но я его в душе не хороню.
И пламя сердца,
пламя партбилета
Горит, подобно вечному огню.

Лучшие вещи поэта — это стихи–раздумья, но раздумья, согретые горячим сердцем. Дариенко может «одушевить» фонарную лампу, которая «изливает световую душу на траву, на ветки, на дома», и заходящее солнце, что «схоже с сердцем раненым». И это не просто свежие образы, а образы большой эмоциональной силы. Чудится — ив прерывистом ритме стихов поэта мы слышим стук сердца:

Не хочу
Лежать на полке
Книгой,
Будто
В крепко сделанном
Гробу.
А хочу при жизни
Каждым мигом
Людям
Поверять свою судьбу.

Тема преемственности поколений проходит через многие стихи. Самое яркое символическое выражение она нашла в образе молодого орехового дерева, посаженного для потомков:

Кто посадил ореховое дерево,
Тот будет жить в грядущем
триста лет.

Какой след оставит человек на земле? Да, можно посадить символическое «ореховое дерево», а можно «лишь на песке морском» оставить след, который тут же смоет «гулливая волна». Из мысли рождается дело. Думы, рожденные в душе, уходят «в глубь времен, в общение с грядущим».

Наши думы остаются тут,
Вечные противницы уюта,
Думы, как бессмертники, цветут
И не отцветают потому–то.
Думы перебрасывают мост
Меж прошедшим и грядущим мигом.

Два образа проходят через все творчество самобытного молдавского поэта: образ беспокойного сердца и образ манящей звезды. В романтической поэме «Молнии» Петря Дариенко высказывает свое кредо: пусть звезды вблизи выглядят иногда совсем не звездами! Выдумай себе земную звезду, «утверди в своей судьбе, незакатной именуя».

Пусть царит всегда, везде
И не знает постаренья.
Поддержи ее в беде,
Ей отдай свое горенье!..

Большая любовь — это большая вера. «Следы от сердца до звезды находят путь прямей, короче», — утверждает поэт в

другом стихотворении. Недаром он так и назвал одну из своих книг — «От сердца до звезды».

СОБРАННОСТЬ

Поэт родился в подмосковном селе, и его по–сыновьи волнует все, чем оно жило и живет. С радостью он пишет о добрых переменах и с болью и тревогой о том недобром, что теперь уходит в прошлое. Тема защиты Родины «вошла осколком» в его грудь.

В предисловии к одной из ранних книг Юрия Мельникова «Костры на проталинах» Николай Рыленков писал: «Его стихи — это стихи солдата, привыкшего дорожить прямым и точно наделенным словом. Его поэзии не свойственны ни подогретый пафос, ни размягченная сентиментальность. Он знает, что подлинное чувство немногословно, даже скупо на слова». В этой оценке метко схвачена сущность лучших мельниковских стихов. Пожалуй, если выразить ее одним словом, это будет — собранность, да, солдатская собранность.

Фронтовой юности Юрий Мельников посвятил книгу, выпущенную издательством «Молодая гвардия». В ней все крупно: и радость, и горечь. Еще в тревожном сорок первом подмосковный комсомолец вступил в ряды добровольцев, защищал столицу на Волоколамском шоссе. Огненный ветер не согнул, а закалил будущего поэта, тогда командира минометного взвода, которому предстояло освобождать знаменитые Пушкинские Горы. Теперь каждый год Мельникова приглашают в Михайловское на праздник поэзии. Здесь, на псковской земле, пролилась его кровь,, здесь он был тяжело ранен.

Ю. Мельников с А. Шуньковым, командиром дивизии, освобождавшей Михайловское и Пушкинские горы на Дне поэзии в Михайловском

Осколки мин
кусты косили.
Строчил по нашим пулемет.
Но кто–то крикнул:
— За Россию!
Друзья, за Пушкина,
Вперед!

Надо отметить добрым словом предисловие Героя Советского Союза Сергея Курзенкова к книге «На огненном ветру». Он хорошо знает стихи Юрия Мельникова и самого поэта. Оба они участники парада Победы, оба учились на одном курсе Литературного института имени Горького.

В миниатюре «24 июня» поэту удалось очень точно передать атмосферу парада Победы. Это яркое, живое свидетельство участника исторического парада.

А над Москвой

Сбирались тучи грозно,
Лил теплый дождь
С холодной высоты.
Несли мы, как
Победу,
осторожно,
С оружьем рядом
Нежные цветы.

Многое поэт сумел вместить в одну контрастную строку: «Лил теплый дождь с холодной высоты». В ней чувствуются и тяготы войны, и радость победы. Счастливо найденное слово «осторожно» передает напряженную торжественность момента, затаенное волнение, а «нежные цветы» рядом с оружием звучат отнюдь не сентиментально. В двух строфах автору удалось нарисовать не только картину парада Победы, но и передать внутреннее состояние его участников.

Миниатюре «Опять пишу я…» живая, выстраданная горьким фронтовым опытом деталь — осколок в груди — придает удивительную достоверность. В стихах о солдатской судьбе много точных, подмеченных одновременно сердцем и глазом деталей. Есть они и в книге «Иду к тебе». Вот стихотворение «У старой землянки».

Береза изранена люто,
И каска пробита насквозь…
Наверно, отсюда, кому–то
Вернуться домой не пришлось.
Он,
лес прикрывая собою,
Упал у ветвистых ракит.
Туман,
словно дым
после боя
Над темным оврагом висит.

Сдержанность в выражении чувства здесь еще больше подчеркивает трагизм происшедшего у землянки, скорбь бывшего фронтовика по неизвестному герою. В емкой концовке лесной туман недаром напоминает дым после боя.

Родному подмосковному селу Юрий Мельников посвятил в книге «Иду к тебе» целый раздел. В нем просто и неназойливо сливаются воспоминания о минувшем с новью. Эту простоту и задушевность приветствовал Михаил Исаковский, сам некогда ощутивший пожатье доброй руки Максима Горького, который заметил знаменитые ныне «Провода в соломе», первую книжку талантливого смоленского поэта. И здесь хочется привести сердечные слова Михаила Васильевича, обращенные к Юрию Мельникову:

«…Мне приятно было встретить такие стихи, которые написаны с большой искренностью и на нормальном русском языке, нормальным русским размером, без всяких выкрутас, без всяких сногсшибательных приемов. Честное слово, это гораздо лучше, чем все то, что пишут наши так называемые «модные поэты».

ЗАЩИТНИК

Впервые о существовании Максима Перепелицы я услышал по радио. День за днем мы слушали передачи о проделках этого лукавого хлопца из Яблонивки, призванного в армию.

Потом я прочел книгу «Человек с оружием», где веселые рассказы о Перепелице уживаются с «серьезными» повестями о войне и армии. Потом вышел фильм «Максим Перепелица», открывший нам одного из лучших комедийных киноактеров — Леонида Быкова. Он уже снялся в других фильмах, а многие зрители так до сих пор и зовут его — Перепелицей.

Игра этого замечательного актера помогла мне глубже понять природу юмора Ивана Стаднюка. Да, да, есть что–то удивительно общее в естественной, непринужденной, озорной игре Леонида Быкова и невымученном, заразительном юморе автора «Максима Перепелицы». Читатели и зрители тепло приняли и юмористические рассказы, и кинокомедии Ивана Стаднюка.

Мало кто знает, что писатель отнюдь не думал становиться юмористом. Начал он с вполне серьезных рассказов в литературном кружке Смоленского военно–политического училища. Кружком этим руководил Николай Грибачев. Первые рассказы Стаднюка появились в смоленской газете «Рабочий путь».

Грянула война. Успех глав «Они сражались за Родину» и «Василия Теркина» среди фронтовиков заставил Стаднюка задуматься. Юмор был у солдат на вооружении.

Редактируя одну из книг Стаднюка, Михаил Алексеев посоветовал писателю развить образ Максима Перепелицы,

написать еще несколько рассказов о веселом солдате. Так родился цикл новелл о солдатском любимце, написанных не без влияния «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Потом Иван Стаднюк закончил большой роман «Люди не ангелы», в который вложил весь свой жизненный опыт, все свое знание довоенного и современного села.

На эту эпопею, вышедшую в «Роман–газете», было много положительных рецензий. Но, пожалуй, наиболее непосредственную характеристику ей дает письмо, пришедшее из далекой Болгарии:

«Уважаемый товарищ Стаднюк!

Большое спасибо за удовольствие, которое я испытала, когда читала Вашу книгу «Люди не ангелы». Вот уже месяц прошел с того дня, как я прочла роман, а я еще живу с героями. Они предстают перед глазами, как живые…

Вы, советские писатели и поэты, заставляли меня плакать, радоваться и смеяться до слез…

Ваша болгарская читательница—Стойкова».

Новый роман Ивана Стаднюка назван лаконично — «Война». Автор его вооружен не только личным знанием первых боев, как непосредственный их участник, но использует и достижения современной советской военной науки, тщательно изучившей и обобщившей опыт Великой Отечественной войны. Строгую объективность, историческую правду в изложении событий Стаднюк сочетает с подлинной гражданственностью.

Удачно продумана композиция первой книги «Войны»,, которая дает читателю возможность побывать и в наркомате обороны, куда прибыл главный герой романа–остро мыслящий, растущий военачальник генерал Чумаков за новым назначением, и на местах внезапно начавшихся боев, и в кабинетах руководителей партии и Советского правительства. Уже сам факт, что главный герой романа с его прогрессивными взглядами на оперативное искусство был назначен накануне войны на более ответственную должность, говорит о многом.

Узловой сценой в романе является разговор в госпитале начальника кафедры одной из военных академий Нила Игнатовича Романова и его ученика Федора Чумакова, удастся или не удастся оттянуть назревающую войну между гитлеровской Германией и Советским Союзом. Два генерала, пожилой и молодой, скрупулезно взвешивают аргументы за и против. Они понимают, что, объяви мы открытую мобилизацию, Гитлер, подтянувший свои войска к самой нашей границе, тотчас же воспользуется этим для начала войны. Не дать ему предлога для чудовищной авантюры и в то же время быть готовыми отразить

возможный удар — такова была диалектически сложная задача советского генералитета.

Над этим думали и члены Политбюро, и советские дипломаты, всячески стремившиеся разрядить предгрозовую атмосферу. Первые сроки возможного нападения на нас фашистских орд, о чем доносила советская разведка, уже прошли. А может, Гитлер, этот «удивительнейший шарлатан двадцатого века, обходящийся с историей, как с гулящей девкой», просто шантажирует? И как бы не дать бесноватому фюреру вовлечь себя в опаснейшую авантюру? Ведь руководители правительств западных держав вели двойную игру. Они уже много лет подталкивали Гитлера на Восток и сейчас были не прочь столкнуть его с Советским Союзом.

Ивану Стаднюку удалось передать сложнейшую международную обстановку накануне войны. Знаменательно откровенное объяснение маршала Шапошникова со своим умирающим другом генералом Гомановым. Ведь никто иной, как маршал Шапошников, в свое время блестяще разработал план броска наших войск на помощь Чехословакии, а затем и план нашей военной помощи Франции. Но буржуазные правительства западных стран в свое время отказались от советской помощи. А ведь была реальная возможность раздавить Гитлера. Но западным политикам тогда невыгодно было это делать. И их флирт с Гитлером в дальнейшем был оплачен миллионами человеческих жизней. Как пророчество звучат слова умирающего Нила Игнатовича о том, что «правда имеет обыкновение подниматься даже из пепла».

Руководители Советского государства, Политбюро нашей партии делали все для того, чтобы не поддаваться на гитлеровские провокации, оттянуть войну хотя бы на год и укрепить новые западные рубежи Страны Советов. Безумный шаг зарвавшегося фюрера, решившего воевать сразу на два фронта, сорвал эти расчеты. Но Гитлер нырнул в кипяток.

Иван Стаднюк правдиво рисует трагизм и героическое величие июня сорок первого. Рассказывая, как под фашистскими бомбами и снарядами гибли бойцы, женщины и дети пограничных военных городков, он главное свое внимание сосредоточивает на яростном отпоре, который получили гитлеровцы с первых же часов войны. Ни переодетые в советскую форму фашистские диверсанты, ни немецкая хваленая техника не смогли внести панику в ряды мужественных защитников Советской Родины, сражавшйхся в крайне тяжелых условиях.

В романе действуют нарком обороны маршал Тимошенко, генерал армии Жуков, генерал–лейтенант Ватутин, работавшие в

Генеральном штабе Советских Вооруженных Сил. В трудной фронтовой обстановке показан герой романа генерал Чумаков и его боевые товарищи — полковник Карпухин, полковой комиссар Шилов, старший лейтенант Колодяжный и другие.

Федору Чумакову ничто человеческое не чуждо. Он горячо любит и тайно ревнует свою красавицу жену Ольгу, беспокоится за дочь Ирину, успевшую перед самой войной влюбиться в отчаянного парня — летчика Виктора Рублева. Генерал Чумаков бесстрашен и находчив в тяжелейших боях. Мы чувствуем, как буквально не по дням, а по часам мужает этот человек. Впечатляюще написан эпизод хирургической операции раненого Чумакова в окружении, его символический сон: встреча с дедами и прадедами, защитниками великой России. Психологически точны батальные сцены.

С сарказмом изображен карьерист Алексей Рукатов, который обязан своим восхождением… генералу Чумакову, некогда «согрешившему», пославшему этого субъекта на учебу, чтобы избавиться от него. Рукатов по–своему «благодарит» Чумакова: сообщает его дочери Ирине, которую пытается соблазнить, что ее отец якобы добровольно сдался в плен. Запугивание и шантаж — любимые средства карьериста. Нелюбовь писателя к своему персонажу настолько сильна, что Рукатов кое–где подан несколько «в лоб». Такие люди действуют тоньше и гибче. Недаром этот изворотливый человек, почувствовав, что «пахнет жареным», сразу же попросился из Наркомата обороны в действующую армию, ибо: «сейчас для него самое безопасное место — на фронте».

Интересно задуман образ белоэмигранта Владимира Глинского, бывшего графа, ставшего фашистским диверсантом. К сожалению, пока больше раскрыто мировоззрение этого отщепенца, чем характер. С любовью и юмором, заставляющим вспомнить лучшие страницы повести «Максим Перепелица», выписан образ начинающего военного журналиста, младшего политрука Михаила Иванюты. Оставшихся в живых однополчан, в том числе и одетого в форму советского командира Глинского, вывел из окружения раненый генерал Чумаков. Впереди тяжелые бои, иные испытания. Читатель ждет новых встреч с полюбившимися героями.

Роман «Война» учит мужеству и бдительности.

ЗЕМЛЯ ОТЦОВ

В 1950 году в сентябрьском номере украинского журнала «Днипро» была напечатана подборка стихов молодых поэтов с

предисловием Павла Тычины. Заголовком своего предисловия маститый поэт взял одну из строк харьковского поэта Юрия Герасименко, стихи которого тут же неоднократно цитировал. Уже те ранние стихотворения Герасименко привлекали жизнерадостностью, энергичным ритмом, конкретностью.

В них звучал «прорезающийся» собственный поэтический голос.

Никогда не забуду радость юного поэта, сельского учителя, державшего в руках свою первую книжечку. Он часто прибегал ко мне, делился своими планами, говорил, как сельские ребятишки жадно слушают его рассказы о жизни, скитаниях и стихах великого Тараса. За плечами Юрия Герасименко были нелегкие годы. На всю жизнь он запомнил холодно поблескивающий нацистский автомат, наведенный на него, мальчишку…

Думается, что поэт, издавший на Украине много книг, мог бы быть более разносторонне представлен в сборнике «Земля отцов», вышедшем на русском языке. Но и то, что вошло в сборник, давало представление о творческих поисках, гибкости и богатстве ритмики Юрия Герасименко. Автор пользовался и энергичным дольником («На крыльях», «Письмо») и классическими размерами, свободно владел белым стихом (особенно хочется отметить стихотворение «Нотный листок» в отличном переводе И. Бурсова). Переводчики, каждый в меру своих сил, старались донести до русского читателя своеобразие дарования поэта. Я лучше понял их трудности, когда мне довелось для издательства «Советский писатель» перевести новую лирическую книгу моего друга «Ясеница».

Точные, действенные слова находит Юрий Герасименко для описания трудовой красоты земли отцов, но его голос звучит гневно, когда поэт говорит об отдельных пустоцветах, дармоедах на этой земле. Будь то старый мещанин («Его жизнь») или молодой тунеядец, не желающий работать («Киномехайлик») — автор не дает им поблажки.

И куда «дитя» годится —
Как бурьян в полях оно.
Хоть под носом косовица,
В голове не пахано!
(*Перевод В. Цыбина)*

Здесь, как и в других стихах, Герасименко умело использует колючие народные словечки, живые разговорные обороты речи. И

не удивительно, что он зло издевается над антинародным искусством абстракционистов. «Я оттенок… я совсем без тела. Я без формы даже и без цели…» — поет некое «диво», качаясь на морских волнах.

И не знало диво почему–то,
Что оно —
Лишь капелька мазута…
(Перевод В. Цыбина)

В «Балладе про дорогу» автор в символической форме изображает многолетний трудовой подвиг нашего народа и клеймит тех, кто мешал ему, путался под ногами, звал свернуть с правильной ленинской дороги.

Сейчас, когда на Западе продажные писаки кричат о «народном капитализме», автор книги «Земля отцов» вспоминает об украинском сахарозаводчике Харитоненко, который заявлял: «Я сам из народа, я все отдаю для народа». Это, впрочем, не мешало ему отдать тайный приказ драгунам стрелять в недовольных. Напрасно мечтают за океаном недобитки из украинских националистов и их покровители о возвращении в наши края подобного «рая»!

Юрий Герасименко — самобытный поэт, в творчестве которого добрые классические традиции органично сочетаются с новаторством, продиктованным самой жизнью. Кроме стихов и поэм, он написал роман «Когда умирает Бессмертный». На Украине его хорошо знают. Русский же читатель запомнил поэтические книги, вышедшие в «Молодой гвардии» и «Советском писателе».

На мой взгляд, самая зрелая, главная вещь поэта — поэма «Дорошев яр». Это своеобразная поэма–фантасмагория. Ее полуфантастический сюжет помогает автору глубже проникнуть в историю классовой борьбы на Украине, в историю украинского народа. Четкая поэтическая форма, четкие идейные позиции.

Поэма начинается с обращения к врагам.

Я только для того живу, дышу,
Чтоб вам не дать дышать.
Да, для того
Оттачиваю меткие слова.
Пускай они шершавы, неизящны,

Зато весомы и сражают точно.

Автор из скромности уверяет, будто его слова «шершавы, неизящны». Вот что весомы и сражают точно — это верно. Поэма, несмотря на то что она написана белым стихом, очень музыкальна, насыщена аллитерациями, внутренними рифмами. Но их не замечаешь, так все они подчинены замыслу. Здесь не так, как бывает у некоторых поэтов, без всякого внутреннего повода демонстрирующих свою виртуозную технику.

Но вернемся к сюжету поэмы. У ее героя заболело сердце. Болезнь–видение призывает его к покою, к отказу от борьбы. Сам герой, кажется, вот–вот не устоит перед чарами коварного видения, но сердце его не поддается этому соблазну. И вот он, как некогда герой «Божественной комедии», оказывается в лесу. Это как бы реальный лес и в то же время символический. Своеобразный сплав реального и символического характерен для всей поэмы.

В этом полусказочном бору герой поэмы встречается с легендарным Дорошем, по имени которого назван яр. Дорош — по существу, символ свободолюбия трудового украинского народа. Он защищал крепостных мужиков от изощренных издевательств панов. Чудесные вещи происходят в Дорошевом яру. Здесь встречаются люди разных эпох — лирический герой — наш современник, конник–буденновец и, наконец, сам Дорош. Всех их объединяет лютая ненависть к угнетателям и беззаветная любовь к людям труда.

Ярко выписана галерея их антиподов. Особенно запоминается изворотливая фигура рыженького украинского националиста. Очень тонко, без нажима автор разоблачает этого изворотливого словоблуда, беспощадно срывая с него словесные одежды. Вслушаемся в речь этого «просто–украинца»:

Забудем споры!
Бедный и богатый,
Мы украинцы, только украинцы,
По крови братья.
Братством тем кровавым…
Э-э… вы простите,
братством этим кровным
Не дорожат, его хотят нарушить
Большевики–безбожники, кацапы —
Они, они лишь не желают мира!

Заставляя этого гибкого демагога оговориться — вместо «кровное» сказать «кровавое», автор выворачивает наизнанку его нутро. С миротворца спадает крестьянская одежда, а под нею — эсэсовский мундир. Таких «метаморфоз» много в поэме. Она метко бьет по нашим врагам.

Очень нужную, идейно–острую, злободневную вещь написал Юрий Герасименко. Не с меньшим сарказмом, чем образ украинского националиста, выписана и ж фигура заокеанского мещанина, поклоняющегося желтому дьяволу. «Литературная Украина» писала о том, что в современной украинской лоэзии давно не было произведения такой публицистической и эпической силы.

С большим неподдельным пафосом талантливый поэт воспевает бессмертное братство трудовых людей всех эпох.

БЕСПОКОЙСТВО

Первые стихи Александра Люкина я прочел в газете. Потом перечел. Захотелось вырезать. Вот небольшое стихотворение «Тень»:

Смешная тень:
Шла по жнивью.
Травой,
По острым шла камням,
Не отставала.
Но только грянул
Гром над головой,
Не светит солнце мне —
Ее как не бывало.

В общежитии Высших литературных курсов, куда Александр Люкин приехал с сормовского завода, мне доводилось слушать его новые стихи, записанные в большую тетрадь, напоминающую конторскую книгу. Сердце рабочего поэта было яростным резцом. И неуклюжая конторская книга становилась книгой жизни. Люкин так и назвал свою новую книгу «Жизнь». Она вышла в издательстве «Советский писатель».

Однажды Александр Люкин познакомил меня с человеком,

которого считал первым своим наставником, — Павлом Анисимовым. Он стихов не пишет. Работал геологом, теперь переплетчик. А в войну был командиром взвода. Этот невысокий подвижный человек обладал счастливым даром подмечать в людях талант. Он–то и открыл поэтическую искорку у рядового Люкина. Двадцать лет они считали друг друга погибшими в бою. И вот наконец бывший командир взвода встретил фамилию друга под стихами в газете. Жив! Саша Люкин жив! Адрес поэта было отыскать не так–то трудно. Многое вспомнилось после двадцатилетней разлуки.

Жадно вглядывался поэт в послевоенную жизнь. И больше всего его привлекали друзья по станку, надежные товарищи по знаменитому Сормовскому заводу. Рабочему человеку — вот кому не худо поставить памятник. А, впрочем, как бы он выглядел? Люкин любит правду. Пускай будет, как в жизни!

Стоял бы он, стеснялся бы кого–то.
Большой, сутулый, воплощенный в медь,
И руки, отнятые от работы,
Так и не знал, куда бы деть.

Труд — это отец изобилия. Поэт мог так передать азарт работы, что казалось, слышишь звон молотка, ударяющего с «необузданной медвежьей силой».

Молоток от ярости ослеп,
Молоток оглох от звона стали,
Повторяя:
Хлеб!
Хлеб!
Хлеб!
Никому зазря еще не дали!
Так давай!
Давай!
Давай!
(Давай!
Он летал,
Он пел, разгоряченный!..
Ах, какой же вкусный каравай,
Золотистый,
Только испеченный!

Это и есть отлитый в звонкую поэзию лозунг наших отцов: «Кто не работает — тот не ест».

Смотрел я в шумном курсантском общежитии на Люкина и его бывшего командира взвода и радовался, что тот может гордиться своим воспитанником. А ведь за плечами–то ухабистые дороги! Нелегко порой бывает? Да. Так пошутите, черт возьми! От души, по–русски.

Стихи Люкина не спутаешь со стихами других поэтов. И улыбка, и грусть, а порой и прямота до колючести — все у него свое. Пожалуй, лучше всего позиция поэта выражена в стихотворении «Партсобрание».

Три часа
Не затихала драка.
Дым — столбом
И души — догола.
Кто смеялся,
Кто стонал,
Кто плакал.
Злой и настоящей
Жизнь была.

Талантливому поэту удавалось правдиво нарисовать эту «злую и настоящую жизнь». В его стихах бурлили живые человеческие страсти, играло живое русское слово. Совсем немного строк ему требовалось, чтобы нарисовать характер, верно схватить настроение. Я что–то не помню, чтобы кто–то другой из наших поэтов так писал о любви:

Не молчи,
Не молчи,
Не молчи!
Лучше топай ногами,
Кулаками стучи.
Проклинай все на свете.
Грохни об пол стакан.
Лучше — гром,
Лучше — ветер,

Лучше пусть — ураган.
Но не эта
Обида и тишь.
Я уйду.
Как ты страшно молчишь!

Много и всерьез думал Люкин о жизни, а писал мало, да зато глубоко. Всего две строфы понадобилось ему, чтобы вылепить незабываемый характер, нелегкую судьбу русского чудо–солдата.

У него разрублена щека,
Шея искалечена снарядом
Правая схоронена рука
Где–то в пустыре
Под Сталинградом.
Но еще работает левша.
К черту
Все сочувствия и жалость.
Крепкая,
Солдатская душа,
Видимо, нетронутой осталась.

Если брать не внешние детали, а самую суть, то это стихотворение, конечно, можно назвать автопортретом: Александр Люкин прошел через многие нелегкие испытания, а душа у него «нетронутой осталась».

Александр Макаров, который вместе с Ярославом Сменяковым руководил нашим поэтическим семинаром на Высших литературных курсах, прислал Люкину в Горький такое письмо о поэме «Иринка»: «…Прочел ее с удовольствием и радостью за Вас, что пишется по–прежнему негладко и творится нелегко. «Иринка» — прелесть. Превосходный портрет — мозаика славной девушки «невоспетой золотой души». А что если попробовать сделать несколько таких портретов — молодого рабочего, к примеру. Это не страшно, что вы повторите прием, пусть прием даже будет обнажен. Только не надо его делать выходцем из деревни, хорошо бы ему дать городское детство, среди рабочих подростков. У вас выйдет!..»

В этом письме — весь отзывчивый, улыбчивый Александр Николаевич с его заботой, поддержкой, советами своим

ученикам. Он был критиком–поэтом, недаром же в юности писал стихи. Вдова нашего руководителя, передавшая мне это письмо, рассказала о большом количестве таких писем, хранящихся в семейном архиве. Александр Люкин очень ценил своего учителя и посвятил ему такие стихи:

А. МАКАРОВУ

Было скушно —
писал к нему,
было страшно —
писал к нему,
было больно —
писал к нему,
непонятно —
писал к нему.
Он ответит —
и скуки нет,
он ответит —
и страха нет,
он ответит —
и боли нет,
был он тем,
на ком —
клином свет.

Да, сила Люкина в удивительном лаконизме. Есть в его стихах крыловская чеканность, так и просящаяся в пословицу.

В предисловии к последнему люкинскому сборнику, вышедшему уже после неожиданной смерти автора, Михаил Львов вспоминает: «Когда Александр Люкин читал свои стихи в аудитории, он не знал, куда деть руки, стеснялся, читал тихо и неуверенно, но весь зал оживал, двигался, все улыбались, радовались, почувствовав в стихах неподдельную поэзию.

Александр Люкин пришел в литературу с большим жизненным опытом, но с юношеской чистотой и застенчивостью душевной. Тем тягостнее осознавать, что его нет уже среди нас. Жизнь Люкина внезапно оборвалась.

Но стихи его продолжают жить».

Я открываю книгу на странице, где напечатано стихотворение со странным названием «На своих похоронах».

Приснилось мне, что умер я,
Меня несут.
И бабы взвыли.
И про меня все говорят
Хвалу большую на могиле.
Как дорог каждый мой успех,
Как много я для жизни значу.
И я стою счастливей всех
И над собой всех горше плачу.

Сердцем понимаешь, он написал эти стихи в шутку. Но сейчас их воспринимаешь совсем по–иному. Какая по–ребячески чистая душа! Эту книгу он тебе уже не подпишет… Вот его сборники: «Жизнь», «Судьбы», «Беспокойство»… И самая первая «Мои знакомые». Памятная надпись: «А. Ив. Люкину от благодарных читателей. 1959 г.» У моего друга не осталось ни одной своей книжки, и тогда ему подарили этот сборник «благодарные читатели». Да, благодарные. Они не забудут тебя, Саша, крестьянский сын, сормовский слесарь, советский боец, русский самородок.

ПАМЯТЬ

31 января 1962 года вышел очередной номер газеты «Литература и жизнь». Номер как номер. Но необычно то, что читателей в этом номере больше всего привлекли стихи. Стихи ставропольского поэта Валентина Марьинского.

В редакцию стали приходить душевные письма. Вот одно: «… Не много было в периодической прессе за последнее время подобных им по форме и содержанию стихов. Они написаны с таким блестящим мастерством, что его уже не замечаешь. Они прекрасны своей мудрой простотой. Они волнуют мыслью, заложенной в них. Особенно значительно второе стихотворение «Не пришедший с войны». Автор сумел уложить в скупые строки стихов целую эпопею человеческой судьбы…

Я сейчас же прошла в комнату дочери, где собралась молодежь. И прочла им стихи. И как все притихли! У девушек покатились слезы из глаз, юноши, стыдясь, опустили глаза. Да, стыдясь, так как подобные стихи заставляют каждого посмотреть на свою слишком легкую жизнь с другой, трагической стороны!.. Такие стихи нужны молодежи… Хотелось бы знать, есть ли у автора еще печатные произведения? Простите за невежество —

есть ли у него книжки? Пожалуйста ответьте — будем искать. Прошу передать поэту благодарность ото всей семьи».

Умное и сердечное письмо это прислала Екатерина Михайловна Сергеева из города Ленина, познавшего нечеловеческие тяготы ледяной военной блокады. По–моему, такие письма надо печатать в газетах, издавать отдельными книгами, как когда–то мудрый, отзывчивый учитель Андриан Топоров издал отзывы не умеющих писать, но умеющих мыслить и тонко чувствовать алтайских крестьян, среди которых были и родные нашего космонавта-2.

О стихотворении «Не пришедший с войны» тепло отозвался и Константин Симонов. Через четыре года он в письме к автору повторил свою высокую оценку: «…Когда я заново прочел Вашу балладу, у меня снова мороз подрал по коже, как тогда, когда я читал ее первый раз несколько лет назад, и снова вслух захотелось читать ее первому попавшемуся человеку… Повторяю, Ваша баллада произвела на меня, когда я прочел ее впервые, и производит сейчас самое сильное впечатление. Мне вообще кажется, что это одно из самых сильных стихотворений о войне, которое мне довелось читать после войны в нашей поэзии…»

Пересказать эту балладу невозможно. Но проанализировать ее необходимо. Попытаемся это сделать. Я вновь и вновь перечитываю это удивительное стихотворение о лейтенанте, много лет лежащем в белой больничной палате. Он не помнит, кто он, но помнит, что надо вести роту в атаку.

За стеною,
Который не ведая год,
Человек,
Не вернувшийся с фронта, живет.
За высокой
Кирпичной Больничной стеной
Слышен крик по ночам:
«В наступление! За мной!»
…Спит земля.
Людям видятся добрые сны.
Но не спит человек.
Не пришедший с войны.

Почему всех нас так волнуют эти строки? Да потому, что поэту удалось не только рассказать об исключительной, трагической судьбе живого «человека, не пришедшего с войны»,

но и обобщить, собрать в единый фокус чувство фронтового братства и священное чувство долга, поставленного выше собственной жизни. А чувства эти живут в каждом фронтовике. Да, этот неистовый лейтенант есть в душе любого из нас. Это наша юность, наша совесть, то лучшее, что в нас есть. И в то же время эта баллада о конкретной человеческой судьбе, волнующей до спазм в горле:

Он не помнит
пи мать,
ни жену,
ни отца.
Снятся пули ему
Да осколки свинца,
Да внезапные вспышки
В тревожных ночах,
Да могилы друзей
В чужедальних полях…

Дыхание мирной жизни с гудящими поездами и растущими городами только углубляет трагизм судьбы вечного фронтовика. В «Не пришедшем с войны» пульсирует кровь горького и величественного фронтового поколения. Два плана — бытовой и философский, сливаясь, делают это произведение выдающимся в нашей поэзии. Его можно поставить рядом с такими вещами, как «Гренада» Ми–аила Светлова, «Мать» Николая Дементьева, «Смерть ионерки» Эдуарда Багрицкого и «Я убит подо Ржевом» Александра Твардовского. Нам не забыть лейтенанта, «не гришедшего с войны».

Только он не придет
Никогда, никогда:
Он в атаку идет,
Он берет города.
…Беспрерывно —
Уже восемнадцатый год —
Человек
в наступление
роту
ведет…

Не раз и не два автору этой баллады приходилось ходить в атаку. Враг был у самых ворот родного Кавказа. Окончив десятилетку в родной ставропольской станице Марьинской, юный поэт добровольцем в 1942 году ушел иа фронт. В боях на Северном Кавказе был дважды равен. После госпиталя направлен в красноармейский ансамбль песни и пляски. Еще в школе у него было три увлечения: литература, музыка и математика. В ансамбле литература и музыка подали друг другу руку: писал стихи в музыку к ним. А третье увлечение? Демобилизовавшись, парень из станицы Марьинской сдал экстерном экзамены на физико–математическое отделение учительского института, потом стал, как его отец, сельским учителем.

Но поэзия взяла свое. Вскоре я встретил могучего и застенчивого Валентина Марьинского в Литературном институте имени Горького. Николай Рыленков назвал его стихи «прекрасным образцом ясной и мужественной лирики».

А музыка? И она не забыта. На странице газеты «Советская Россия» появилась «Песня о курганах», где и стихи и музыка сочинены Валентином Марьинским. Мне в память врезался куплет:

Солдат, видно, пьяным от радости был,
Когда он с победой домой уходил.
Приладил он ловко
Шинель и винтовку,
А юность в окопе забыл…

Как–то мне довелось присутствовать на заседании редколлегии журнала «Огонек», где были прослушаны две новые песни Валентина Марьинского. «Огонек» и раньше печатал его песни. Но тогда автором музыки был профессиональный композитор. А тут… В руках моего друга была гитара, которая больше походила на фронтовую, чем на нынешние, модные — «голубые». Собравшиеся напряженно слушали, а потом долго не могли решить, какую же песню печатать — торжественно–задумчивую «Не пришли мы с войны» или же задушевную «Тополек». Понравились обе. Это были его последние песни.

А мне не меньше нравятся песни Валентина Марьинского «Котелок», напечатанный в родной ставропольской газете, и «А война продолжается», напечатанная в альманахе «Кубань». Поэту в своей новой книге «Век стали и нежности» удалось сказать

горячее, пристрастное слово от имени сверстников. И тут ему помогла память фронтовика, память коммуниста. Прощай, певучая душа…

БЕЛГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ

Когда в поэзию приходит новый своеобразный поэт, он приносит с собой не только свое видение мира, но и свою любовь к краю, где он вырос, ко всему тому, что впитал с молоком матери. Не только душа современника, но и родная природа с ее неповторимыми запахами и красками становится неотъемлемой частью его стихов и поэм.

Белгородская область граничит с Украиной. О прошлом этих мест хорошо сказал мой земляк Виталий Буханов в поэме «Оксана».

Тут Козачье, —
Их предки — днепровская Сечь.
Там Пушкарное, —
Жил порубежник суровый.
И сплелась у Оксаны русская речь
С украинскою мягкой певучею мовой.

Поэтому так органична для Виталия Буханова любовь к языку братского украинского народа, к его самобытной культуре. Дружбе двух великих народов, своему поколению, прошедшему сквозь огонь Отечественной войны, молодым современникам посвятил поэт три поэмы, изданные в Курске отдельной книжкой. Лейтмотив всех поэм Виталия Буханова — раздумье поэта о выборе молодыми людьми своей дороги в жизни. Поэмы остры, написаны уверенной рукой, по–настоящему драматичны. В них — живые судьбы, яркие человеческие характеры, много афористичных выражений, запоминающихся пейзажей, как бы оттеняющих чувства героев.

В лучшей своей поэме «Северный Донец» поэт стремится к глубокому раскрытию характеров своих героев. Отсюда его тяга к диалогу и особенно к внутреннему монологу. Вся поэма построена броско, на контрастах. Индивидуалисту и отщепенцу Валентину Подлетову противопоставлены молодые советские люди Андрей Чумак и Марина Криничная, с оружием в руках защищавшие Родину, а затем осуществившие свои юношеские

мечты: Андрей строит в родном Белгороде цементный завод, Марина выращивает сад.

Поэт стремится избегнуть схемы, разобраться во всей сложности жизни, показать характеры своих героев в развитии. Судьба Валентина Подлетова поучительна. Самолюбование, оторванность от друзей и влияние отца–стяжателя привели его к измене, а после войны Подлетов оказался в гнилом эмигрантском болоте, из которого вербует своих агентов иностранная разведка. В финале поэмы гневно звучат авторские слова:

Родина —
Это не звонкий грош.
Ее в кошельке
С собой не возьмешь.

Язык поэмы сочен, крылат, чувствуется, что автор серьезно поработал над своей вещью. Фрагменты поэмы были высоко оценены Сергеем Смирновым и Василием Журавлевым при защите Виталием Бухановым дипломной работы в Литературном институте имени Горького. Поэма могла бы украсить любой толстый журнал.

Волнует автобиографизм поэмы «Алешка — сын солдатский», опубликованной в свое время в калининском альманахе. Сын солдата, погибшего под Орлом, Виталий Буханов парнишкой бесстрашно перешел линию фронта, затем добровольцем вступил в Советскую Армию, принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши.

Он слышит: шумят вместе с ветлами курскими
Такие знакомые, близкие
Варшавы акации, пихты маньчжурские
И лиственницы сахалинские.

Это строфа о моем земляке — лирике из цикла «Белгород». Я его написал тогда, когда Виталий не учился в Литературном институте. Но пришло время, и студенты московского Литинститута действительно «потеснились чуточку» и приняли в свою разноязыкую семью моего смуглого, черноволосого земляка, которого в детстве в родном селе Беловское звали «Цыган».

С Виталием я встретился еще до демобилизации. Быстро познакомившись, мы долго бродили по улицам ночного Белгорода. Капало с крыш, в воздухе чувствовалась близкая весна. На следующий день мы оба написали стихи об этой весенней ночи, положившей начало нашей дружбе. Самое удивительное то, что они были написаны одним размером. Очевидно, нам передалось общее ощущение нежданной радости, предчувствие близкой весны и большой дружбы.

Помню, как в издательстве «Советская Россия» вышла книга Виталия Буханова «Земляки». Держал я в руках эту тоненькую книжку с обложкой, напоминающей белоствольную березовую рощу, а перед глазами — лицо друга, звонкого белгородского лирика, много лет прикованного к постели тяжелым недугом.

Еще в Литературном институте Буханов мне рассказывал, что любовь к поэзии в него вдохнул старший друг Иван Федоровский, затем погибший на фронте. С волнением я прочел в новой книге стихи «В дороге», посвященные этому человеку, правдолюбу и патриоту.

Мы в жизни с другом шагали рядом,
Не друг за другом,
А вместе, враз.
Мы оба с ним не любили парадов,
Пустопорожних и пышных фраз.
И были пред нами все настежь двери,
И бедность не жала босых наших ног.
Не хуже мы видели дальний берег,
Шагая в школу в грязь, без сапог…
Замешаны мы Из крутого теста,
С таким поколеньем не страшен враг:
Мы знаем, кто мы, и наше место
Не в дальнем обозе,
А в первых рядах.

Таким мне и видится Виталий Буханов, влюбленный в свой край и своих земляков, автор поэтических книг, одухотворенных неподдельным лиризмом.

Вот они, эти книги, вышедшие после смерти моего друга. Белоснежные лебеди летят на огненной обложке. Это поэма «Песнь о крылатом сердце» с памятным посвящением: «Другу юности Ивану Алексеевичу Федоровскому, сложившему голову в боях за нашу Родину летом 1941 года под Полоцком, с глубокой

любовью. Автор». Вот книга «Искорка России», открывающаяся стихотворением, которое Виталий написал перед смертью. Закрываю глаза и слышу его голос:

Не буду я светить
Средь звезд.
Я не звезда.
Я — искорка
России золотая,
Что в ночь взвилась
И скрылась навсегда
В душистых дебрях трав
Лесостепного края…

Читаю книгу М. Исаковского «О поэтах, о стихах, о песнях» и нахожу его письмо к Виталию Буханову: «Я познакомился с Вашими стихами, которые Вы называете песнями, и хочу хотя бы очень кратко поговорить о них.

Мне кажется, что человек Вы способный и Вам следует продолжать писать стихи. Впрочем, это Вы, вероятно, будете делать и без моего совета…» Далее Михаил Васильевич подробно проанализировал стихотворение «Зеленые паруса».

Песни на слова Виталия Буханова теперь поют. Я сам слышал в родном городе. Стихотворение «Зеленые паруса», посвященное Василию Журавлеву, дало название посмертной бухановской книжке, выпущенной Центральночерноземным издательством. Хочется отметить большую благородную работу, которую проделали составители двух бухановских книг — поэты Николай Сидоренко и Юрий Герасименко.

«Буханов любил Украину, — говорит Ю. Герасименко в предисловии к «Зеленым парусам», — хорошо знал ее певучий язык, собирал украинские словари… С большой любовью писал о красоте и величии украинской, русской — всей славянской земли.

Характерно, что природа для поэта не просто совокупность живописных ландшафтов, — в красоте степей и лесов Буранов видел красоту Отчизны, душевную красоту природы» Бралгья–украинцы воздали должное светлой, гуманной лирике Виталия Буханова: его первая и его последняя оэтичечские книжки были изданы в Харькове.

Уже не раз мои земляки собирались на вечер, посвященный: памяти Виталия Буханова. Помню: в белгородском пединституте имени Ольминского горячо выступали студенты, школьные

учителя Виталия, писатели Белгорода, Москвы, Воронежа, Харькова, депутаты местного городского Совета.

Мой друг учился в тридцать пятой белгородской школе, но и сам преподавал в ней. Все выступающие говорили о том, что этой школе надо присвоить имя Виталия Буханова, поэта–патриота, мальчишкой перешедшего лилию фронта, бестрашно сражавшегося за Родину, до последнего вздоха по–островски не сдавшегося смертельной болезни, своими талантливыми, душевными книгами умножившего племя патриотов.

Я видел белгородских девушек и парней, поющих песни моего Друга, жадно читающих его книги, настойчиво рсспрамшвающих о нем. Большие планы были у Виталя Буханова. Он работал над романом о подвиге нашего летчика в Отечественную войну и собирал материал для рвана о замечательном древнерусском певце Бонне. Он замышлял новые стихи и поэмы о своем родном, неповторимом крае.

Такую боль души
Не всякому понять.
Я жизнь свою Ни разу не итожил.
И не дал я того,
Что с радостью мог дать,
И своего не взял —
Я слишком мало прожил.

На могиле моего друга скромный памятник. На нем слова: «Здесь лежит русский поэт Виталий Буханов. Он жил любовью к своей родине, к ее лесостепным холмистым просторам и навсегда остался ее частицей».

ЛЕН КОЛОСИТСЯ

Многим запомнился большой лирический цикл «Лен колоколится» Владимира Семакина в журнале «Огонек». Стихи дышали удивительной свежестью и целомудренностью. Да, Семакин один из самых застенчивых поэтов. Его стихи па бьют в глаза, а излучают мягкий потаенный свет. Но когда надо, поэт бывает и мужествен, он может постоять за то, что он любит всей душой. Когда мы читаем его стихи о цветущем льне, в нашей памяти встают неоглядные дали России.

Нежный–нежный — не жжется, не колется —
из конца окоема в конец
голубым–голубо колоколится
за околицей лен–долгунец.
Что–то есть безмятежно–безбрежное
в этой нежности летнего льна.
Ничего тут волна перемежная
ни взмутить, ни смутить не вольна!
Так покойно и голубо–зелено
это поле в залесной глуши —
словно роздых никем не измеренной
и отходчивой русской души.

Не случайно, что столь разные поэты, как Степан Щипачев и Николай Грибачев горячо откликнулись на этот цикл. Здесь мне хочется привести письмо Грибачева к автору:

«Прочитал безотрывно «Лен колоколится» и рад, рад! Будто по лугу, полю, лесу прошел, чистым воздухом надышался! Сначала чуть испугался, увидев заголовок, ну, думаю, никак еще одна «лирическая поэма» без сюжета, с вялыми, коровьего толка, страстями, утопленными в многословии, такие теперь модно писать! — да вдруг вижу нет, совсем это иное, живое, крепко поставленное на землю отчую. И — предметное до зримости, с полным цветом и ароматом. А еще — верное духу народному, с прямой и косвенной отповедью тем, кто привык ползать на брюхе перед чужеземным, которое особенно отличается мелочностью мысли — при внешней ее «умности» и многозначительности и бледной немочью языка…»

В войну почти мальчишкой Владимир Семакин работал на одном из приуральских заводов. Об этом он говорит сдержанно. Любовь к камской природе заставляла юного поэта и цех видеть в особом свете. Резец у него «плывет, упрямый, как щуренок». Трудную заводскую юность скрашивали еще неосознанная первая любовь, врожденные скромность и терпеливость. А вести приходили недобрые.

Сосна, как танкист, обгорела
и вся заструпела, черна.
Не стой она гордо и смело,
давно бы погибла она…

Нельзя сказать, что у Семакина не было стихов слабых, описательных, даже риторичных. Были. Но не они определяют поэта, бесконечно влюбленного в неброские камские берега. Даже горный Кавказ напоминает ему чем–то родное Приуралье.

Вот его стихи об отце, «герое небывалых событий, свидетеле крутых перемен»:

Раздумьем, добытым ценою
ночей со взведенным курком,
он щедро делился со мною,
как бор с молодым сосняком.

А рядом стихи об институтской юности, о любви и дружбе, о разлуке, посвященные волжскому лирику Федору Сухову:

Речка, речка,
течь тебе, смеяться,
а взгрустнешь, так это не беда.
Мне труднее с другом расставаться,
может, на год, может, навсегда.

«Лен колоколится» — это теперь уж не цикл, а книга, недавно вышедшая в издательстве «Советский писатель». Автор ее хорошо знает, что он любит и что ненавидит. Даже в полемичных, публицистических вещах он остается лириком. Язык его свеж, пахуч, образен. Стих его то вызванивает лесным колокольчиком, то гудит медным колоколом. Читателя не может не тронуть гордость поэта за родимую землю.

Про тебя, лесная родина,
говорят, что ты Володина;
слышу, гордость затая:
хорошо, что ты моя!
Ты не лыковая, родина;
тут — завод, а там — заводина,
где я свой с давнишних пор,
а не ушлый гастролер.

…Мне всю жизнь гордиться родиной,
никому–то мной не проданной
ни за рупь,
ни за пятак,
ни за славу,
ни за так.

Все это сказано так искренне, так естественно, что не может быть и речи даже о каком–либо намеке на позу. И каждая строка, как говорится, глядит пословицей, бьет не в бровь, а в глаз. Настоящая зрелость удивительно сочетается в этой книге с юношеской свежестью, ибо поэт смело черпает живую воду народного творчества. Душевному поэтическому разговору, покоряюще искреннему, Владимир Семакин учится у Сергея Есенина.

Столько ярких красок, запахов, звуков уральской природы щедро рассыпано по семакинской книге, что невольно кажется, поэт достиг своей вершины. А между тем есть в книге несколько стихотворений, где автор их как бы обновляется, делается более сосредоточенным, пристально заглядывает в самое сокровенное– душу человеческую.

Ты все изведала, душа,
что было мило и немило,
что по плечу, что не под силу,
а все из тела не ушла.
Ты вся до спазмы напряглась,
когда с бедой не разминулась:
во чьем–то сердце обманулась,
о чьи–то очи обожглась…
Твое смятение и дрожь —
еще порыв, а не остуда,
все тех же губ, еще, как чуда,
ты — и в отчаянии — ждешь…

Эти стихи говорят, что для Владимира Семакина, одного из задушевных лириков, вершина еще впереди.

ГДЕ ТЕЧЕТ ДОНЕЦ

Стихи Сергея Мушника неторопливы, раздумчивы. Пожалуй, лучше всего на вопрос, почему он взялся за рабочую тему, отвечает стихотворение «Дядько Михайло»:

Я рос без отца,
Невеселая доля.
И тут же меня по макушке слегка
Рабочая, твердая, вся в мозолях,
Гладила нежно
Ваша рука.
…Дядя Михайло,
Вашу науку
В сердце несу я,
Как добрый наказ.
Вашу шершавую нежную руку
Слышу на правом плече
И сейчас.

(Перевод А. Зайца)

Неподдельные, искренние интонации, осязаемая предметность, все это идет от знания жизни и зрелого мастерства, которого «невооруженным глазом» и не заметишь: кажется, пред тобою сама жизнь. Есть у Сергея Мушника еще одно драгоценное качество: он пишет о том, что сам пережил, перечувствовал, передумал, и в то же время его стихи всегда людны.

На Втором Всесоюзном совещании молодых писателен на эту особенность поэзии Сергея Мушника указывал Александр Твардовский. Помнится, слушая фронтовые стихи молодого украинского поэта, автор «Василия Теркина» задумчиво сказал:

— А ведь ваши «Чоботы» невозможно перевести. Начнешь передавать эту сказовую интонацию, и все рассыплется…

Большой жизненной правдой веет от мушнковских баллад. Где с острым драматизмом, а где с мягким юмором, за которым чувствуется влюбленность в своих героев, поэт рассказывает о судьбах человеческих, о суровом и прекрасном времени.

Сергей Мутник был среди легендарных защитников Сталинграда, на собственном опыте знает цену солдатского пота и крови. Лучшим стихотворением книги является «Сон». Лирическому герою на студеном рассвете приснился черный ворон.

Хотел прогнан, его,
Но руку
Я словно век не разгибал,
Хотел кричать я,
Но ни звука
Из горла…
Ворон подступал…
Я не увижу больше поле,
Я не увижу, люди, вас.
И вдруг жестокая до боли
Решимость брызнула из глаз:
Она воронью хищность сдула.
Палач пернатый от меня,
Как от винтовочного дул
Вдруг отстранился…

(Перевод А. Зайца)

В этом стихотворении не умозрительно, а эмоционально, художественно воплощена вера нашего человека в жизнь, та самая вера, которая помогла нам победить в тяжелой, суровой войне. Светлой грустью по утраченному детству пронизано стихотворение «Трубы». Если в названных выше стихах автор пишет жесткими мазками, то здесь мягко ложатся акварельные краски:

Плескался я, жемчужно стыли зубы,
Кричал я —
Эхо таяло в борах.
…А за рекою тонко пели трубы
В военных —
довоенных — лагерях…

(Перевод А. Зайца)

Я вспоминаю годы совместной учебы в Литературном институте, когда мы жили в переделкинском общежитии. Нас в комнате было пятеро: белокурый севастополец Коля Ершов, успевший уже побывать во ВГИКе и на северных лесоразработках, бывшие солдаты Сергей Мушник, Егор Исаев, Иван Варавва и я.

Жили мы дружно и работали дружно. Самый старший из нас очкастый Сережа Мушник с утра садился на только что заправленную постель и писал на табуретке. Столов в ту пору не было. Мы следовали примеру Сережи. Никто никому не мешал.

— Порядок в танковых частях! — заключал Сергей, никогда не служивший танкистом. Он был пехотинцем, потом радистом.

Недавно мои однокурсники собирались на квартире заведующего одной из редакций Политиздата Григория Лобарева. Здесь были Егор Исаев, Николай Ершов, Лев Парфенов, Иван Рыжиков, Николай Старшинов, Ванцетти Чукреев, Василий Шкаев, Игорь Сеньков и другие. Решили справлять «лицейскую» годовщину каждый год. А Сергей Мушник не смог приехать. Заканчивал роман о современных рабочих.

Книги, которые издали за эти годы выпускники нашего курса, уже не умещаются на одну книжную полку. Вот, как солдаты в строю, стоят сборники Сергея Мушника. В одном из них напечатана замечательная поэма «Письма к москвичке», посвященная памяти его любимой, которую он похоронил в столице. Работала она на автозаводе имени Лихачева, и Сергей тогда жил в Кожуховском рабочем поселке. Всю жизнь Мушник пишет о близких ему людях труда и ратного подвига. Беру с полки одну из его книг.

У скромной светло–зеленой книги запоминающееся название — «Дыхание жизни». Пожалуй, оно точно выражает то лучшее, что есть в стихах этого своеобразного поэта, — чувство современности, дыхание нашей жизни.

Поэма «Три ночи» — произведение острое, злободневное, пропитанное духом настоящей партийности. Она оригинально построена. Автор выбрал из жизни героя три самых напряженных эпизода, три ночи, полных раздумий, воспоминаний, волнений. Каждая ночь — резкий поворот в его жизни. Вся поэма, написанная от первого лица, пронизана горячим лиризмом. В ней много правдивых жизненных деталей.

Интересен небольшой раздел «Солдаты», посвященный ратному подвигу нашего народа и новой демократической Германии.

И в разделе «Родной дом» нет явно неудачных вещей. Однако здесь С. Мушник не проявил к себе той требовательности, которая чувствуется в поэме и в разделе «Солдаты». Наряду с хорошими стихами, написанными живым, народным языком, в этом разделе встречаются вещи псевдонародные, так сказать, лубки–стилизации. Их совсем немного, но тем досаднее их читать. Несмотря на отдельные недочеты, книги Мушника не могут не привлечь к себе внимание читателей. Поэт пристально

вглядывается в жизнь. Его голос возмужал, стихи стали глубже, проникновеннее. «Чумацкий шлях», третья книга поэта на русском языке, говорит о его творческой зрелости и самобытности. Недавно друзья и однополчане поздравили его с 50-летием.

Хорошо, что вместе с рассказами и повестями Сергея Мушника о трудовых людях, живущих на берегах Донца, продолжают появляться его душевные стихи, баллады и поэмы.

ЧАЙКА НА ВОЛНЕ

Николай Тихонов на своем веку открыл немало поэтических талантов, напутствовал их добрым, щедрым словом. Четырнадцать лет назад его заинтересовала судьба бывшего солдата, воспевающего друзей из горячего цеха.

«…Как в свое время в первой книге Василия Казина, — писал Николай Семенович, — нам приятно было слышать лирический голос, запевший о простых солнечных вещах, о простых солнечных людях города, людях самых скромных профессий, так в книге Дмитрия Смирнова мы слышим голос молодого металлурга, юного сталевара, на нас пышет лирическое пламя завода, мы видим соль труда — соленый пот, про который поэт говорил:

Может, эту соль и нарекли
Именем душевным — соль земли!

Поэт–участник войны, и много живых стихов в его первой книжке, стихов, полных настоящего волнения и молодой непринужденности. Книга эта неровная, но такой и полагается быть первой книге. Важно, что она дает представление о новом имени и новом материале. Книга свежая и в то же время искренняя и умелая…»

Если бы меня попросили назвать главную черту лирического героя Дмитрия Смирнова, я бы сказал: цельность. Да, лирическому герою многих стихов — сначала солдату, потом рабочему–свойственно это драгоценное качество. Именно оно как бы цементирует его разнообразные книги, где фронтовые стихи соседствуют со стихами о рождении стали, а лирические стиховорения с философскими и сатирическими миниатюрами. Хорошо, что его книги не монотонные. Современного читателя

интересует все: и патриотические, и солдатские, и любовные стихи, и стихи о труде. Свою книжку в библиотечке журнала «Советский воин» поэт назвал коротко и выразительно — «Атака».

Стихотворение «Смерть отца» нужно отнести к лучшим стихам поэта. Оно написано сурово и человечно.

И воздуха ему на всей земле,
Которую исколесил — перепахал он,
Теперь никак для вздоха не хватало,
Как будто после выстрела в стволе.

Сильное, точное, психологичное сравнение. Двумя строками поэт рисует реалистический портрет сталеваров:

У всех на лицах — пепельность земли,
Во взглядах — отблеск жаркого металла.

Автору хорошо знакома эта нелегкая профессия.

А тезка мой в печь уверенно,
Что хлебы, заправку метал,
Глотала, что сказочный зверь, она
Металл.

Василий Федоров, отмечая творческий рост бывшего солдата, обратил внимание на большую удачу поэта — стихотворение «Ехали парни да ухали, охали»: «Тем и примечательно это стихотворение Д. Смирнова, что правда в нем переплелась, а вернее, слилась со сказкою… Поэт ничего не говорит о парнях, запевших русскую песню, но я вижу их, молодых, веселых, озорных, я слышу их голоса. Не зная слов песни, я узнаю ее широкий разгульный мотив: «Ехали парни да ухали, охали»… И почувствовать эту песню мне помогла сказочная картина очаровательного леса. В прежних стихах Д. Смирнова была заметна ритмическая сдержанность, иногда скованность, а в этом — свобода и широта».

Пожалуй, ближе всего к этой вещи стихотворение «Селенга», которое покоряет своей музыкальностью, ощущением пространства. Очень свежо, гулко передано эхо:

Э–ге–гей ты, Селенга!
Э–ге–гей вы, берега!
Небеса, вы — э–ге–гей!
Облака и ветровей!

Нравится мне и «Джигит»:

Джигит остроглазый ведет «Москвича»
По лезвию скал, по излому луча.

Интересен опыт поэта в жанре баллад: особо хочется отметить стихотворение «Матери». В цикле «Миниатюры», который автор в одной из книг называл «Гномы», есть вещи философские, пейзажные и с сатирическим оттенком. Не только авторская наблюдательность, но и опыт жизни вложен в такую лирическую миниатюру:

Дороги по холмам бегут куда–то,
Им встретится и поле и река…
Они — как лямки вещмешка
На выцветших плечах
Солдата.

Звонко, предостерегающе звучат строки:

Виляешь ты туда–сюда
И не сгораешь от стыда.
Вспомни, что с тобой мы
Из фронтовой обоймы.

Однако далеко не все миниатюры да и другие стихотворения Дмитрия Смирнова так отточены. В его книге, изданной «Советским писателем», еще встречаются корявые строки и строфы. Автор и сам это чувствует, полемизируя с неким эстетствующим критиком.

— Поэт неровный! — крыл с трибуны сноб,
Сверкая золочеными очками.
Но что красивей, телеграфный столб
Или дубок с неровными сучками?

Но, может быть, еще глубже и шире все лучшее, что есть в поэзии Дмитрия Смирнова, передает его стихотворение «Чайка отдыхает на волне», давшее название книге. В нем ощущаешь наше стремительное и мужественное время.

ЕМКАЯ ЧАША

Поэт Александр Коваль–Волков мой ровесник. Многое: и юность, опаленная пламенем Отечественной войны, и послевоенное мужание, и нынешние раздумья над жизнью — все это мне близко и понятно. Новую книгу Коваля-Волкова «Чаша неба», ставшую своеобразным итогом творчества поэта, с интересом читают не только его сверстники.

«Под отцовскими звездами» назвал Коваль–Волков первый раздел книги. Глубоко личные мотивы здесь крепко спаяны с испытаниями, выпавшими на долю всей страны. Смертью героя на фронте погиб отец автора, большевик–комиссар. «Для меня заглавной в жизни стала жизненная линия отца» — это, по существу, рефрен всей книги. Нельзя без волнения читать стихи из другого раздела книги — «Нам готовность…» Они тоже посвящены памяти отца. Мне хочется привести эти по–человечески горькие и суровые восемь строк:

От тебя мне никуда не деться,
Ты, отец, не сетуй на меня.
Мало мне, что бьется твое сердце
В каждом всплеске Вечного огня.
Я везде искал твою могилу.
Тех сражений затерялся след.
Время ничего не сохранило,

На земле твоей могилы нет…

Но горечь утраты не заслонила от поэта радости победы, нет, эта горечь только дала глубже почувствовать ту цену, которой оплачена наша победа. Пристально вглядывается поэт в свою фронтовую юность, в то далекое памятное утро победы, в души своих друзей–однополчан, влюбленных в пушкинские стихи.

Стальной крылатою волною,
Винтами–дисками горя,
Мы уходили в пекло боя,
Как тридцать три богатыря!

Да, стихи Пушкина, так же как и стихи Маяковского, помогали нам в нелегкой борьбе с отнюдь не сказочным многоглавым фашистским змеем. И тут в строках поэта–воина рождается неожиданная и в то же время закономерная ассоциация:

А я все помню вас, ребята, —
В вас что–то пушкинское есть.

И в самом деле, разве не посвятили Отчизне эти чистые и щедрые парни в летных шлемах «души прекрасные порывы»! А многие из них отдали матери-Родине и свои жизни. Эта пушкинская устремленность, распахнутость, самоотдача, пожалуй, свойственны всему нашему фронтовому поколению. Отсюда же бескомпромиссность, суровая требовательность к себе и к другим.

А мы предателей стреляли.
Их на поруки брать нельзя.
И никогда, мои друзья,
О них потом не вспоминали.
Нет!
Лучше умереть в бою,

Чем отступить перед врагами. —
Я и теперь на том стою,
Да будет чистым наше Знамя!

Хорошо, что эта солдатская подтянутость соседствует с душевной щедростью. В стихотворении «Дрова», посвященном Ярославу Смелякову, поэт признается:

И в дело каждое сполна
Я вкладывал свой пыл…

Лучшие стихи книги «Чаша неба» убедительно подтверждают это признание. Собственно, это тоже одна из черт фронтового поколения. Но попробуем разобраться, что в итоговой книге особенно удалось автору, а в каких вещах он порой соскальзывает на наезженную колею, на которой уже побывали многие. Удача поджидает поэта там, где его зоркость сочетается с интересной, свежей мыслью. Вот «Баллада о точильщике и мечте»:

Точильщик, мой старинный друг, —
Я помню твой точильный круг.
Я вижу, как под ним, дрожа
Струится лезвие ножа
И расплавляется гранит,
Косыми вспышками облит…

Точный, четкий рисунок дает первый толчок для поэтической мысли. Но все это было бы красивым экспериментом, импровизацией, просто взлетом фантазии, если бы не обобщающая концовка:

Точильщик, мой старинный друг,
Мечты растут из добрых рук.

Так чувство и мысль, слитые воедино, рождают удачный

афоризм, каких немало в книге. И тем обиднее ветре–чать рядом беглую зарисовку, где почти полностью отсутствует не только своеобразие, но и мысль. Хорошо, что не такие вещи определяют лицо сборника.

В лучших стихотворениях сборника «Чаша неба» поэт доказал, что по–солдатски остро отточил перо. Чаша получилась емкая, в нее вместился опыт поколения молодых фронтовиков, чьи виски ныне уже тронула седина. Это поколение несет сегодня главную службу и в жизни и в литературе.

ИЗ ГЛУБИНКИ

Недавно на улице Горького в витрине фотоателье я заметил старый групповой снимок. Батюшки! «Седьмой выпуск Высших литературных курсов»… Сквозь туманное стекло, как сквозь промелькнувшее десятилетие, на меня смотрят знакомые, еще молодые лица. Всем нам тогда было «по тридцать с хвостиком»… Курянин Евгений Носов, москвич Владимир Туркин, вологодец Александр Романов, сибиряк Владимир Сапожников, украинец Иван Чендей… Имена эти теперь известны широкому читателю.

Учились мы два года, поэтому хорошо знали и шестой выпуск, где были вологодец Сергей Викулов, уралец Виктор Астафьев, петрозаводец Петр Борисков, тулячка Наталья Парыгина, и восьмой выпуск, где были горьковчане Александр Люкин и Михаил Лисин, ярославец Иван Смирнов, дальневосточник Петр Проскурин, ростовчанин Иван Федоров, ленинградка Вера Чубукова…

Общежитие у студентов Литинститута и слушателей В ЛК одно: огромный семиэтажный дом на Бутырском хуторе.

Студенты с нижних этажей частенько поднимались к нам на шестое и седьмое «небо». Среди них были и очники и заочники. Запомнились смолянин Владимир Фирсов, орловец Дмитрий Блынский, липчанин Иван Лысцов, вологодец Василий Белов, волгарь Николай Благов, уралец Валентин Сорокин, северянка Ольга Фокина, пензячка Дина Злобина…

Вот в руках у меня книжечка стального цвета. Читаю дарственную надпись: «Александру Люкину, дорогому человеку, давно любимому поэту на память о встрече первой от Н. Благова 21.2.62. г.»

Ю. Гагарин на встрече с московскими писателями и слушателями ВЛК. Председательствует К. Федин

Эта книжка как бы вещественное доказательство дружбы студентов Литинститута и слушателей ВЛК. Название ее «Глубинка». Глубинка?.. Да ведь именно это слово, пожалуй, глубже всего объединяет студентов и слушателей. Все они из глубинки! У каждого свое видение мира, свой почерк, свои пристрастия. Но жизнь знают все.

Вот два интересных прозаика из восьмого выпуска ВЛК.

Какие они разные!

Мне хочется сказать о них обоих сразу. И не только потому, что они вместе учились на Высших литературных курсах. Нет. Просто это два талантливых русских писателя, крепкими корнями связанные с жизнью народа.

Я говорю о Петре Проскурине и Михаиле Лисине. Оба прозаика родились в средней России. Проскурин уехал на Дальний Восток, а Лисин почти всю жизнь никуда не выезжал из своих горьковских мест. Он знает там каждое село, каждый бугорок.

В рассказах Михаила Лисина встречаются невыдуманные названия сел — Ревезень, Задубовка, Мурашкино, Ужовка, названия родных негромких рек — Ветлуга, Вохма, Унжа… Все это создает неповторимый местный колорит. Язык живой, народный, сочный. А главное — герои. Их клещами не оторвешь от свежих, запоминающихся пейзажей.

Приведу поэтический запев из рассказа «Вода спадает», от которого, пожалуй, не отказался бы сам Михаил Пришвин:

«Идет, надвигается, бушует Вохма. С глухим шумом кружатся в водоворотах кряжистые ели с обломанными вершинами и обитой хвоей. Вот в корнях подмытой сосны раздался глухой треск. Взметнув ветвями тучу брызг, старый лесной великан с грохотом падает в воду, и долго–долго раскатывается стон по всему бору: ооо–ххх–ма!»

На фоне живой могучей природы — самобытные характеры земляков писателя. Вот демобилизованный солдат Филат Жихарев, носящий фашистскую пулю под самым сердцем. Влюбленность в свой плотницкий труд помогла ему одолеть подкравшуюся смерть. Долго будут в Ужовке красоваться дома, поставленные живучим плотником–умельцем. Этот рассказ носит название — «Пуля». Впервые он был напечатан в коллективном сборнике — «Ласточки России», где представлены многие молодые прозаики.

Не могу не сказать несколько слов об этом интересном сборнике, где опубликованы рассказы кубанца Ивана Краснобрыжего и сибиряка Николая Смирнова, курянина Евгения Носова и калининца Георгия Леонова, северянина Василия Журавлева–Печерского и кабардинки Халимат Байрамуковой, москвичей Вячеслава Марченко и Марты Фоминой. Всего «тридцать три богатыря» I Обычно коллективные сборники залеживаются на полках магазинов, а этот невозможно было купить — сразу разошелся.

Есть в сборнике «Ласточки России» и рассказ Петра Проскурина «У привычных границ» о молодых дальневосточных лесорубах. Им посвятил писатель свой роман «Корни обнажаются в бурю». Живя на Дальнем Востоке, он не забывал и родных мест. Новый его роман «Горькие травы» рассказывает о селе и городе средней России, опаленных войной. В центре романа — Дмитрий Поляков, солдат, у которого война отняла память. Ему предстоит вернуться к жизни, как и разрушенному родимому селу и областному городу в темнеющих руинах.

Родная, обожженная, израненная земля исцелила Дмитрия, снова бросила в кипень жизни. И для того чтобы эта земля снова щедро плодоносила, Поляков вступает в борьбу. Говорит он правду в глаза и своей бывшей любимой и однокласснице Юлии Борисовой, очевидно, по мысли автора, представительнице «волевого стиля» руководства. Но, ей–богу, этот интересно выписанный сложный образ не влезает в заранее заготовленные Проскуриным рамки. Здесь, пожалуй, более уместен психологический анализ, чем отдельные сатирические штришки.

Читатель желает заглянуть в душу бывшей партизанки, поверившей на слово карьеристам и очковтирателям.

Мне радостно было встретить в поэзии рядом с сибиряком Василием Федоровым еще одного своего однофамильца из восьмого выпуска ВЛК. Иван Федоров сравнивает свои стихи с весенним ручьем, который оставил небольшой, но добрый след. А живет поэт на задонском хуторе Веселом. Не так давно этот старый казачий хутор входил в один район со станицей Кочетовской и хутором Пухляковским. Живущие там Виталий Закруткин, Анатолий Калинин и Иван Федоров в шутку говорили:

— Нам можно открывать районное отделение Союза писателей!

Уже немолодым человеком приезжал он на курсы в Москву оттачивать свое поэтическое мастерство. Привез с собой книжку «Ручей». Любитель рафинированной поэзии мог бы надергать из этой книжки пучок корявых строк. Но я не стану этого делать. Разве к скульптуре, высеченной из гранита, можно подходить с меркой поклонника сладковато–голубых акварелей?

Любит мой однофамилец в кругу друзей читать стихи Шевченко, и сам темпераментно написал о поединке Тараса с Николаем Палкиным. Годы не сотрут из памяти поэта огненных будней войны, тех чудовищных разрушений, которые она принесла на донскую землю.

После нее осталось много таких людей, как рыбак дед Кудлай.

У товарищей есть дети —
корни крепкие свои.
У Кудлая только сети —
ни подруги, ни семьи…
Вспомнил, как горели хаты,
гнулись травы до земли,
как зеленые солдаты,
словно раки, приползли…
Сильно в пору заревую,
ветер, кайку не качай!
…Дай тебя я поцелую,
дорогой рыбак Кудлай!

Интересно, что это стихотворение как бы послужило толчком для целого цикла поэтичных новелл И. Федорова о судьбах простых русских людей из хутора Веселого. Некоторые из них

были опубликованы в «Правде», «Литературной России», журналах. На родине он издал книгу лирики «Тетива».

Не забывает сын старого большевика, как сам вступал в партию под яростным огнем.

В лесу полковник раненой рукою
рекомендацию писал.
Березка плакала. Над тихою рекою
обугленный листочек трепетал.
…Для партии под Вешенской, у Дона,
родился я не в люльке, а в бою:
я мертвым,
и живым,
и нерожденным
партийным людям клятву дал свою.

Мне вспоминается, как мы с Егором Исаевым отнесли первые фирсовские стихи Анатолию Софронову. Они ему понравились, приближалось всесоюзное совещание молодых, и подборку стихов смоленского поэта поставили в номер. Потом я слышал доброе слово о Владимире Фирсове от Александра Твардовского. А вскоре мне довелось редактировать книжку лирики молодого поэта «Зеленое эхо». С радостью за товарища я прочел в новом сборнике Фирсова «Чувство Родины» напутственное слово Михаила Шолохова: «Не так–то много у нас хороших поэтов, но и среди них найдется всего лишь несколько человек, говорящих о России таким приглушенно интимным и любящим голосом, который волнует и запоминается надолго. Владимир Фирсов принадлежит к этим немногим избранным»…

Нам вера давалась несладко…
С тоской избяного угла,
С печалью
Вдовы и солдатки
Она в мое сердце вошла…
Ничтожными кажутся
Речи
И громкая ложь заграниц
Пред верой,
Принявшей на плечи
Седой Мавзолея гранит.

Многим запомнились стихи орловца Дмитрия Блынского из книги «Иду с полей».

Что принес я с собой? На ладонях мозоли,
Запах лопнувших почек с весенних берез
Да тетрадку стихов, где–то сложенных в поле,
Где–то сложенных в поле в жару и в мороз…
Рифму я не вертел за столом по неделе
(Чем причудливей рифма, тем громче стихи).
На меня они сами, простые, глядели
То слезинкой цветка, то сережкой ольхи.

Задумывался поэт и над своей родословной, идущей от сельских бунтарей. Безвременная смерть унесла талантливого, самобытного поэта в расцвете сил. Хочется привести строки из стихотворения «Моя точка зрения», давшего название всему сборнику, вышедшему в издательстве «Молодая гвардия».

Соберемся мы, встречу празднуя,
Ну хотя бы на полчаса:
Речи разные, песни разные,
Очень разные голоса.
Только все–таки мы похожие,
Чем похожие мы — спроси:
Не случайные, не прохожие,
А хозяева на Руси.

Среди своих сверстников в этом стихотворении автор назвал и Владимира Гордейчева, очень своеобразного поэта с ярко выраженной публицистической нацравленностью. Хорошо о нем сказал третий их ровесник Владимир Цыбин: «Есть поэты, пишущие всю жизнь упорно и одержимо, почти не отклоняясь от основной, ведущей в их творчестве темы, с волевой мечтой о самой главной своей книге, о том, что она рано Или поздно напишется…

Владимир Гордейчев, по–моему, принадлежит к поэтам

именно такого направления». Цыбин называет Гордейчева «поэтом остро–дискуссионного слова». И в этом есть своя правда. Мы помним гордейчевские стихи о патриотах, опубликованные много лет назад. И вот в новой своей книге «Пора черемух» поэт возвращается к любимой теме:

Пусть во всем, что сделано моими
твердыми ладонями,
живет
душу озаряющее имя,
знамя поколенья — патриот!

Владимир Цыбин прав, когда говорит о том, что его сверстник большего бы достиг, если бы пошел дальше не только в пафосном утверждении своих позиций, но и в эпической конкретности. Последняя поэма Владимира Гордейчева «Колыбель», где пафос подтвержден множеством зримых художественных деталей, обнадеживает.

Я давно слежу за стихами Виктора Яковенко. У него негромкий, но душевный голос. Поэт тонко ощущает родную степную ширь, бегущий по буеракам и щетинистому жнивью ветер, осенние листья, падающие на воду, «как шальные стрекозы». Особенно мне пришлась по душе «Иванова роща», напечатанная в «Огоньке». И вот новый цикл «Родной земли очарованье», в запеве как бы продолжающий мотивы первого. В наших журналах и даже газетах появляется много стихов о природе. В одних из них — свежесть лугов и лесов, а в других, пожалуй, больше свежести одеколона. В стихах же Виктора Яковенко природа ощущается очень непосредственно.

И все же самые большие удачи у Яковенко не в стихах о природе, а в стихах несколько иного плана, я бы сказал, психологического. Вот «Прямота»:

Всем существом я ненавидел
Глухой над ухом шепоток,
И в чистом и в нечистом виде
Огульность лжи
И мелочь склок,
И доверительность секрета —
Чужого таинства клочок,
И ускользанье от ответа

В свое запечье, как сверчок…

Такие стихи не могут оставить читателя равнодушным. Они будят, беспокоят, заставляют задуматься, ибо обращены и к сердцу и к разуму. Лирический цикл Виктора Яковенко «Родной земли очарованье» — явление интересное, ибо рождено оно гражданской и поэтической зрелостью.

Мне вспоминается, как я впервые познакомился с молодой архангельской поэтессой Ольгой Фокиной, тогда еще студенткой Литературного института имени Горького. Шло открытое комсомольское собрание. Фокиной поручили сделать доклад «О моральном облике молодого литератора». Это был не обтекаемый доклад. Ольга говорила горячо, непосредственно, называя имена, то и дело обращаясь к слушателям. В зале кое–кто вел себя шумно, перебивал докладчика. Ольга плакала после доклада. Думала: не получился. Да нет же — получился! Дело не в аплодисментах, а в растревоженных сердцах. Вот эту чистоту, страстность, растревоженность ощущаешь, читая книгу стихов Ольги Фокиной «Сыр–бор», которая вышла под редакцией Николая Сидоренко в издательстве «Молодая гвардия».

«Книга Ольги Фокиной «Сыр–бор» — это весенний цвет. Должно ждать творческого лета, доброплодного, ягодного, — пишет старейший северный писатель Б. Шергин. — Здесь дыханье чистое, здоровье душевное, зренье светлое».

Двое над обрывом стоят:
Темная осанистая елка,
Подальше от края — елка–мать,
Держит за подол свою девчонку.
Пушистую,
Ершистую,
Ту, что к самому краю
Побежала, играя.
И притихла на краю,
Свесив ноженьку свою…

Полусказочный образ молодой, «пушистой, ершистой» елки сливается с образом самой поэтессы, влюбленной в свой суровый северный край. Много книг вышло у Ольги Фокиной с той поры. Вот большой сборник из «Библиотечки северной поэзии». Читаю

две строки:

Не по–зимнему свеж и влажен,
Этот ветер весенним не был…

И вспоминаю, как я писал предисловие к первым стихам северной поэтессы, опубликованным в «Литературе и жизни». А образы елки и ершистой елочки не выходят из головы.

Любовь к родной уральской земле и ее людям чувствуется и в лирике Валентина Сорокина. Ей свойственны образность и афористичность. Вот начало стихотворения «Багряные соловьи».

«Все из огня, и все уйдет в огонь!» —
Мой дед, бывало, молвит на гулянке…
И высекала глыбная ладонь
Огонь любви из маленькой тальянки.

А когда мудрый дед умер — юный внук зажег в память о нем «огромное неистовое пламя». Недаром его потом полонила «клокочущая музыка мартена». Эти темпераментные, поэтические образы родил непосредственный трудовой опыт. Вот поэт рисует живого рыжего лисенка, а память ему подсказывает заводские ассоциации, вырастающие на наших глазах в неожиданный, своеобычный образ: «Лисенок — брат огня».

Поэт не скупится на детали Урала военных лет, бережно хранимые в душе:

Мы горели живьем
У ковшей прокопченных,
Тупорылой кувалдой
Махали до слез,
Но зато под Москвою
Фашист кипяченый
В нашу землю по ноздри
Со свастикой вмерз.

В суровый быт врывается сказка–мечта об оранжевом журавленке, про которого рассказала будущему поэту его добрая мать, простая русская женщина. С мечтой легче было переносить военные тяготы.

Я сын России, гордой и крылатой,
Я за нее на дружбу и на драку
Всегда готов!..

Так от всего сердца восклицает поэт в другой своей лирической поэме «Забытые сумерки». И эти строки воспринимаешь не как декларацию, а как сыновнюю клятву. В поэме много живых примет современности, контрастирующих с воспоминаниями о трудном военном детстве, где корова с ее чудо–молоком воспринималась голодными детишками как спасительница. Светлой памяти павших солдат посвящена поэма «Обелиски».

Если в стихи и поэмы об Урале вложена вся любовь, вся жизнь поэта, то цикл «За журавлиным голосом», повествующий о поездке в Среднюю Азию, воспринимается как путевые очерки в стихах. Естественно желание расширить рамки своего творчества, но хотелось бы, чтобы при этом не терялась глубина.

Книга «Лирика» сопровождена предисловием критика и литературоведа Александра Макарова, который в свое время поддержал талантливого рабочего поэта Александра Люкина, безвременно ушедшего из жизни. Хорошо, что известный критик был последователен в поддержке самородков из рабочего класса. И все же он ошибался, когда писал, что воспевание «простых парней–работяг, дышащих вечным пламенем отваги», дается поэту менее, чем лирические раздумья. Тем–то и хороши обе книги Валентина Сорокина, что в темпераментных стихах и поэмах о его сверстниках и в страстной лирической исповеди, говоря словами того же Макарова, «бьется неугомонное сердце и беспокойная мысль».

Одно время замечательный народный поэт Алексей Кольцов стал писать философские стихи. Они получались хотя и умозрительные, но не так уж плохие. Но это был не Кольцов. То, что удавалось Баратынскому, не удалось голосистому степному певцу. Каждому свое. Об этом я невольно вспомнил читая стихи Ивана Кашпурова, в которых, кажется, враждуют два поэта. Один бесстрастный наблюдатель, тянущийся к скучной описательности, не прочь пофилософствовать на «вечные темы», и другой —

горячий поэт, близко принимающий к сердцу жизнь народную.

К лучшим произведениям поэта относятся поэма «Андреев», песнь о нелегкой и прекрасной судьбе знаменитого русского балалаечника. Так и чувствуешь голос звонкой русской балалайки, возрожденной Андреевым:

Но тут метнулись пальцы броско,
Стряхнув со струн тоски снежок,
И словно в зал зашли березки
И стали весело в кружок.
И поплыли светло по сцене
Под звуки русской плясовой,
А сами пахли свежим сеном,
Ромашкой, мятой луговой.

В новой своей книге «Соколиная песня крыла» Феликс Чуев, авиационный инженер, сын летчика, отдавшего жизнь за Родину, мечтает «остаться летящим, как Чкалов, и, как Лермонтов, молодым». Окрепли лирические голоса моего земляка Игоря Чернухина, Геннадия Серебрякова, Евгения Антошкина…

Радует, что многие наши поэты, которых вчера называли молодыми, свято берегут традиции своих отцов, пытаются во весь голос говорить от имени ровесников — покорителей целины и бурных сибирских рек.

О ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ

ПОДВИГ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Два наших звонкоголосых поэта — Владимир Маяковский и Сергей Есенин говорили о большом влиянии на их творчество поэзии Александра Блока. Его называли совестью русской интеллигенции. Удивительна и в то же время закономерна судьба поэта, порвавшего декадентские путы и первым в поэзии изобразившего Октябрь и революционный народ. Подвиг Блока будет жить в веках.

Книга Бориса Соловьева «Поэт и его подвиг» (творческий путь Александра Блока) выдержала за короткий срок три издания, отмечена Государственной премией имени Горького. Это серьезное, доказательное и темпераментное исследование. Больше того. Я бы назвал ее творческим подвигом известного литературоведа и критика.

Не затушевывая заблуждений и метаний Александра Блока, автор этой интересной монографии убедительно доказывает, что все творчество поэта — шаг за шагом — как, безусловно, и размах исторических событий подготовили гигантский взрыв, приведший к созданию поэмы «Двенадцать». Ненависть к старому миру уже просвечивалась во многих более ранних произведениях Блока, как бы предвосхищавших его Октябрьскую поэму.

Я, как и многие читатели, уверен, что правда на стороне Бориса Соловьева в споре с А. Гореловым, автором книги «Гроза над соловьиным садом», протестующим против героизации биографии Блока и утверждающим, что «в действительности все было весьма запутано». Б. Соловьев й не пытается подвести Блока к «Двенадцати» «прямиком, строевым шагом», но и не рисует творческий путь поэта полностью запутанным в болотном тумане декадентства.

Автору книги «Поэт и его подвиг» удалось воспроизвести душную историческую обстановку, в которой родилась протестующая лирика Блока, его оригинальная драматургия. Предчувствие поэтом надвигающейся грозы, жажда ее ощутима и в его поэмах «Возмездие» и «Двенадцать» и, наконец, в его программной статье «Интеллигенция и Революция».

Андрей Белый, литератор сложной судьбы, близко знавший Александра Блока, в свое время сказал: «…Понять Блока — понять связь стихов о «Прекрасной Даме» с «Двенадцатью»…»

Поэт, дерзнувший первым изваять бурлящую, обжигающую

революционную действительность стал великим. Скромнейший Блок, завершив главное произведение своей жизни, сказал:

— Сегодня я — гений.

Революционные массы сделали крылатые строки из поэмы «Двенадцать» своими лозунгами. «Вперед, вперед, вперед, рабочий народ!» «Товарищ! Гляди в оба!» «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем…» «Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг». Эти строки подхватили газеты, улицы, окопы. Устами поэта говорила грозная эпоха.

В своей поэме Блок издевается над лозунгом буржуазных демагогов «Вся власть Учредительному собранию!» и высмеивает болтунов из «учредилки». Едко и метко рисует поэт образ умирающего старого мира, который когда–то называл «страшным».

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос,
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

Не забывает Блок и адвоката этого старого мира.

…Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития…

Озлобленные «витии» не остались в долгу. Против Блока объединились его бывшие «друзья» и враги, начавшие ожесточенно травить поэта. Борис Соловьев не наводит «хрестоматийный глянец» на отношения Блока\ с Д. Мережковскими З. Гиппиус, а рисует их во всей противоречивой сложности. Когда–то эти люди, демагогически называвшие себя «пророками революции», поддержали первые шаги юного поэта, но в дни Октября он раскусил их контрреволюционное нутро, наотрез отказался сотрудничать в их антибольшевистской газете и порвал с ними:

— Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили.

Робкий Андрей Белый советовал Блоку: «…По–моему, ты слишком неосторожно берешь иные ноты. Помни — тебе не «простят» никогда»…

Иван Бунин, присутствовавший на выступлении чтеца Октябрьской поэмы, горячо встреченного демократическими поклонниками Блока, тут же выступил с разгромной речью. Классовая ограниченность не позволила Бунину оценить это гениальное произведение, в котором он увидел «нечто вульгарное», «лубочное». «Отсюда, — заключает Б. Соловьев, — поразительная для большого художника слепота и глухота в оценке одного из самых замечательных явлений русской поэзии».

В «Двенадцати» таилась такая взрывчатая сила, что заокеанские белоэмигранты до сих пор шипят в ее адрес:

— Увяла, обветшала…

А гениальная блоковская поэма живет и будет жить. На мой взгляд, она оказала заметное влияние не только на нашу поэзию («ГлавнаяУлица» Демьяна Бедного, поэмы Маяковского, Есенина, Багрицкого, «Мать» Дементьева и другие), но и на прозу («Железный поток» Серафимовича, «Разгром» Фадеева, проза Веселого, Бабеля и других).

Поэма «Двенадцать» служила и служит образцом для моего фронтового поколения, для моих товарищей по перу и для меня лично. Подвиг Блока вдохновлял нас и еще многие поколения будет вдохновлять на смелые искания, на гражданское мужество.

Многолетний труд Бориса Соловьева о творческом пути Александра Блока гармонически сочетает большую любовь к поэту с высокой требовательностью к нему.

ЕСЕНИНСКОЕ

Мой отец — старый большевик, уроженец берегов Оки, очень любит стихи Сергея Есенина. Помню, у отца был большой есенинский однотомник, который он возил с собой по совхозам и колхозам Центрально–Черноземной области. Отец долго переживал, когда перед самой войной этот однотомник исчез.

Смерть Есенина в моем детском восприятии почему–то слилась со смертью Маяковского. Мне кажутся однобокими людьми те, кто противопоставляет этих двух замечательных поэтов. И очень понятно признание Бориса Ручьева о том, что он учился у обоих великих русских лириков.

С большим интересом в свое время я прочел воспоминания Николая Вержбицкого о том, как он сопровождал Есенина и

Маяковского в Тбилиси во время посещения ими могилы Грибоедова. Меня очень взволновал этот, я бы сказал, символичный эпизод. Родились стихи «Два поэта», опубликованные в газете «Литература и жизнь».

Два русских поэта
В подзвездном просторе.
О, сплетен замедленный яд!
Бесстрашные души.
Таких не поссорить —
В веках они рядом стоят.

В книге Сергея Есенина «Отчее слово» (составитель С. Кошечкин), где скрупулезно собраны мысли поэта о литературе, есть свидетельство Николая Асеева о хорошем чувстве Есенина к Маяковскому, желании встретиться с ним, вместе работать. «… Есенин в период недовольства просил меня помирить и свести его с Маяковским…» — писал Борис Пастернак.

Небольшая это книжка «Отчее слово», но в пей целые россыпи самобытных есенинских высказываний. Знаменательна любовь Есенина к творчеству Гоголя, по яркой образности, может быть, самого близкого рязанскому самородку.

— Изучаю Гоголя. Это что–то изумительное, — признался однажды Есенин поэту Николаю Полетаеву.

Составитель книги доказывает: Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Успенский, Кольцов и Фет, Лесков и Куприн были хорошо известны поэту, многие их произведения он знал наизусть. Александра Блока, поддерживавшего его первые шаги в поэзии, Есенин называл своим учителем.

Поражает меткость и образность есенинских характеристик. По воспоминаниям Всеволода Рождественского, Есенин называл Константина Бальмонта «индейским петухом», а Игоря Северянина «парикмахером на свадьбе».

В то же время Сергей Есенин ценил таких сложных, порой противоречивых мастеров, как Валерий Брюсов. «Мы все учились у Брюсова», — повторил Есенин и добавил, что он сам вечерами сидел над томиком поэта и строку за строкой разбирал структуру его стиха»… — рассказывает Николай Вержбицкий. Много размышлял рязанский самородок и над мастерством Андрея Белого.

Есенин был хорошо знаком с мировой поэзией. По воспоминаниям Вольфа Эрлиха, Сергей Александрович сказал

ему:

— У меня ирония есть. Знаешь, кто мой учитель? Если по совести… Гейне — мой учитель! Вот кто!

Интересны мысли Есенина о Шекспире:

— Уж на что народен Шекспир, не брезговал балаганом, а создал Гамлета.

Рассказывают, что когда белоэмигранты, заискивая перед Есениным, окружили его в парижском ресторане и просили прочесть свое лучшее стихотворение, он прочел им «Интернационал». В лирической поэме «Анна Снегина» ему глубоко удалось отобразить диалектику эпохи.

Не забуду общих тетрадок моих ровесников, где были аккуратно переписаны есенинские стихи. Многие из этих замечательных ребят сложили головы под Сталинградом и под Веной. Наши дети любят книги Сергея Есенина, спрос на которые вот уже много лет не уменьшается.

Памятен первый есенинский вечер в старом Доме литераторов. Я долго хранил пригласительный билет, где был напечатан портрет кудрявого рязанского лирика. В те годы его невозможно было достать. Затаив дыхание, мы, студенты Литинститута, слушали воспоминания матери поэта, его сестер и друзей. Потом эти воспоминания были любовно изданы «Московским рабочим».

Есенинская могила на Ваганьковском кладбище в любое время года усыпана цветами. Тронули меня и цветы на соседней скромной могиле, где похоронен верный и заботливый друг Сергея Александровича — Галина Бениславская.

Помнится, много лет назад Александр Андреев поделился с Егором Исаевым и мной своими замыслами:

— Хочу написать роман об Есенине.

И мне подумалось: а ведь это несправедливо, что роман о таком человеке до сих пор не написан. И вот мы с интересом читаем начальные главы андреевского романа «Есенин» в журнале «Октябрь».

Из самых дальних уголков не только России, но и всего земного шара, приезжают люди в приокское село Константиново, манящую луговым раздольем родину поэта. В торжественном молчании входят в избу и сарай с сеновалом, где когда–то поэт писал стихи, поднимаются по ступенькам «дома Анны Онегиной», разжигают костры на крутом берегу Оки, любуются чуть тронутыми дымкой речными далями.

Эти дали полюбя,

Сизые, неясные,
Раздарить всего себя, —
Что еще прекраснее?
Мне до слез мила, близка
Эта зыбь осенняя,
Эта плавная Ока,
Моего отца река
И река Есенина.

ХУДОЖНИК И НАРОД

Мне памятен дебют критика и литературоведа Юрия Барабаша, сразу обратившего на себя внимание литературной общественности Украины. Одна за другой вышли книги «Поэт и время» и «Крылатый реализм», где одна из статей была посвящена творчеству Александра Довженко. «Крылатый реализм» — это определение точно передает своеобразие творческой манеры выдающегося художника. Пройдет немного времени, и в Киеве выйдет одна из пер–вых монографий, посвященных творчеству Довженко. Автор ее Юрий Барабаш. Потом эта книга будет переведена на русский язык.

Книги Барабаша хорошо аргументированы, доказательны. В них чувствуется любовь критика к романтическому началу в литературе и искусстве. Нельзя не отметить боевых выступлений критика в печати, отстаивавшего творческие принципы Александра Довженко и его учеников.

В военном блокноте Александра Довженко, писавшего, как известно, на украинском и русском языках, есть знаменательная запись: «Двое смотрят вниз. Один видит лужу, другой — звезды. Что кому». В этом афоризме — ключ ко всему творчеству великого романтика. И хорошо, что критик Юрий Барабаш в своей книге «Чистое золото правды» нашел этот ключ.

Барабаш смело атакует уязвимые аргументы отдельных критиков, что стремились под флагом борьбы с украшательством и лакировкой в искусстве перечеркнуть творчество Довженко. «Это было выступление против всякой романтики, против устремленности искусства вперед, это была апологетизация серой бытовщины, «микрореализма», это была проповедь узости, эстетического сектантства, вкусовщины». Перспективность романтической стилевой линии в нашей литературе бесспорна. Речь идет о романтической форме выражения правды жизни, свидетельствующей о многообразии нашей литературы.

Автор книги «Чистое золоти правды», убедительно

опровергающий «пятаки медных правд» критиков Довженко, влюблен в великого романтика и этого не скрывает. Но он любит Александра Довженко зрячей и умной любовью, которая не мешает видеть, где у учителя наших сегодняшних романтиков настоящие большие удачи, где поиски, а где и просчеты.

Высоко оценивая замечательные фильмы «Арсенал», посвященный вооруженному восстанию украинского пролетариата, «Земля», вошедший в список десяти лучших фильмов всех времен и народов, «Щорс», «Мичурин», «Повесть огненных лет», «Поэма о море», Ю. Барабаш подробно анализирует достоинства и недостатки таких фильмов, как «Звенигора», «Иван», «Аэроград».

В книге Ю. Барабаша верно подмечено, что Довженко интересовал прежде всего факт заостренный, явление типическое, но необычное — вплоть до условности, до гиперболы. Яркие, развернутые метафоры, сочный и лаконичный диалог, поэтические контрасты и антитезы, неповторимые детали, тонкое чувство природы, живой национальный колорит — все это большой художник брал на вооружение. Он стремился к синтетическому охвату событий, к созданию эпопеи, панорамы эпохи.

Отсюда своеобразные довженковские приемы: перебивки, неожиданные перемещения во времени и пространстве, крупные планы, символика многих сцен, сплав драматизма и юмора. Главный герой его фильмов — народ. Вот откуда вместо традиционной сюжетной линии — целый пучок линий. Мудро сказал Довженко о сюжете своей «Земли»: «Сюжет — земля, на этой земле — хата; в этой хате — жизнь людей». По существу, все его фильмы — кинопоэмы.

Александр Петрович многому творчески учился у Гоголя и Шевченко. Недаром он считал, что «Тарас Бульба» и «Гайдамаки» — почти готовые сценарии, и мечтал экранизировать героическую гоголевскую повесть.

Опираясь на интересный опыт своих предшественников, Юрий Барабаш с увлечением пишет о крылатом реализме Довженко, о его национальных особенностях, о своеобразии стиля великого романтика, о его влиянии на современное искусство и литературу. А влияние это на нашу литературу огромно. Жаль, что наши кинематографисты, удачно или неудачно подражая отдельным находкам Довженко, до сих пор еще не освоили все его чудесное наследство, его лирико–философский емкий стиль, созвучный нашей эпохе.

Книга Ю. Барабаша волнует читателя, будит его мысль. Закрыв ее, над многим задумываешься. Становится понятнее,

почему за три года до запуска первого советского спутника именно Александр Довженко с трибуны Второго всесоюзного съезда писателей заговорил о космических полетах. Этого беспокойного прозорливого человека волновало все: и старая хата у зачарованной Десны, и загадочная Антарктида, и выбор места для Дворца культуры в Новой Каховке, и звезды, которые он умел заметить даже в ночных лужах.

Об Александре Довженко будут еще написаны тома. Тем интереснее книга Юрия Барабаша, книга–разведка, книга–компас для тех, кто ищет, чтоб идти вперед.

Творчество Довженко стало компасом и для самого Барабаша. Это ощутимо и в новой его книге «О народности»* Опыт анализа наследия Александра Довженко помог автору глубже понять взаимоотношения большого художника и народа. Недаром он вспоминает слова Белинского: «Всякая поэзия только тогда истинна, когда она народна…»

Критерий народности помогает Юрию Барабашу разобраться в сложном и противоречивом творчестве украинских поэтов Василия Чумака, Василия Эллана и Якова Мамонтова. Если два первых, несмотря на колебания, заявили о себе, как о певцах революционной бури, то Я. Мамонтов в начале гражданской войны, по словам критика, «напоминал хату с закрытыми ставнями». Тем поучительнее дальнейшее влияние на него революционной действительности. «Революция, — приходит к выводу автор, — лучшая и незаменимая школа народности».

Снова и снова возвращается Юрий Барабаш к драгоценному художественному опыту Александра Довженко. Автор книги «О народности» считает, что наша критика напрасно не говорит в полный голос о реализме Довженко, ибо принадлежность художника к романтическому «крылу» в искусстве социалистического реализма не противоречит реалистической природе его творчества.

Интересен анализ статьи Довженко «Смотрите, люди», посвященной раздумьям о судьбе Зои Космодемьянской и ее последних словах в минуту казни. Возможно, охваченные ужасом свидетели точно не запомнили ее слов. Но «ни поэт, ни историк — не ошибется, когда припишет Зое в высокую вдохновенную минуту творчества самые великие и чистые слова». Почему? Да потому, что они выражают суть ее характера.

Влияние великого романтика, я уверен, с каждым годом будет все более значительным. Я слушаю живой мягкий голос Александра Довженко, записанный на пленку. Он говорит о будущем. И будущее за ним!

ПАТРИОТЫ

Это большое счастье — повстречать в жизни замечательного человека. Нет, даже не повстречать, хотя бы услышать о том, как он жил и творил, мечтал и боролся, страстно желал, чтобы жизнь людей стала лучше. Незримые лучи, льющиеся из этих беспокойных душ, озаряют и твою жизнь.

В раннем детстве мне посчастливилось бегать по лестнице старой елецкой школы, ступеньки которой помнили шаги гимназиста Николая Семашко, будущего ленинского наркома, и его друга Михаила Пришвина, кудесника русского слова. Попав под Киевом на тенистую станцию Боярка, я живо представил, как много лет назад в лютый мороз грузил здесь с друзьями дрова полураздетый, голодный Николай Островский, который еще не ведал, что в одном из парков цветущего Киева будет стоять памятник его бессмертному герою — Павке Корчагину.

На зеленой днепровской круче, где вечным сном спит командарм детской литературы Аркадий Гайдар, мне довелось вместе с дочерьми побывать в сказочном дворце, который создан не по мановению волшебной палочки, а на средства, собранные вихрастой пионерией. Здесь хранятся вещи и книги ее любимца. На писательских съездах в Киеве и Москве я не раз встречал коляску, в которой полулежал скрученный болезнью жизнелюб, тезка Николая Островского и его продолжатель — Николай Бирюков, автор знаменитой «Чайки».

И вот недавно мне снова повезло: я встретил всех этих прекрасных людей в книжке с синей обложкой, на которой написано два слова: «Глазами друга». Точное и сердечное название. Писатель Григорий Ершов, бывший комсомольский работник — счастливый человек. Он не только видел, но и дружил со всеми этими подвижниками земли советской. Да, да, именно подвижничество объединяет седовласого патриарха нашей литературы Михаила Пришвина, скажем, с романтиком Николаем Бирюковым, человеком чистейшей души. Недаром они так тянулись друг к другу. И хочется сказать спасибо автору этой необычной книги, который, оказывается, был организатором их первой встречи.

Увлеченно рисует Григорий Ершов певца русской природы — друга Максима Горького и Николая Семашко. Не отрешенным от жизни мечтателем–чудаком, а беспокойным нашим современником, пристально вглядывающимся в душу народную, предстает перед нами любимый писатель. Уже с юношеских лет ему было по пути с революцией, которой он служил верой и правдой всю свою долгую и прекрасную жизнь.

Сколько молодого задора в пожилом Пришвине, обнимающем могучего друга–таежника или упрямо форсирующем на своем «вездеходе» огромную лесную лужу! Мне довелось быть на Втором всесоюзном совещании молодых писателей, с трибуны которого выступал Михаил Михайлович. Помнится, он поздравил всех нас с весной света. Весна света… Мы еще тогда не знали, что так будет называться одна из последних его книг, которую редактировал Григорий Ершов, рассказывающий ныне историю ее создания.

Хорошо, что автор воспоминаний закономерно сближает, угадывает духовное родство двух чародеев русского слова и русского резца — Михаила Пришвина и Сергея Коненкова, автора чудесного памятника на могиле Михаила Михайловича, некогда воскликнувшего:

— Мирный звук воркующей горлинки свидетельствует всему живущему: «Жизнь продолжается!».

А разве не то же брызжущее жизнелюбие отличало Николая Островского, вступившего в поединок с неумолимой болезнью? Григорий Ершов знал больного Островского еще до того, как тот написал «Как закалялась сталь». Они лежали в одной палате. Веселый, душевный человек, несгибаемый враг пошлости и мещанской корысти, как живой, встает со страниц воспоминаний. Чего стоит один рассказ Островского друзьям по палате о нагловатой профессорской дочке, люто ненавидевшей Советскую власть, и ее мудром отце, протянувшем руку молодым бойцам–чоновцам! Читателя увлекает любовь Островского к легендарному киевскому «Арсеналу», поднявшему восстание против националистической Центральной Рады. Этот, говоря словами Григория Ершова, «обреченный» на вечную славу человек», был очень скромен и требователен к себе.

Александр Фадеев считал, что Островскому удалось создать самый глубокий, самый живой образ молодого человека советской эпохи — Павку Корчагина. А сам Фадеев воскресил в своем романе целую плеяду младших братишек и сестренок Павки — молодогвардейцев. Григорий Ершов волнующе рассказывает об истории создания этой необыкновенной книги. Ему посчастливилось быть одним из первых слушателей начальных глав «Молодой гвардии».

Писатель принял от ЦК комсомола социальный заказ л с честью его выполнил. Материал был такой, что, по сло–вам автора, мог прожечь камень. Очень помог Александру Александровичу и собственный опыт юного подпольщика в далеком Владивостоке времен гражданской войны.

Подтверждая свое повествование убедительными деталями,

рассказывает Григорий Ершов о давней дружбе Фадеева с комсомолом, о щедрой его помощи редакциям молодежных журналов. Все это захватывающе интересно. Хочется, чтобы автор воспоминаний продолжил свои новеллы об Александре Фадееве. В частности, хотелось бы услышать о большой помощи, которую оказывал Александр Александрович молодым и немолодым писателям. Ведь именно Фадеев до войны выступил в «Правде» с высокой оценкой самобытного, лучистого творчества Аркадия Гайдара.

А теперь в книге Григория Ершова они стоят рядом — певец нашей комсомолии и певец нашей пионерии, два удивительно чистых, щедрых художника, оказавших огромное влияние на юных читателей. Интересные, я бы сказал, уникальные факты сообщает нам автор воспоминаний об Аркадии Гайдаре. Была, оказывается, «вторая школа Гайдара», сделавшая из любознательного и бесстрашного подростка командира полка. А в прекрасной новелле «Серебряные трубы» пересказывается до мелочей обдуманная, но не записанная Аркадием Петровичем одноименная повесть.

Перед самой Отечественной войной, в июне 1941 года, рассказал Гайдар ее своему молодому другу — Григорию Ершову. Его память замечательно сохранила эту поэтичную, мудрую и драматическую историю о том, как комбриг Котовский дал незабываемый урок юному командиру Аркадию Голикову. Для этой повести, как для «Школы», «Судьбы барабанщика» и других вещей, характерна гайдаровская требовательность к себе и к своим героям, стремление не округлять острых углов. И какая поэзия! Место «Серебряным трубам», безусловно, в приложении к полному собранию сочинений Аркадия Гайдара.

Мои земляки гордятся, что Аркадий Петрович родился в наших краях, и делают многое, для того, чтобы отыскать его следы в родных местах. Особенно хочется отметить гайдаровские очерки и книгу «Родина Гайдара» местного документалиста Бориса Осыкова. Но вернемся к книге Григория Ершова.

С любовью «вылеплен» Ершовым большой детский пи–сатель Сергей Григорьев, самобытный художник, человек удивительного обаяния. Помнится, еще в начальной школе я и мои сверстники с увлечением читали его рассказ «Красный бакен» и повесть «Берко–кантонист». А накануне войны появился его интересный роман «Александр Суворов». Уже после войны издательство «Молодая гвардия» поручило Григорию Ершову редактировать однотомник Сергея Григорьева. В книгу должны (были войти исторические повести о Суворове, Нахимове, Макарове и повесть «Мальчий бунт» из истории русского рабочего класса.

Великолепно описана в воспоминаниях необычная читательская конференция ткачей Орехово–Зуева, на которой раскрылся ершистый характер Сергея Тимофеевича, сына паровозного машиниста, любившего выдумку и людей. Только какой–нибудь заскорузлый чиновник–перестраховщик мог не понять нестереотипного, полного мудрости и фантазии разговора старого писателя с друзьями–ткачами. С болью рассказывает Григорий Ершов о безвременной смерти земляка и друга Горького, посвятившего ему прекрасные рассказы и повесть.

Оригинальна композиция воспоминаний о Петре Павленко, с которым Ершов работал вместе в редакции журнала ЦК ВЛКСМ «Дружные ребята». Поселившийся в Крыму подполковник–отставник Сергей Иванович Редькин, убежденный мичуринец, увлекшийся виноградарством, долго думал, что в Крыму есть два Павленко: полковники писатель. «Разыгрывая» подполковника Редькина, Павленко все же чутко прислушивался к его критике первых глав романа «Счастье». Ершов неназойливо, тонко подводит читателя к выводу: известный герой романа Воропаев вобрал в себя черты и подполковника Редькина, и самого Павленко, и многих других замечательных крымчан.

Москва, Рязанская область и Крым сблизили Григория Ершова с автором знаменитой «Чайки», сделали их близкими друзьями. Первые слова Николая Бирюкова при знакомстве были: «Давай свою лапу». Это, улыбаясь, сказал человек открытого сердца, коварным недугом прикованный к своей коляске. Автору воспоминаний довелось быть свидетелем бесконечных вахт больного писателя, самозабвенно работавшего над «Чайкой»…

Михаил Пришвин, Николай Островский, Александр Фадеев, Аркадий Гайдар, Сергей Григорьев, Петр Павленко, Николай Бирюков — какие разные, неповторимые творческие индивидуальности! Но есть нечто и объединяющее их. Все они страстно любили свою Родину и свой народ.

СОЛНЦЕЛЮБЫ

«Солнечные кларнеты»… Так называлась первая лирическая книга Павла Тычины. Мало кто знает, что Павел Григорьевич в самом деле играл на кларнете и в юности и в зрелые годы. Он был разнообразно одарен: если бы не стал поэтом, стал бы выдающимся музыкантом или живописцем. Он был влюблен в солнечный мир.

Первым учителем музыки, живописи и литературы у маленького Павла был вольнолюбивый репетитор, кудрявый семинарист Николай Подвойский, будущий большевик,

ленинский соратник. Он знакомил Тычину и его друзей Григория Веревку и Василия Эллана–Блакитного не только с литературой и искусством, но и учил вглядываться в жизнь, понимать ее противоречия, не просто следить, но и вмешиваться в стремительный бег событий.

Молодой Николай Ильич водил в Чернигове своих учеников на Болдину гору и там, на могиле украинского историка Опанаса Марковича, читал юным друзьям книги Чехова и Глибова. Солнце все выше, тень от креста меньше, меньше…

Потом они ловили удочками рыбу. Спешили в тишину городской библиотеки, где Николай Ильич брал на свой абонемент для Павла Тычины Гомера и Шекспира. А вечером — в театр, на гоголевского «Ревизора», хохотать до слез…

Через много лет Павел Григорьевич, которому было уже за пятьдесят, в далекой Уфе в дни суровой войны вспоминал белогипсовый бюст Шевченко на шкафу в черниговской репетиторской и ящичек с пахучими масляными красками, подаренный ему в молодости Николаем Ильичом Подвойским.

«Когда–нибудь я напишу об этих таких далеких и таких близких для меня годах. Много чего из Вашей тогдашней деятельности, как воспитателя, на то время надо считать дерзновенным и смелым новаторством, — писал Павел Григорьевич в Москву Николаю Ильичу. — Много я получил от Вас — это несомненно. И вот, с благодарностью вспо–миная Ваше присутствие в моем монастырском детстве, я, как и всегда, сегодня хочу, чтобы Вы были прежде всего здоровы».

Интересно первое знакомство Тычины с Подвойским. Прежний репетйтор, по словам Павла Григорьевича, представлял собой настоящего зверя — строгого, глухого к слезам и просьбам детей и подростков.

И вот из комнаты репетитора вышел высокий незнакомец с зеленоватыми, чуть насмешливыми, но добрыми глазами.

— Здравствуйте, мальчики.

Запуганные мальчики безмолвствовали. Тогда незнакомец пожурил их за беспорядок в комнате. Павло и его друзья недоверчиво косились на высокого семинариста. Говорит ласково, а расскажи ему всю правду, вдруг донесет начальству? Может, выпытывает?

— Я люблю порядок и чистоту! — заявил незнакомец и поглядел на карманные часы. — Вы живете в грязи, за вами плохо паблюдали. Почему у вас сапоги рыжие да желтые, словно горчицей помазаны?

— Так ваксы не дают… — пожаловался кто–то.

— Будет вакса! — пообещал удивительный семинарист. — А

кроме того я добьюсь, чтобы всем вам выдали галоши, рукавицы и башлыки. Как же иначе? Грязь, снег…

— Галоши и башлыки — вот бы здорово! — мечтательно протянул кто–то.

— Все будет! — уверенно пообещал незнакомец. — Только учитесь хорошо.

— А кто вы такой? — осмелев, полюбопытствовал застенчивый Павло.

— Ваш новый репетитор. А зовут меня Николай Ильич.

— А фамилия?

— Подвойский.

Николай Ильич, сдвинув брови, строго оборвал служителя, отставного солдата, назвавшего ребят «лопарями–голодальщиками». Он не любил обидных прозвищ. Но узнав, что Павло и его друзья и в самом деле голодные, тут же принес им из репетиторской свой хлеб, две булки и кусковой сахар.

— Самовар еще горячий! Пейте, хлопчики, чай! — и вдруг губы Подвойского скривились. — Ох, эти мне отцы святые! Чуть вас не уморили. Ох, и отцы, чтоб их… — и ушел в репетиторскую, чтоб ребята не слышали накипевшего горького слова.

Естественно, что такого «репетитора», вожака семинаристов–бунтарей, организовавшего маевку на лодках, в конце концов вышибли из семинарии.

— Самые светлые воспоминания храню я в своем сердце о Николае Ильиче Подвойском, — говорил Павел Григорьевич. — Моего воспитателя (я его только так и могу назвать) встретил я на раннем пути, когда еще только–только начинало формироваться мое отношение к людям.

Свое известное стихотворение «И от царей и от вельмож», написанное в 1927 году, Павло Тычина посвятил своему учителю, ставшему в Великом Октябре председателем петроградского Военно–Революционного комитета.

И от царей и от вельмож
Осталась омерзенья дрожь,
И ужас жизни, что отвратна,
И несмываемые пятна.

(Перевод Л. Озерова)

Вслед за Владимиром Маяковским Павло Тычина рисует образ Подвойского и в других своих стихотворениях. Так, в стихах

«О юном Васыле», вспоминая своих черниговских друзей Васыля Эллана–Блакитного, Виталия Примакова, Юрия Коцюбинского и других, поэт пишет:

Чернигов отвечал по чести
на посвист царского бича.
Про Николая Ильича
Подвойского приходят вести.
Тут след его трудов и дел.
Он в монастырском хоре пел.
Он знал, когда он жил меж нами,
что революционный дух
зажегся в нем — и не потух.
Он бросился в борьбу, как в пламя.
Недавно же узнали мы:
Подвойский вышел из тюрьмы
с мечтой о новом грозном часе.
Там, где Путиловский завод
работает… Там свой народ,
и хорошо в рабочей массе.
Васыль Эллан, Васыль Эллан!
Был тесен матери чулан,
а в нем так много сберегалось…
Нет, бурю встретим, не дрожа,
на остром лезвии ножа
решимость смелого рождалась!

(Перевод А. Гатова)

Грянул грозный семнадцатый год, и ВРК, который возглавлял Подвойский, назначил юного большевика — прапорщика Юрия Коцюбинского одним из своих комиссаров. А в девятнадцатом Николай Ильич стал наркомвоенмором Украины. Вот стихотворение «Чтоб Украине твердо стать (Киев 1919 года)» о встрече Тычины со своим учителем.

Подвойский в Киеве, Подвойский!
Во мне проснулся дух геройский — пойду искать!
Я был бы рад, как никогда…
Он послан Лениным сюда, чтоб Украине,
Украине твердо стать.

(Перевод Д. Седых)

Вторым учителем юного Павла Тычины был Михаил Коцюбинский, который повстречал его в роще за этюдником. Много благодарных слов посвятил Павел Григорьевич этому чудесному писателю и человеку, окрылившему молодого поэта и всюду горячо пропагандировавшему его творчество, даже на далеком острове Капри, где лечился Максим Горький.

«Знаю я Вас давно, мне много нежно — как он изумительно умел говорить о людях — рассказывал о Вас М. М. Коцюбинский, читая некоторые Ваши стихи», — писал позже Горький Тычине.

Наведав за год до смерти свой родной город, поэт написал стихотворение «Глубокие следы (С товарищами своими посетил я Чернигов в 1966 г.)». Снова вспомнил Подвойского и литературные «субботы» у Михаила Коцюбинского, к которому семинаристы пробирались тайком от охранки.

…Молчат соборы, с молчаливой бурей
моих воспоминаний говоря.
Наш Примаков, наш Коцюбинский Юрий
глухою ночью вышли на царя.
Какими же хлестало их ветрами!
Отрады память с памятью беды
слились в минувшем… А вослед за нами,
за нами вслед — за нашими следами,
в проталинах лазоревой воды,
в заторах — все глубокие следы,
глубокие следы…

(Перевод А. Голембы)

Гигантская память Павла Тычины, как океан, держала на своих крутых волнах образы учителей, друзей–единомышленников, современников и далеких предков.

Вот передо мной два тома его стихотворений и поэм в русских переводах, вышедшие недавно в издательстве «Художественная литература». Отсюда я брал все предыдущие цитаты. Смотрите, какой каскад образов замечательных сынов и дочерей украинского народа! От прозорливого Сковороды и

великого Тараса до мятежной Леси Украинки и звонкоголосой Оксаны Петрусенко. А рядом — образы сыновей братских народов. Почетное место среди них — Владимиру Маяковскому.

Чтоб слышать всех, в кого я так влюблен,
распахиваю настежь в доме дверь я.
Но кто же первый? Маяковский. Он
не выйдет у народа из доверья.
Давно, когда–то встретившись в пути,
меня, как брата, обнял он за плечи.
И мне как будто легче вдаль идти,
сильнее стал я после этой встречи.

(Перевод Н. Асанова)

Однажды, когда Маяковского спросили, знает ли он украинский язык, он прочел по–украински знаменитое «На майдаш» Павла Тычины. Украинский язык Владимир Владимирович знал с детства. Мать у него была украинка.

Друг и соратник Маяковского Николай Асеев говорил:

— Павел Григорьевич стал поэтом своего народа, и его личная биография вписана в биографию народа. Мой Тычина стал нашим Тычиной.

А вот афоризм мудрого Максима Рыльского:

— Тычина и песня — брат и сестра, а Тычина и народ — сын и отец.

Знаменательно свидетельство Юрия Смолича:

— Тычина стал знаменем, с которым наше поколение шло в революцию. «На майдаш коло церкви революця 1 де», «За вс 1х скажу, за вс 1х переболт», «ПарНя веде», «Чуття едино! родини», «Я есть народ» — это Тычина. Но это и мы все.

Интересно, что все перечисленные здесь названия лучших, программных стихов Павла Тычины звучат крылато, как пословицы. Сразу чувствуется, что их автор не только проникновенный лирик, но и глубокий мыслитель. Многие современники считали Тычину четвертым поэтом Украины, называя его сразу же после Шевченко, Франко и Украинки.

Павло Тычина — поэт мирового звучания. Недаром мотивы мировой поэзии органично вошли в его творчество. Это был поэт–интернационалист. Он свободно переводил с грузинского и армянского, помнил наизусть стихи Назыма Хикмета на турецком языке, блестяще знал западную и восточную литературу. И в то

же время успевал прочесть стихи во всех районных газетах Украины, выискивая новые многообещающие имена. Этот скромнейший, деликатный человек имел право сказать: «А сколько молодых, как старший друг, я вывел в путь!»

Поэт очень любил свою мать и братьев. Известное стихотворение «Плуг», давшее название всей второй книге, Тычина посвятил своему младшему брату Евгению. Мне довелось его хорошо знать. Это был чуткий, добрейшей души человек. Когда умер брат Михаил, он, Евгений, молодой хлопец, женился на многодетной вдове брата, помог ей вывести всех сынов в люди. Его приемную дочь вместе с детьми сожгли в Отечественную войну нацистские изуверы. Оставшегося в живых внука Юрия Евгений Григорьевич усыновил, заботливо оберегал от страшной памяти войны. Все это я рассказываю для того, чтобы показать, что в традициях семьи Тычины всегда были доброта и благородство.

После демобилизации из армии мне довелось жить в харьковском Доме Слова, в комнате, где, как мне рассказал Евгений Григорьевич, был раньше кабинет Павла Григорьевича.

Я мечтал в кабинете Тычины,
Где звенели в окне тополя.
То смеялась, то пела дивчина
И вращалась планета Земля.
Наплывали то радость, то горе,
То лазурь, то туманная пыль,
Врат поэта Евгений Григорьич
Мне рассказывал страшную быль...

Уже тяжело больной, Евгений Григорьевич, так же, как его старший брат, стремился сделать людям как можно больше добра. Совсем недавно его сын Владислав, несколько лет живший в семье поэта, привез мне книги Павла Тычины, вышедшие уже после его смерти. Среди них был и интересный том «Певец нового мира (воспоминания о Павле Тычине)» на украинском языке. Хотелось бы, чтобы эта книга, где собраны воспоминания многих современников поэта, была переведена и на русский язык.

Владислав Евгеньевич припомнил, как подростком бегал по газетным киоскам, скупал газету «Правда», где на украинском языке было напечатано знаменитое стихотворение его дяди «Парт 1я веде». Павел Григорьевич хотел подарить друзьям, которых у него было немало. А я вспомнил, как под Нежином, в селе

Кунашевка, где когда–то родился Николай Подвойский, в школе его имени увидел под стеклом комплект украинской энциклопедии, подаренной Павлом Тычиной юным землякам своего первого учителя.

Поэт Иван Гончаренко, друг и доверенное лицо народного депутата Тычины, не раз сопровождавший Павла Григорьевича в поездках по родным местам, рассказывает, что Тычина часто любил вспоминать своих первых учителей Николая Подвойского и Михаила Коцюбинского.

Когда я стал работать над романом «Мы были счастливы» о Подвойском и его товарищах по борьбе, я обратился с письмом к Павлу Григорьевичу с просьбой рассказать подробнее и о их встречах. К сожалению, поэт уже был тяжело болен. Семья Подвойских познакомила меня с его телеграммами и письмами к Николаю Ильичу и Нине Августовне, ветеранам трех революций: отрывок из одного письма я использовал в романе.

Мне кажется: молодой Тычина перенял многое от своих учителей.

— От орлов родятся орлы! — говорил Николай Подвойский. А его любимый ученик уже в девятнадцатом году писал:

Тому — любовь, другому — мистика,
А третьему — орлов страна.

(Перевод И. Поступальского)

Павло Тычина был, как и его учитель, солнцелюбом.

БОЛЬШОЙ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ КРИТИК

Жил на Алтае учитель. Днем учил сельских ребятишек, а вечером в той Же школе устраивал читки книг для взрослых мужиков. Потом они говорили свое непредвзятое мнение о прочитанном, а учитель записывал. Так родилась книга Андриана Топорова «Крестьяне о писателях», удивительная книга удивительного учителя из коммуны «Майское утро».

О книге этой с восхищением отзывались Горький, Зазубрин, Подъячев, Пермитин, многие прогрессивные зарубежные деятели.

— Лучше критиков, чем в «Майском утре», я не встречал! — сказал писатель–романтик Борис Горбатов.

Лишь некоторым литераторам из тех, чьи книги разбирались

коммунарами, не понравилось, что их критикуют «темные крестьяне». А вот Лев Толстой не стеснялся учиться у «темных крестьян».

Андриан Митрофанович Топоров не только написал замечательную книгу, но и воспитал много замечательных учеников. А те в свою очередь — в школе и дома — воспитали космонавта-2. Ну, в том, что Герман Титов стал космонавтом, может быть, и есть элемент случайности. Он мог быть шахтером, поэтом, трактористом, музыкантом. Но в том, что он вырос патриотом — никакой случайности нет. В этом заслуга Степана Павловича Титова и других учеников Топорова.

Думалось, что после книги «Крестьяне о писателях» у Андриана Топорова появятся многочисленные последователи. Ефим Пермитин даже писал об этом Топорову в письме. Но так почему–то не случилось.

Отрадно, что теперь за это дело взялся комсомол. Ведь Всероссийская читательская конференция «Родная земля», проведенная ЦК ВЛКСМ, Министерством культуры РСФСР и Союзом писателей Российской Федерации, — это продолжение зачина Андриана Топорова, это трибуна нашего многомиллионного читателя.

В недавнем постановлении ЦК КПСС «О литературнохудожественной критике» говорится о долге наших критиков глубоко анализировать явления, тенденции и закономерности литературного процесса, всемерно содействовать укреплению ленинских принципов партийности и народности, бороться за высокий идейно–эстетический уровень советского искусства, последовательно выступать против буржуазной идеологии.

Думается, свою лепту в это большое дело могли бы внести и наши читатели. Михаил Шолохов когда–то очень точно сказал, что в нашей стране самый замечательный читатель. Очевидно, при обобщении материалов больших читательских конференций могли бы родиться книги, продолжающие прекрасную топоровскую традицию. Донести голос нашего чуткого и умного читателя до всех, кто заинтересован в дальнейшем развитии современной литературы, почетная задача сегодняшних последователей Андриана Топорова.

Достаточно вспомнить, что такие разные книги, как «Чапаев» Фурманова и «Тихий Дон» Шолохова, лирика Есенина и «Василий Теркин» Твардовского, «Молодая гвардия» Фадеева и «Звезда» Казакевича были сразу признаны и поддержаны самыми широкими массами. Большой читатель — большой, взыскательный критик.

ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА

Я уверен: именно сплав лиризма и документальности дал удивительную силу замечательной прародительнице нашей поэзии и прозы — «Слову о полку Игореве». Ученые до сих пор спорят: поэма это или повесть? Но в том–то и чарующая мощь «Слова», что оно одновременно и поэма и повесть.

Если мы взглянем на всю русскую литературу — и поэзию, и прозу — под углом «Слова о полку Игореве», то увидим, что многие лучшие произведения написаны именно в традициях бессмертного «Слова».

Переводчик и исследователь «Слова о полку Игореве» Алексей Югов, много лет и много сердца отдавший этому прекрасному произведению, в своей работе «Архаизмы в поэтике Маяковского» писал: «Я думаю, что не Уитмен, а «Слово о полку Игореве» было образцом для больших лирико–эпических симфоний Маяковского». И тут же конкретно указывал на удивительное сходство между «Словом» и поэмой–ораторией «Война и мир» не только в построении обеих поэм, но и в ритме: «Перебивка поэмы лирико–патетическими возгласами, глубокие заходы в прошлое и, наконец, апофеоз конца, пришедший на смену чрез–вычайно мрачным картинам, — все это роднит «Слово о полку Игореве» и «Войну и мир» Маяковского».

Вначале об Уитмене. Тут дело обстоит сложнее. Весь вопрос в том, что сам Уитмен брал за образец гомеровские поэмы. Кстати, между поэмами Гомера и «Словом» есть много общего. Это героические эпосы великих народов. Но «Слово» лиричнее. В нем клокочут любовь и ненависть, как в «Житии» неистового протопопа Аввакума.

Захватывающе читается сборник «Слово о полку Игореве», где напечатан талантливый перевод Алексея Югова и его статьи, объясняющие и защищающие великий литературный памятник. В них с исключительной полнотой раскрывается эрудиция и темперамент автора, литератора, ученого, бойца.

Недавно Алексею Кузьмичу исполнилось семьдесят. Пришло (Много приветствий, появились юбилейные статьи в московских газетах и журналах и в родной «районке», с которой Югов дружит долгие годы. В специальном сосуде зауральские земляки прислали любимому писателю воду из Тобола и родимую землю, которую теперь охраняет в юговском кабинете сказочный богатырь.

Русского пахучего, хмельного,
Чудится: из глубины веков
Ты пришел в шеломе и кольчуге,
Нет, ты прискакал, приплыл на струге
С дальних зауральских берегов.

Я беру в руки роман Алексея Югова «Ратоборцы», изданный в Чехословакии. Подруга писателя Ольга Ивановна, знающая чешский язык, переводит мне добрые слова чешского ученого. А вот дарственный экземпляр книги Андриана Топорова «Крестьяне о писателях», поддержанного в свое время Юговым. Алексей Кузьмич задумчиво улыбается.

— Давно с ним переписываюсь. Частенько открываю его книгу и наслаждаюсь живым, прекрасным русским языком.

Юговский перевод «Слова» был высоко оценен Николаем Асеевым, писавшим в статье «Глагол времен», что новизна этого перевода не только в иной трактовке отдельных мест текста, но и в новом подходе к нему, в прочтенном заново, свежими глазами, поэтическом произведении огромной изобразительной силы. Доброе слово об исследовательских поисках и новаторском переводе Алексея Югова сказали знатоки «Слова» академики Б. Греков и А. Орлов. Почти сорок лет Югов, как верный храбрый рыцарь, стоит на посту у бессмертного памятника, знает наизусть каждую его деталь и ее происхождение.

Мне довелось присутствовать при темпераментном споре Алексея Югова с автором книги «Витязи» Игорем Кобзевым, взявшимся за поэтический перевод «Слова». Причина: разное толкование одного слова. И я подумал: а ведь это удивительное произведение оказало огромное влияние и на прозу Алексея Югова, на его романы «Шатровы» и «Страшный суд». Сошлюсь и на собственный опыт. В меру своих сил я, как и многие мои товарищи, всегда старался учиться у «Слова» образности, динамизму, краткости.

«Слово о полку Игореве», так же неотъемлемо от России, как Волга. Оно питало и будет питать своими родниковыми ключами литературу и искусство, историческую науку и самосознание нашего парода.

ТАЕЖНЫЕ БЫЛИ

Можно было бы написать большой литературный портрет каждого из этих двух интересных художников. Да они, очевидно,

уже и написаны.

Моя задача куда скромнее. Сопоставить их две книги, сказать, что их объединяет и чем они отличаются. Иногда от такого сопоставления скорее уловишь особенности, присущие именно этому писателю.

Романтики Сергей Воронин и Николай Шундик… Оба начинали со стихов. Воронин под большим секретом мне признался, что первые стихи написал потому, что стихотворством увлекался его товарищ. Школьник Сережа написал что–то в этом роде:

Выпал снежок,
Покрыл поле и лужок.
Леса побелели,
Птички улетели…

Какие стихи писал школьник Коля Шундик — не знаю. Зато многие знают, какие повести и романы написал дальневосточный учитель Николай Шундик — «На земле Чукотской», «На севере дальнем» и «Быстроногий олень». Сергею Воронину в юности довелось побывать с изыскательной партией в родной для Николая Шундика дальневосточной тайге. Так родились две таежные были. Я говорю о романе Шундика «Родник у березы» и романе Воронина «Две жизни».

«Родник у березы» — большое эпическое полотно, движущаяся история дальневосточного края, а «Две жизни» — лирический дневник молодого изыскателя. Что, казалось бы, между ними общего? А оно есть. Оба писателя пристально вглядываются в таежную жизнь тридцатых годов, зорко подмечают, что было действительно новым, а что было старым, лукаво надевшим личину нового.

Будь то партия изыскателей или коренные таежники — борьба шла везде. Изворотливые себялюбцы, играя на излишней подозрительности, пользовались недозволенными приемами, иногда им удавалось оклеветать честных патриотов. Но народ обмануть нельзя.

Вслушайтесь в легенду старика Селивестра из романа Н. Шундика: «Растет, говорит, на заветном месте столетняя береза. Вот уже век целый по весне она дает свой чистый, как слеза, сок. Коль честный человек отведает соку этого, сбудутся все его желания, потому что у него не может быть желаний других, кроме самых добрых. Коль недобрый человек отведает, скорчится,

потемнеет, как березовая кора от огня, его сердце, окостенеют руки его, ноги и язык. Вот как покарает его береза».

И в романе «Родник у березы», и в романе «Две жизни» правда побеждает кривду, но эта победа дается нелегко. Гибнут замечательные люди, жертвы этой кривды. Оба писателя движимы благородным желанием, чтобы впредь эти победы доставались не столь тяжелой ценой.

У Николая Шундика язык по–народному метафоричен и лаконичен. Иногда его густо населенный роман напоминает сценарий. Сюжет остро драматичен. Это и понятно: Шундик давно пишет пьесы. Сергей Воронин более сдержан, хотя его роман написан от первого лица. Но иногда поэт прорывается сквозь отрывистую дневниковую форму романа, отнюдь не растворяя образа молодого изыскателя Алеши Коренкова: «…Все дальше уходит поезд. Свежий ветер врывается в окно. Он пахнет землей, водой, лесами. Откуда он примчался? Ветер–бродяга, странник, путешественник, изыскатель… Где он только не бывал! Пожалуй, весь земной шар облетел и теперь, как голубь, бьется у меня на груди…»

Лиризм повествования объединяет автора и его героя. И это для романтической прозы закономерно. Вспомните лирическое обращение Олега Кошевого к матери в фадеевской «Молодой гвардии». И там мы чувствуем удивительное тождество чувств автора с чувствами героя.

Многое предстоит узнать главным героям этих двух романов, разобраться в людях, закалить свое гражданское мужество, а главное выбрать настоящий путь в жизни. Речь идет не только о том, какой проект будет принят — скальный или правобережный («Две жизни»), кто в конечном счете победит — старый большевик, первый председатель таежной артели Корней Кленов и другие патриоты или горе–председатель Митин, карьерист, сменивший Кленова, и все, кто расчетливо выдвигал Митина («Родник у березы»). Речь идет о победе ленинской правды.

Два очень разных писателя, внимательно анализируя трудную и прекрасную жизнь своего поколения, пришли к одному выводу: народ, вооруженный этой правдой, непобедим.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

Детство и юность этих двух несхожих писателей прошли в столице. В Москве тридцатых годов, Москве предгрозовой. Две лучшие их книги во многом перекликаются — это роман Сергея Баруздина «Повторение пройденного» и «Чистые пруды» Юрия Нагибина. Вторая вещь состоит из лирических рассказов, которые

связаны между собой. По существу, это повесть в новеллах.

В центре нагибинской повести обыкновенные московские подростки, которые еще сами не знают, кем они станут завтра. В них много хорошего, но много еще и неясного. Вот школьная красавица Нина Варакина, в которую в старших классах влюблялись все парни. Главного героя, от лица которого ведется повествование, не раз за нее били соперники. Нина не жалела для своего друга носовых платков, чтобы тот утирал кровь. Но своенравную девчонку не очень–то трогала рыцарская жертвенность друга.

«Когда мы стали старше, драки прекратились. Мы могли спокойно сидеть на скамейке Чистых прудов и в тысячный раз выяснять, почему я ей не нравлюсь, вернее, нравлюсь, но как–то не так. Не так, как наш бывший вожатый Шаповалов, не так, как Лемешев, не так, как летчик Громов, не так, как Конрад Вейдт и Борис Бабочкин, — перебирал я мысленно, поскольку знал все самые сильные Нинины влюбленности. Величие и отдаленность этих моих соперников избавляли меня от ревности, но не от тоски».

В конце повести главный герой, долго искавший себя, побывавший в трех институтах и в конце концов ставший писателем, встречает Нину, которая преподает физкультуру в столичной школе. Она вышла замуж не за Лемешева, не за Бабочкина, а за соученика Юрку Петрова, «длинновязого чудака с хрупкими костями, которые он постоянно ломал на велосипедном треке, на лыжном трамплине или на Чистопрудном катке». Главному герою «это казалось чудовищной издевкой, тем более что прежде она не испытывала к нему ни малейшей склонности», но он ошибался.

Из скромника Юрия Петрова, беззаветно помогавшего Нине в трудные годы, вышел замечательный инженер–конструктор. Они с Ниной воспитали двух хороших сыновей. И все же чувствуется, что чего–то в жизни Нина не нашла, не осуществила своей большой мечты. Она, человек незаурядный, могла дать больше. Кто виноват? Возможно, ее увлекающаяся, непостоянная натура. Помоги ей кто–либо раньше умным советом или пойми она глубже себя — Нина могла бы стать настоящей актрисой. Исповедуясь главному герою, она отнюдь не строит иллюзий насчет себя:

«Я вообще была прекрасна только в трудные минуты. А в остальное время — скверная девчонка. Мне все время хотелось нравиться, крутиться среди разных людей, и чтобы все мною восхищались. Сколько я целовалась просто так, чтобы растормошить какого–нибудь лентяя!.. А ты, с твоей

привязанностью, просто меня пугал. Быть с тобой — значило быть всегда хорошей, а я знала, что это мне не по силам, а обманывать тебя не хотелось».

Верный и тонкий самоанализ. Главный герой «понял тайну Нининого обаяния: она была естественна, как сама земля». А нам жаль эту одаренную, но не нашедшую по–настоящему себя в жизни натуру. Хотел ли автор этого или не хотел, но Нине противостоит в повести образ чистой и настойчивой Жени Румянцевой, мечтавшей стать астрономом и погибшей в войну за штурвалом самолета. Герой не без основания считает, что Женя — лучший человек из тех, кого он знал. Но и Юрка Петров по благородству души и тому, что он в жизни сделал, не уступает Жене. К сожалению, оба эти образа находятся все же где–то на «околице» повести, сильной прежде всего деталями.

Главная героиня романа Сергея Баруздина Наташа по своей цельности родственна Жене из «Чистых прудов». Но на ней сосредоточено авторское и читательское внимание. В отрочестве баруздинская Наташа, быть может, отдельными поступками и походила на нагибинскую Нину, но мечты ее были больше похожи на мечты будущей летчицы Жени из «Чистых прудов».

Невольно вспоминается честная и наивная Женя, сидевшая после «кругосветного» плавания по Чистым прудам в кафе с главным героем и его друзьями. «…Женя говорила, что ей хотелось бы погибнуть в первом космическом полете, потому что космосом нельзя овладеть без жертв, и лучше погибнуть ей, чем другим, более достойным. Мы знали, что она говорит искренне, не подозревая о своем душевном превосходстве, и это унижало нас. Мы не были такими даже под воздействием коньяка, нам нужен был хоть какой–то шанс уцелеть».

У благородных поступков баруздинской Наташи, бесстрашной фронтовички, и нагибинской летчицы Жени — один корень. Это самоотверженность, удивительная черта, присущая русским женщинам от декабристок до фронтовичек Отечественной войны.

Оригинальна композиция романа Сергея Баруздина. Действие начинается и кончается в 1961 году, когда Юрий Гагарин взлетел в космос. А в сердцевице произведения — огненные годы Отечественной войны. Они идут один за другим. Что ни год — глава романа. Кажется: сама жизнь продиктовала такую композицию. Своеобразно построена и повесть в новеллах Юрия Нагибина. Только хотелось бы, чтобы было больше внутренней связи между отдельными новеллами. У Сергея же Баруздина другая крайность: он иногда пытается привязать к судьбе главных героев такой материал, который никак с ними не связан.

Несмотря на разные творческие почерки известных прозаиков, многое их объединяет. Это — умелое владение художественной деталью, лиризм, стремление следовать исторической и психологической правде. Мне хотелось бы только отметить, что немалое значение для глубокого раскрытия характеров героев играет и композиция всего произведения, соотношение частей и целого.

Два разных писателя одного поколения рассказали о том, как мужала юность военных лет, которую символизирует поэтичный образ Чистых прудов.

ПОДВИГ КОМИССАРА

Всю жизнь Владимир Ставский, автор известных повестей «Разбег», «Станица» и рассказов о гражданской войне, был связан с нашей армией. Бои с фашистами в Испании, с самураями на Халхин–Голе, освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии и, наконец, тяжелое ранение в боях с белофиннами — сквозь все это прошел энергичный, неугомонный Владимир Ставский, один из руководителей Союза писателей, редактор журнала «Новый мир», который он стремился сделать боевым органом. Я смотрю на снимок, где Ставский снят рядом с Маяковским, Фадеевым и Сурковым. Бойцы. Какие они все молодые!

С первых дней Отечественной войны Владимир Ставский в самом пекле боя. Он и сам вместе с легендарными панфиловцами отчаянно отражал атаки танковой фашистской лавины. Но о себе — ни строчки. А вот о наших прикрывших столицу грудью солдатах и офицерах писатель–журналист взволнованно рассказывал на страницах «Правды» и «Красной звезды».

Генерал К. Рокоссовский, ставший затем маршалом, и комиссар А. Лобачев подарили Владимиру Петровичу фотоснимок с надписью: «На память В. П. Ставскому. Дорогому товарищу. Другу–писателю, принимавшему с нами участие в суровых боях на подступах к Москве».

Вышла его книга «Фронтовые записи». А ее автора уже влекло море. Вместе со своим другом поэтом Василием Лебедевым–Кумачом он выезжает на север, к военным морякам, на гвардейский корабль «Гремящий». Так рождается повесть «На севере». Беспокойный писатель–боец уже вынашивает новый замысел — повесть о снайперах. Под древним русским городом Невелем он встречается с замечательными девушками–снайперами Клавой Ивановой, Ниной Лобковской, Лидой Ветровой и их боевыми подругами. Нина Лобковская, ныне

научный сотрудник Центрального музея В. И. Ленина, с теилотой вспоминает о Владимире Петровиче как о писателе и человеке большой души.

Однажды по пояс в воде он вместе с солдатами переправлял пушки на западный берег. Бригадный комиссар Ставский, бывалый воин и журналист, должен был своими глазами увидеть первый подбитый фашистский «тигр», стоявший на нейтральной полосе. Пополз к нему ночью и получил смертельное ранение. Слабеющей рукой он достал свои документы и стал рвать их зубами…

О судьбе этого мужественного человека рассказано в интересной повести «Бросок комиссара» Николая Веленгурина, который по крупицам собрал захватывающий материал о жизни писателя–журналиста. Автор повести вдумчиво и любовно проследил суровый путь замечательного патриота — от первого ранения в боях с белочешскими мятежниками до последнего броска к фашистскому «тигру».

Николай Веленгурин многие годы посвятил изучению жизни и творчества Владимира Ставского. Четырнадцать лет назад Веленгурин издал о нем критико–биографический очерк, где ставит его имя в один ряд с Дмитрием Фурмановым, Александром Фадеевым, Николаем Островским и Аркадием Гайдаром, пришедшими в литературу с полей гражданской войны. Веленгурин — автор предисловия и составитель большой книги В. Ставского «Рассказы о героях», выпущенной Воениздатом. И вот, наконец, «Бросок комиссара». Завидное, благородное постоянство!

Здесь хочется привести отрывок из письма к Веленгурину Константина Симонова, который воевал вместе со Ставским и которому веленгуринская повесть помогла глубже понять образ фронтового товарища: «…Возвращаясь к Вашей книге, хочу сказать, что когда прочел ее, перед глазами заново встал облик человека сильного характера, большой и трудной судьбы, человека своего времени, прожившего — как бы сказать — в самой середке того времени, большой жизненный путь. Интересная у Вас получилась книжка. Поэтому хочется в заключение поблагодарить Вас за нее…»

Я помню фронтовика Н. Веленгурина аспирантом Литературного института имени Горького. На груди — орден Отечественной войны. Секретарь райкома комсомола, редактор районной газеты. Ему было о чем сказать. Первые опыты. Рассказы, статьи… «Работать Вам стоило, — писал ему Михаил Шолохов, — есть данные для того, чтобы опытов не прекращать…»

С какой горячностью Николай рассказывал о своих знаменитых земляках, героях гражданской и Отечественной! И одним из них был Владимир Ставский, разведчик, чекист, журналист, писатель, комиссар…

ДОЛГ ПЕРЕД ЗОЕЙ

Наше поколение называют поколением Зои и Олега. Это звучит торжественно и все же привычно. Но вот встретишь человека, чья судьба теснее, чем твоя, переплелась с судьбой погибшей героини, и совсем по–иному воспринимаешь эти слова — «поколение Зои и Олега». Признаться, я не ожидал, что мой однокашник по Высшим литературным курсам Владимир Туркин жил до войны в Зоином Тимирязевском районе, учился в соседней школе; в один день с Зоей получил новенький билет в райкоме комсомола.

Все мы знали, что другой наш однокурсник ярославец Евгений Савинов написал интересную книгу о Зое и ее товарищах из отряда. А Володя Туркин молчал. Но поэт чувствовал свой долг перед Зоей. В душе мучительно медленно вызревала поэма. Однажды в переполненной целинной гостинице одна командированная поэтесса стала жаловаться на отсутствие комфорта:

— Приходится спать чуть ли не на столе!..

В сердце моего товарища больно отозвалось: «А как же Зоя?» Может, в эту бессонную ночь и родились строки будущей поэмы о Зое.

И не влезают в фотоснимок
И в сводки Совинформбюро
Чужие танки возле Химок
И баррикады у метро…
В холодной очереди стоя,
В один из самых рваных дней
Я встретился глазами с ней —
С моей непрожитой весною,
С сестрой и совестью моей,
С несостоявшимся свиданьем
У школьной лестницы вдвоем…
Четыре тонких буквы — ТАНЯ
На сердце выжжены моем.

О Зое, назвавшей себя Таней, у нас написано много стихов и поэм. Писали о ней в турецком застенке и в отрядах Сопротивления в гитлеровском тылу. Наиболее известны поэмы

Назыма Хикмета и Маргариты Алигер. Но вот о Зое пишет ее одногодок, бывший юный шофер, которому не повезло в кабинете секретаря горкома комсомола, откуда бесстрашную девушку направили за линию фронта, а ему предложили ходить во всевобуч.

— Опять воевать на полигоне палками? — возмутился Володя.

— Да! — подтвердил секретарь горкома комсомола товарищ Шелепин. — Зато будете хорошо владеть винтовкой.

А вскоре боец всевобуча Владимир Туркин увидел в «Правде» фотографию мертвой Зои, потрясшую всю страну, весь мир.

Весь погруженный в темноту,
Я ощутил в секунду ту,
Что не газетную страницу
Держу на дрогнувших руках,
А тело Тани,
Тело птицы,
Убитой кем–то на лету.

Если в начале поэмы встречается привычное для прежних стихов Туркина обыгрывание отдельных слов вроде: «Живая очередь мертва под очередью пулеметной», то дальше поэма набирает целомудренно чистую силу исповеди, переходящей в клятву.

Она, откинувшись, лежала
На белой простыне земли.
И по груди ее текли
Уже обрезанные жала
Еще змеящейся петли.

Здесь образный стих настолько наполнен чувством, что, кажется, жжется…

Жаль, не при ней,
Жаль, не в начале.
Жаль, поздно сказаны слова.

Так почему ж о ней молчали,
Пока она была жива?
Я упрекаю тех, кто рядом
Прошел по школьным годам с ней.
Еще до леса,
До отряда,
До казни,
До военных дней.
И в молодежной круговерти,
В потоке прозаичных дел
ЕЕ грядущего бессмертья
Не ощутил,
Не разглядел.

Слушая недавно эти стихи, одна из школьных подруг Зои украдкой утирала слезы. А в ту памятную первую военную зиму Владимир Туркин вырезал фотографию Зои из газеты, как сделали многие его сверстники. Но у Владимира на то было особое право. Девушка из соседней 201-й школы. Москвичка Зоя… Возможно, она прибегала сюда, на волейбольную площадку его школы, а зимою где–то рядом ходила на лыжах.

И помню, как на той тропинке —
Девчонке было не с руки —
Склонился я к ее ботинкам
Поправить лыжные шнурки.
И так вот,
преклонив колени,
Застыл на все бы времена,
Когда бы знать мне в то мгновенье,
Что предо мной стоит она…

И почему–то в эту минуту мне вспоминаются бессмертные пушкинские строки «Я помню чудное мгновенье…» Видно, потому, что сердце моего товарища было переполнено тем же восторженно–благородным чувством. Вот это и есть живая традиция большой русской поэзии. Щемящая грусть, нарастая, примешивается к этому чувству целомудренной любви и благодарности.

Прости!
Перед твоей могилой
Я молча говорю: прости,
Что нас — мальчишек —
не хватило
В тот час, чтобы тебя спасти…

Мальчишечье «прости…» перерастает в клятву фронтовика, человека, заглянувшего смерти в глаза. О многом размышляет поэт над могилой своей ровесницы.

В. Туркин и А. Иванов в одном из авиагарнизонов

Прости, что мы глухи порою,
Прости, что слепы мы подчас
К необъявившимся героям,
Живущим среди нас.

Командированная поэтесса не заметила на стене целинной

гостиницы портрета немолодой женщины, вырастившей в годы войны шестерых эвакуированных ребят. Не заметила она и в Центральном парке имени Горького простого парня в клетчатой рубахе, одиноко катавшегося на «чертовом колесе». А ведь назавтра весь мир повторил фамилию бесстрашного космонавта. «Люди! Будьте зорче! — как бы говорит напечатанная в «Огоньке» поэма Владимира Туркина «Зоя». — Рядом с вами ходят герои».

В новой книге «Тайны снега» поэт дал этому своему лучшему произведению другое название — «Человек». Но в центре его, конечно, остался незабываемый образ Зои. И в других своих стихах Туркин обращается к личностям незаурядным, способным на подвиг во имя Родины, к натурам, духовно родственным легендарной Зое. Вот неутомимый Константин Циолковский, в своем ночном кабинете прошедший «решающую часть того пути», который мы теперь зовем дорогой в космос. Вот молодой Юрий Гагарин:

Он вровень встал с грядущим веком,
Но скорбь лишь глубже оттого,
Что до бессмертья своего
И он был смертным человеком.

Мысль Владимира Туркина всегда окрашена добрым чувством. Поэт умеет и в миниатюре «докопаться» до сути человеческого характера.

Все люди смертны.
И ни вам, ни мне,
Ни богу
Не дано такого дара,
Чтоб воскрешать.
Но я б вернул стране
И детворе Аркадия Гайдара.

За доброту, с которой он любил Сажать ребят соседских на колени И умными ладонями лепил Характеры грядущих поколений.

Сильно и точно сказано. В своей новой поэме, опубликованной недавно в «Огоньке», Туркин рассказывает о

человеке, который тоже «умными ладонями лепил характеры грядущих поколений». Это замечательная школьная учительница из Ленинграда. Чуткий и тонкий педагог, она вселила веру в мальчишку, пытавшемуся ее обмануть. На всю жизнь он запомнил этот мудрый урок и через много лет приехал в Ленинград, чтобы поблагодарить человека, привившего ему честность и благородство. Эта поэма внутренне продолжает тему «Человека». И мы невольно вспоминаем Зою.

Долг перед Зоей — это долг перед человечеством.

В КОЛЬЦЕ

Из всех книг, написанных Александром Чаковским ранее, читатели наиболее тепло приняли романтическую повесть «Свет далекой звезды», напечатанную в журнале «Октябрь». Это произведение о большой мечте, помогшей летчику Владимиру Завьялову, и расставшись с небом, не сложить крыльев. И пусть Владимир не встретил своей далекой звезды, своей Оли, «сгоревшей в огне нового пламени, которое зажгли люди для того, чтобы осветить путь к звезде», он встретил многих людей, живущих по большому счету, и сказал правду в глаза тем, кто заблуждался. «Написанная в благородно–сдержанной манере, умная эта повесть рождает добрые чувства», — отмечал тогда Михаил Алексеев.

А самого автора продолжали волновать острые вопросы, которые были затронуты в ней. Писатель, изучая архивные материалы, воспоминания многих советских и западных исторических деятелей периода второй мировой войны и лет, ей предшествовавших, встречался с современниками. Он работал над книгой о защитниках города Ленина.

Новый роман Александра Чаковского «Блокада» завладевает вниманием читателя с первых же строк. Начинается он сценой, когда два главных героя романа — майор Звягинцев и полковник Королев обсуждают в гостинице «Москва» случай, только что происшедший на военном совещании в Кремле. В президиум после выступлений маршалов и генералов подал записку двадцативосьмилетний майор Звягинцев, участник недавно закончившейся войны с белофиннами. Как требовал долг коммуниста, молодой майор честно, горячо, убедительно рассказал о трудностях, о роли подвижных саперных частей, которых было недостаточно.

Сталин, маршалы Ворошилов и Тимошенко, все участники совещания внимательно выслушали смелого, инициативного военного инженера. Таких людей, как майор Алексей Звягинцев,

породил Октябрь. Честный, бескомпромиссно строгий к себе и другим, Звягинцев меньше всего думает о собственной выгоде и всегда болеет за дело.

В советском обществе каждый человек обязан чувствовать себя ответственным за судьбу государства. Гражданская совесть и побудила выступить майора Звягинцева на совещании в Кремле. Над родиной уже клубились тучи нацистской угрозы, и из финской кампании надо было извлечь необходимые уроки. Об этом думал молодой майор, об этом думали руководители партии и правительства.

Образы советских офицеров Алексея Звягинцева и Павла Королева как бы олицетворяют в романе те замечательные, беззаветно преданные, высоко квалифицированные кадры, которые имела наша армия перед Великой Отечественной войной. И в то же время это живые люди со своими характерами, привычками, отдельными недостатками. Оба офицера приехали в Москву из окружного военного штаба города Ленина, города–символа Октябрьской революции. Ему–то и суждено было вскоре принять на себя мощные удары чудовищной военной машины гитлеровской Германии, ему–то и суждено было пережить то, что называется коротким, бесстрастным словом «блокада».

В «Блокаде» умело использованы документы и мемуары обоих лагерей. Автор берет интересные детали, факты, убедительно подтверждая ими свою концепцию, свой взгляд на события и людей. Он строит свой стремительно развивающийся роман на контрастах. Ярко нарисован вероломный, дьявольски–хитрый и изворотливый Гитлер и его окружение — главари фашистского государства: властолюбивый позер Геринг, кровавый ханжа–аскет Гиммлер и другие нацистские пауки, тайно грызущиеся меж собой за власть.

Этим зарвавшимся авантюристам противопоставлен широкий круг советских исторических деятелей. Запоминаются образы секретаря ЦК и секретаря Ленинградского обкома Жданова и маршала Ворошилова, которые возглавляли оборону города Ленина. В романе дана объективная оценка деятельности Сталина накануне и во время Великой Отечественной войны.

Рабочий Ленинград представлен в «Блокаде» братом полковника Павла Королева — Иваном, ставшим в дни войны комиссаром дивизии народного ополчения. Особенно удался автору образ военного водителя Разговорова, веселого сержанта, бесстрашного, смекалистого умельца, который погиб, спасая под минометным огнем машину майора Звягинцева. Хотя и немного места уделил писатель образу Васи Разговорова, но мы его любим, видим, воспринимаем как живого. Более того: образ этот

вырастает до большого обобщения. Вот он — трудолюбивый, храбрый, находчивый русский народ на войне.

Своеобразно нарисован маститый архитектор Федор Балицкий, человек сложный, упрямый, беззаветно преданный искусству и в то же время избалованный громкой славой. Но сердцевина, как говорится, у него здоровая. Война, тяжелые испытания, выпавшие на долю ленинградцев, помогают крупному художнику очиститься от честолюбия, от «шелухи». В лихую годину он идет добровольцем в ополчение, возводит под Ленинградом оборонительные рубежи.

Но то, что для отца было наносным, проникло в душу студента Анатолия Балицкого, разъело ее чрезмерным честолюбием, эгоцентризмом, и она не выдержала суровой проверки, испытания на прочность. Анатолий предал и родину, и любимую девушку Веру, дочь Ивана Королева. Впрочем, молодой Балицкий уверяет и себя и других, в том, что он это сделал во имя ответственного государственного задания. Анатолий и в самом деле уцепился, как утопающий за соломинку, за важное поручение погибшего от его же руки чекиста: передать в Ленинград зашифрованное сообщение.

Более «литературным», чем другие, получился в романе образ ленинградской студентки Веры Ковалевой, в которую влюблен майор Звягинцев, но которая любит Анатолия Балицкого, любит даже после того, как он ее бросил на поругание гитлеровцам. Конечно, у Веры есть этому «романтические оправдания»: «герой» Александра Чаковского ловко маскируется. И все же любовь Веры психологически не мотивируется. Тем более что и сцена случайной встречи в прифронтовом лесу возвращающейся из вражеского тыла Веры и тяжелораненого Алексея Звягинцева написаны бледнее многих других сцен. Уж слишком суха Вера к Алексею, когда узнает, что Анатолий жив. Очевидно, чувства ее были гораздо сложнее.

Роман Александра Чаковского еще далеко не завершен. Написаны только первые книги. Собственно, и главное событие, осветившее прифронтовой Ленинград своим героическим и трагическим светом, — блокада, которая и дала имя этому произведению, еще впереди. Еще неизвестно, как сложатся судьбы главных героев — майора Алексея Звягинцева, братьев Павла и Ивана Королевых, Веры, политрука Пастухова, полковника Чорохова, архитектора Балицкого и его сына–шкурника, вынужденного отправиться на фронт.

В конце второй части романа в Смольный на заседание военного фронта приезжает генерал армии Жуков, назначенный командующим фронтом вместо маршала Ворошилова,

отозванного в Ставку. Нацистские войска, подхлестываемые приказами разъяренного фюрера, продолжают рваться к великому городу, за который грудью встали советские солдаты и ленинградские рабочие. Момент напряженный. Кто кого?.. Читатель ждет продолжения этого публицистически острого романа.

СТАТЬ БЕРЕЗОЙ

«Зрелость» — так когда–то Гарольд Регистан назвал одну из своих поэтических книг. Но, пожалуй, еще больше это название подходит для его новой книги. Зрелость, сердечность, наступательная гражданственность — вот качества, которые определяют этот тонкий, но емкий сборник.

«Пишу — как будто бы дышу», — признается Гарольд Регистан. Точнее не скажешь. Простота и музыкальность присущи почти всем стихам и поэмам книги, названной образно, крылато: «Стать березой». И любовь к России, и светлая грусть, и непоказное мужество скрыты за этим названием, которое автор дал и поэме, вошедшей в сборник. Она, пожалуй, самая большая удача поэта. Это сплав лирики и публицистики, это честный разговор о месте человека в жизни, о том, что он оставляет людям на земле, это страстный спор с символическим «черным человеком», олицетворяющим смерть.

А что если и вправду лирическому герою не одолеть проклятой болезни? Что если ему суждено скоро уйти? Большой любовью к жизни пронизаны строки, посвященные родной природе, солнечным елям, иволгам в саду, вспыхнувшей песне соловья.

И пойду я предрассветным лугом,
Обжигая ноги о росу…
Ночь еще клубится над округой,
Но светло в березовом лесу.

Поэт сливается душой не только с родимой природой, но и со всей страной. Он чувствует: за стеной, «как вулканы, домны пожирают мрак ночной», чувствует могучее дыхание двух океанов. И в то же время ощущает, «как в ладони замирает сердце у цветка». Интересно противопоставление маленькой зорянки голосистому соловью:

Но поет он только для подруги,
Чтоб она к другому не ушла.
А зорянка,
Как горнист побудку,
Над лесными далями трубит
И, о солнце опаляя грудку,
Сонное светило теребит.

Так утренняя пташка становится символом отзывчивости, бескорыстия, самоотдачи, очень близким самому лирическому герою. Впечатляющ разговор героя со Временем суровым и справедливым. И нам передается состояние взволнованного героя:

Я ему и внемлю и не внемлю.
Обо мне он и не обо мне:
— Не страшись.
Ложись в родную землю, —
И березкой встанешь по весне.

«Стать березой!» — это значит слиться со своим народом, который бессмертен.

Оглянись —
От Пскова до Камчатки
Сколько тех берез.
Им нет числа!..
Это все — солдаты и солдатки.
Их война недавно унесла.

С большой теплотой говорит лирический герой о сыне, который «любит надевать мои медали», «любит лес и больше всех березы». Да, из мальчишки должен вырасти боец–гуманист. Таково страстное желание отца. А это значит, что идеалы отца не умрут и будут передаваться из поколения в поколение.

Лирические стихи, вошедшие в эту книгу, органично дополняют поэму «Стать березой». Это душевные строки о русской природе, о любви, о борьбе, о поэзии, о приветливой земле братьев–славян. Подкупающая искренность — вот что отличает лучшие стихи этой книги. Поэт не таит своих сомнений, колебаний, раздумий, жизненных тревог.

Я прошел
Весенний путь и летний.
Воевал, любил, сажал сады…
Молодой, седой, сорокалетний,
Не пора ли собирать плоды?!

За плечами Гарольда Регистана — памятные нелегкие годы военных испытаний. Они накладывают свой свет на всю книгу, являющуюся своеобразной исповедью солдата. Такова же и поэма «Продолженье мое», посвященная сыну. В трудную для себя минуту лирический герой, не таясь, рассказывает сыну о себе и о своем суровом времени. Он отнюдь не преуменьшает драматизм своего положения после разрыва с любимой.

Закурю–ка папиросу.
Пуст мой дом.
В нем только тени.
Тени счастья.
Тени смеха.
Тени, горькие, как травы,
Но ведь я —
Не для успеха.
Но ведь я —
Не ради славы.
Я не мог, сыпок, иначе.
Есть такое слово:
Надо!

Да, есть такое солдатское слово: «Надо!» Оно помогло на ржаном русском поле выстоять двенадцати нашим солдатам с двумя маленькими противотанковыми пушками. Они все, кроме лирического героя, погибли, но не пропустили фашистские танки.

Особенно впечатляюща сцена их поединка со стальными чудовищами. Автор рисует портреты своих бесстрашных друзей, называет их имена и фамилии, что придает удивительную достоверность его волнующему повествованию.

Мы ясно видим развороченную пушку, видим, как «рядом с нею без подушек Федин, Ткач и Дудин спали», видим два костра «посреди ржаного поля», видим последнюю улыбку хмурого помкомвзвода Коли Балина, веснушки веселого Чижика, ставшие из рыжих серыми, осколок, сразивший запевалу. И нам передается состояние лирического героя.

Было жарко…
А по травам
Словно красный дождь прокрапал…
И, давясь комком шершавым,
Твой отец стоял и плакал.
Плакал с выкриком и дрожью,
Плакал скупо и бессильно
Над цветущей теплой рожью
Посреди родной России…

Герой поэмы «Продолженье мое» свято хранит в сердце память о погибших друзьях.

Он, рассказывающий сыну сказку–быль о солдате, ездил «не в Рим на форум и не на Каннский фестиваль», а в эту глушь, в село Подгоры, в распухшую от грязи даль, где председателем колхоза Сергей Амосов, внук погибшего однополчанина–ездового. Так фронтовая дружба пустила надежные ростки.

О поэме, давшей название всей книге, лаконично и метко сказал автору Николай Грибачев: «…Суть: остро, тонко и безошибочно по эмоциям, по–современному полемично, верно определено направление атаки; зрело по художественному письму, по уровню мастерства. С моей точки зрения — это новая орбита для тебя и, несомненно, существенный шаг для нашей поэзии вообще, которую заедают тепловатые, как пойло, лиродекламации и анемичные чувства. Рад за тебя. Так держать. Только, хоть это и поэтично, в березы нам превращаться рано, а?..»

В книге «Стать березой» много раздумий, сомнений и тревог вчерашнего солдата. Ее хочется читать и перечитывать.

СТАЛЬНАЯ ДУГА

Я никогда не видел Анатолия Ананьева. О его романе мне с увлечением рассказал друг:

— Прочти! Обязательно прочти!

— «Танки идут ромбом»? — недоверчиво переспросил я. — Заголовок для газетного очерка.

Автор этого небольшого романа и в самом деле был газетчиком. А еще раньше — студентом, а еще раньше — солдатом. Мне было совсем небезразлично читать в краткой аннотации к книге, выпущенной Воениздатом, что мой ровесник воевал под Белгородом, на стальной Курской дуге. Писатель рассказывает «о том, что он видел и пережил на восемнадцатом году…»

Читал я эту книгу с увлечением, очевидно, как многие. С первых строк о предгрозовой тишине в безлюдной, полуразрушенной деревушке мне представилась выжженная древняя русская степь, по которой скакали ее защитники, герои «Слова о полку Игореве». Теперь иная беда нависла над этой многострадальной степью.

Автор романа видит далеко. Из солдатского окопа он разглядел в чужедальней Атлантике военный корабль, па котором в мягкой каюте, озабоченный больше собственной безопасностью, чем открытием второго фронта, Уинстон Черчилль отправился в Вашингтон. А здесь, на Курской дуге, гитлеровцы лихорадочно сколачивали мощный танковый кулак из хваленых «тигров» и «пантер».

Но покуда у солдатских траншей «стрекот кузнечиков, шелест подсыхающей травы, иногда приглушенный, иногда острый и звонкий — трущиеся листочки пырея, как скрещенные клинки, — и небо над головой, высокое, безоблачное, всегда вызывающее ощущение вечности; и еще — нестареющая память, уводящая в прошлое, к родным местам, к теплу, уюту, та самая солдатская память, остужающая в зной, согревающая в стужу, без которой, как без винтовки, как без шинели, нет бойца…»

Герои романа лейтенант Володин, капитан Пашенцев, разведчики Царев и Саввушкин, подполковник–артиллерист Табола очень разные люди, одинаково беззаветно преданные Родине. Они много думают, остро чувствуют. За этими людьми встает целая эпоха великих свершений и трагических событий.

Подполковник Табола, бывший комсомолец, строитель новой жизни на Сахалине, размышляет о «гуманизме» мещанском, беспринципном и гуманизме революционном. Молодой Табола отрубил кисть руки дезертиру, мечтавшему, чтобы ему отрубили

два пальца, — хотел вернуться на Большую землю.

«Грядет мировая революция! Рука, которая не хочет работать, пусть и не загребает чужие плоды!» — думал тогда бескомпромиссный Табола, а потом его стало мучить сомнение, не поступил ли он жестоко. Но вот сбежал еще один трус, оставив на нарах комсомольский билет и записку: «Живите сами для будущего, а я хочу жить сейчас!» Группа комсомольцев, ушедшая в пургу на поиски беглеца, замерзла в тайге. А дезертир остался жив: он с рюкзаком, набитым продуктами и одеялом, отсиживался в заброшенной землянке. Так что же жестоко и что гуманно? Позднее подполковник Табола будет с горечью говорить: «Трусость всегда окупается чьим–либо несчастьем или чьей–либо смертью».

Так случилось и на фронте, когда из–за трусости одного майора Гривы, карьериста и шкурника, погиб целый орудийный расчет, открывший раньше времени огонь по фашистскому танку. Правдиво рассказывает писатель, какой нелегкой ценой далась нам победа на Курской дуге. Погибли разведчики Царев и Саввушкин, погибли многие боевые товарищи лейтенанта Володина, погибла его любимая — регулировщица Людмила Морозова, которой он так и не успел объясниться в любви. Все они жили для будущего и умирали во имя его.

«Танки идут ромбом», как и «Вторжение» Василия Соколова, озаряют истоки мужества наших солдат.

ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ

С Виктором Тельпуговым я познакомился много лет назад, когда он работал в редакции «Комсомольской правды». Я привез ему «Повесть о Гуре и друге его комендоре» Бориса Котлярова, на мой взгляд, очень сильную поэму о защитниках Севастополя.

— Вот и напишите о ней для нас! — обрадовался Тельпугов. Запомнились его отзывчивость и заинтересованность. Уехав па юг в отпуск, он не забыл мне оттуда написать, что рецензия набрана и обязательно пойдет.

О поэме Бориса Котлярова очень высоко отзывался Николай Ушаков. В то время я еще не знал, что Тельпугов пишет книгу о стихах Ушакова. Вот как своеобразно переплелись наши симпатии в поэзии.

Не раз приходилось мне встречаться с Николаем Ушаковым. Однажды, разговорившись, мы установили, что оба начали печататься в журнале «Красноармеец», только Николай Николаевич на 20 лет раньше. Запомнились многие стихи этого мастера, и я с удовольствием потом раскрыл тельпуговскую книгу

о нем.

Нельзя войти в творческую лабораторию самобытного поэта, не любя его стихов. Эта, казалось бы, общеизвестная истина забывается, увы, не так уж редко. Книгу Виктора Тельпугова о творчестве поэта Николая Ушакова, вышедшую в издательстве «Советский писатель», отличает бескорыстная и строгая любовь к поэзии. Она помогает автору глубже разобраться в сложном пути одного из ветеранов советской поэзии, проследить, как поэт, преодолев ветрянку формализма, рос — от книги к книге, стремился войти в круг насущных интересов народа.

Автор подмечает умение Н. Ушакова в малом видеть большое, глубоко осмысливать явления жизни по точным деталям, черточкам, на первый взгляд, мало приметным и незначительным. Вот один из принципов этого зрелого мастера стиха: «Покажите поэту малое семечко, назовите незначительную подробность — и плох будет он, если не восстановит все море ивняка, если не вырастит дерево, рощу, лесной массив».

Нельзя не согласиться с автором книги в том, что некоторые литераторы вольно или невольно суживают роль и значение творчества Н. Ушакова. Он не только певец индустриальной темы, содружества техники и природы, но и нового человека с его сложным внутренним миром, с его трудом и мечтой, разумом и чувством.

Когда–то в предисловии к первой книжке Н. Ушакова «Весна Республики» Николай Асеев хорошо сказал, что стихи Ушакова — движение живой и поющей, победоносной и торжествующей человеческой мысли.

Мир незакончен
и неточен —
поставь его на пьедестал
и надавай ему пощечин,
чтоб он из глины
мыслью стал.

Емкость образов, афористичность, любовь к чеканным, звонким рифмам и ударным концовкам — вот, по мнению автора книги, основные особенности поэзии Н. Ушакова. Недаром еще в начале пути, назвав себя «писателем терпеливым», поэт восклицал: «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь». Эту истину неплохо усвоить бы иным нетерпеливым молодым поэтам.

Не замалчивая отдельные недостатки стихов зрелого поэта, который своими злейшими врагами объявил красивость, банальность, абстрактность, Тельпугов справедливо критикует лирическую повесть «В Царицын, в Царицын!» и стихотворение «Четверка», написанные ниже возможностей Н. Ушакова. Но не эти вещи определяют творческое лицо поэта, находящегося сейчас в расцвете сил. Для новых тем он ищет свежие образы. Виктор Тельпугов как бы заново открыл хорошо известного нам поэта.

Интересна дальнейшая судьба самого критика. В юности он писал стихи, и вот лет двенадцать назад мы стали встречать тельпуговские рассказы, очень похожие на стихотворения в прозе. Написаны они были с той же взыскательностью, с какой была им создана книга о Николае Ушакове. Мне кажется, что анализ творчества одного из интереснейших и требовательнейших к себе наших лириков дал такой неожиданный результат. Во всяком случае, Тельпугов прошел замечательную школу.

Помнится, он попросил меня написать стихи для его «Солдатской ложки», якобы сочиненные; героем рассказа. Кстати, этот герой был моим тезкой и однофамильцем. Когда рассказ Виктора Тельпугова был напечатай в «Известиях», к нам подошел профессор Валерий Друзин:

— Что же вы молчали? Оказывается, вы вместе воевали? Однополчане?

Виктор Петрович сказал профессору что–то о типизации в действии. А потом выяснилось, что мы и в самом деле служили в одном роде войск: были воздушными десантниками, о нелегких путях которых нам обоим предстояло рассказать.

Конечно, у Виктора Тельпугова, как у любого писателя, есть более удачные вещи и есть менее удачные. Есть новеллы–зарисовки и есть новеллы с большими обобщениями. В лучших тельпуговских рассказах проявилось то качество, которому он упорно учился у Николая Ушакова, — взыскательность. О чем бы новеллист ни писал — о современной Москве или Бородинском поле, о молодых целинниках или героях Отечественной войны, — он старается создать живые, яркие и лаконичные образы. Вот письмо Тельиугову старейшины литературного цеха Константина Федина: «Поздравляю Вас с книгой, отлично названной по рассказу, прелестно написанному, — «Азбука Морзе». Высоко оценил поэтичность лучших тельпуговских новелл и друг Аркадия Гайдара, мастер лирической прозы Рувим Фраерман, чьей повестью «Дикая собака Динго» мы зачитывались в юности.

Рассказы Виктора Тельпугова часто встречаются на страницах газет и журналов, звучат по радио и со сцены.

— Особенно мне дорого мнение моих однополчан и

однокурсников. Среди них был и Алеша Недогонов, который никогда не узнает, что я стал новеллистом, и Саша Макаров, сказавший о моих поисках доброе слово в «Известиях», — делится со мной Виктор Петрович.

Я беру с полки огоньковскую книжку Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом», читаю надпись: «Милому давнему другу Витьке Тельпугову в знак самой правильной дружбы…» Шутливый тон, глубокий смысл. Да, дружба должна быть и правильной.

На столе у хозяина кабинета лежат книги о Швейцарии, даже карта этой далекой горной страны. Зачем? Ровесник Октября, автор многих новелл о Ленине решил написать цикл новелл о Владимире Ильиче в Швейцарии. Таков долг коммуниста и бойца.

РОЖДЕНИЕ ГЕРОИКИ

Сергей Борзенко и Семен Борзунов, украинец и русский, в годы войны они служили в редакции газеты «За честь Родины». Не забуду, как на исхудалом лице больного Борзенко появлялась добрая улыбка, когда он мне рассказывал о своем фронтовом товарище.

— Я видел его в боях под Житомиром, Львовом… Под огнем он форсировал Вислу, Одер, Нейсе, участвовал в битве за Берлин, освобождал Прагу. В какие бы переплеты ни попадал — всегда владел собой, частенько шутил. И под бомбежкой перо его не дрожало. До сих пор помню великолепную серию очерков Борзунова, написанных в рейде с танкистами генерала Рыбалко. Они не только украсили нашу газету, но и послужили заманчивым материалом для спецкоров центральных газет. Леонид Леонов, автор одной из лучших повестей о войне — «Взятие Великошумска», тепло отзывался о творчестве Семена Борзунова. Впрочем, более подробно обо всем этом я написал в предисловии к борзуновской книге «Ради нескольких строчек». Слышал? Семену за нее присуждена премия имени Дмитрия Фурманова…

Я не только слышал об этом, но и читал книгу Семена Борзунова «Ради нескольких строчек», книгу волнующую, патриотическую. В маленькой повести о большом подвиге «С пером и автоматом» автор рассказывает о замечательной жизни своего боевого друга Героя Советского Союза Якова Чапичева, поэта и журналиста. В начале Отечественной войны Яков Чапичев сражался на Волховском фронте, а погиб в дальнем Бреслау. Гитлеровцы укрепили квартал, как крепость. Наши солдаты не могли никак его взять.

— Орлы, за нами! — крикнул майор Чапичев и бросился с бесстрашным разведчиком ’к большому дому. Они забросали гитлеровцев гранатами. За ними поднялась вся рота. В подвале загремели гранаты. Чапичев и его друг–разведчик в рукопашной закололи шестерых врагов. Но тут фашистская пуля сразила политработника–поэта…

«Быть честным и храбрым Советским Героем я Родине клятву даю!» — писал в юношеских стихах Яков Чапичев. Родина посмертно присвоила ему звание Героя Советского Союза. Когда–то в честь легендарной Ибаррури он дал своей дочурке имя Долорес, а на фронте писал:

Когда приходят сумерки в бою
И мы лежим в землянке у печурки,
Я вижу Долоресочку свою,
Родную непослушную дочурку.

Чапичев считал, что его дочь и жена погибли. Они нашлись, когда его не стало. Семен Борзунов встречался с Екатериной Абрамовной и Долорес Чапичевыми, приезжавшими в Москву из Одессы. Они благодарили полковника Борзунова за очерк «Три встречи», опубликованный в «Красной звезде», а он рассказал жене и дочери погибшего фронтового друга новые волнующие подробности об их Якове. В польском городе Врацлав, выросшем на развалинах Бреслау, есть пионерский отряд имени Героя Советского Союза Якова Чапичева.

В новелле «На главном рубеже» Семен Борзунов повествует о тех, кто отдал жизнь за Советскую Родину — донецком поэте Герое Советского Союза Борисе Котове, писателях Владимире Ставском и Евгении Петрове, белорусском литераторе Алесе Жавруке и сыне ленинского наркома Анатолии Луначарском, погибшем в яростных боях знаменитого Новороссийского десанта.

М. Геттуев, трижды Герой Советского Союза генерал И. Кожедуб, генерал А. Копытин и В. Федоров на встрече в московском школьном музее имени Р. Зорге

В документальной повести в новеллах «Журналисты» Борзунов рассказывает, как некоторые военные журналисты выросли в известных писателей. Он вспоминает съезд писателей России, выступление Леонида Соболева, отметившего удачи военных писателей, Каждому из них автор документальной повести посвящает отдельную новеллу. Мы узнаем, как сражался Николай Камбулов, как освобождал Севастополь, как все послевоенные годы был тесно связан с армией, написал ряд книг, в том числе и роман «Ракетный гром».

Яркая новелла посвящена Анатолию Марченко, ставшему в первый год войны командиром орудия. Большой и тяжелый путь пролег от его ранних стихов до первой повести «Юность уходит в бой». Затем последовали другие книги, посвященные фронтовикам и пограничникам. Увлекательно рассказывает Борзунов о связи Николая Горбачева с однополчанами, с которыми он прошел по фронтовым дорогам. Затем Горбачев окончил военную академию и служил в ракетных войсках. Его повести «Ракеты и подснежники», «Звездное тяготение» вызвали теплые отклики читателей и печати.

Мне довелось слушать выступление Николая Горбачева перед читателями. Он говорил о резком скачке в оснащении современной Советской Армии:

— Да, иное, чем прежде, «ружье» — ракетное, иным стал и

сам человек в шинели — ученый, инженер, техник, оператор, — выросший, обогащенный духовно.

Расширяя рамки борзуновской книги, хочу сказать и о романе Горбачева «Дайте точку опоры», изобразившем коренные изменения, которые произошли в нашей армии за последние полтора десятка лет. Родились новые герои, совместившие в себе храброе сердце воина с пытливым разумом научных работников.

Разве не таковы любимцы нашего народа — космонавты? Когда мне пришлось быть в Звездном городке, я услышал там дружеские слова о книге Геннадия Семенихина «Космонавты живут на земле». Космические первопроходцы считают Семенихина своим другом, ибо писатель не только вник в их очень своеобразную жизнь, труд и учебу, но и сумел схватить и обобщить их характеры, заглянуть в их мечты. И при всем этом космонавты Семенихина очень «земные» люди.

Люди современной армии и науки в центре внимания военного писателя Владимира Жукова. За его плечами жизнь, полная манящей романтики. Юнгой ходил он в дальние морские походы, потом учился в военно–инженерной академии имени Н. Е. Жуковского и в то же время я видел его на творческих семинарах в Литинституте. Жуков написал повести «Ракеты смотрят в зенит», «Второе рождение» и сборник «Ветер», в которых отражен нынешний день Советской Армии.

В его романе «Земная тревога» ярко вылеплены характеры наших офицеров–современников, которые проходят духовную проверку при трудном, рискованном эксперименте. Проверяются не только деловые качества людей, но их взгляды на жизнь, дружбу, любовь. Славя скромных людей большого подвига, Владимир Жуков развенчивает мнимую героику, за которой скрывается большое самомнение, эгоцентризм, равнодушие к окружающим людям. Хорошо, что в лучших книгах о людях Советской Армии их авторы много говорят о духовной жизни своих героев, ставят сложные моральные проблемы.

Интересно отметить, что не только нынешняя армейская жизнь, но и героика гражданской и Отечественной войн привлекает относительно молодых писателей. Я давно знал Георгия Свиридова как поэта. Потом появилась его повесть о подвиге советского боксера Бурзенко в фашистском концлагере — «Ринг за колючей проволокой». Этой повести предшествовала поэма «Их было одиннадцать» о небывалом матче в оккупированном Кпеве. Ценою жизни одиннадцать советских патриотов выиграли футбольный матч у гитлеровцев, вселили в киевлян веру в предстоящую победу Советской Армии.

И вот роман «Дерзкий рейд (по заданию Ленина)». Образ

Владимира Ильича дан в одном эпизоде, но выразительно. С вождем встречаются командир специального отряда казах Джангильдинов и московский рабочий комиссар отряда Колотубин. Отряду предстоит Поход в Среднюю Азию, через степи и пустыни: надо доставить осажденным товарищам боеприпасы, оружие и деньги. Это поможет им прорвать блокаду.

Автору удались образы его главных героев. В Средней Азии протекали детство и юность писателя. Он хорошо изучил природу и местные обычаи. К этому прибавился опыт военного журналиста, служившего в Средней Азии. Свиридов ярко рисует не только восточный пейзаж, но и переживания своих геров. Несколькими фразами он может передать и местный колорит, и характеры бедняков, к которым спешили посланцы революции. Сцены, изображающие трудный поход ленинских солдат, полны внутреннего порыва, революционной романтики. Однако в романе встречаются и явно растянутые эпизоды.

В Литературном институте имени Горького я познакомился с военным поэтом и прозаиком Анатолием Землянским, которому Семен Борзунов в своей повести в новеллах «Журналисты» посвятил отдельную новеллу, где рассказывается о суровой юности брянского парня, его творческих поисках. Человек, имевший высшее военное образование, постучался в двери Литинститута. Добрую роль в его жизни сыграл Василий Федоров, поддержавший его поэму «Искры из кремня». Опытный поэт сделал пометки на полях, помог доработать поэму и опубликовать ее в журнале «Молодая гвардия». Помнится, и мне довелось рецензировать поэтическую рукопись Анатолия Землянского. Книга вышла интересной.

В творчестве Землянского лирик дополняет эпика. Вот его «Поэма о земном». Любовь ветерана Степана, вернувшегося с большой войны израненным, и его жены, скромной подруги–труженицы Аннушки освещена ярким солнечным светом, овеяна дыханием русской природы. Особенно запоминается их первая встреча после многолетней разлуки, поэтическая и целомудренная…

Воину Степану не довелось увидеть своего первенца: смельчак–фронтовик погиб, спасая чужих детей от найденной ими фашистской мины. Грусть Аннушки в финале оттеняет и усиливает жизнеутверждающее начало поэмы. Это по–настоящему гуманная вещь. Она сюжетно сбита, стройна, лирична. Книга поэм «Мелодии века» свидетельствует о творческом росте поэта. В этих поэмах рассказывается о пути нашего народа от подвигов в революции до подвигов в космосе. «Если в прозе Анатолий Землянский предпочитает психологизм, то в поэзии он клонится

к лирико–философским размышлениям», — пишет Семен Борзунов. И тут надо вспомнить добром поэтическую школу, которую поэт прошел у Василия Федорова.

Что же касается прозы самого Борзунова, то меня порадовала недавно его небольшая повесть «Не первая атака», опубликованная в «Огоньке». Сразу бросились в глаза точные психологические детали. Раненому бойцу Чолпокаю, глядящему на меловые отроги, представляются снежные горы Тянь–Шаня. Ему чудится, что на плече у него подбитый умирающий сокол. Он цепляется за плечо. Поэтому так больно…

Как назвать эту повесть, где со скрупулезной точностью нарисована атака и в то же время показаны душевные переживания бойца, — документальной или художественной? В том–то и дело, что она одновременно и документальная и художественная, как целый ряд книг военных писателей.

ОТ ЯРОСЛАВЛЯ ДО АСТРАХАНИ

Некрасовская земля. Древний город, где над матушкой-Волгой под зеленый шум застыл в раздумье поэт, вылитый из бронзы. «Отпаянный коммунист» — назвал ярославский поэт Иван Смирнов стихотворение, посвященное своему великому земляку и опубликованное недавно в журнале «Наш современник»:

Булгарин, доносчик отпетый,
Средь прочих фискалов «министр»,
Писал о Некрасове:
«Это —
Отчаянный коммунист!..»
Поэт не имел партбилета,
Как я — с девятнадцати лет,
Но я утверждаю, что это
И вправду партийный поэт!

Надо сказать, что бывшие воины Иван Смирнов и Евгений Савинов, творчество которых я хорошо узнал на Высших литературных курсах, Михаил Глазков и Александр Иванов свято берегут «партийные традиции» великого земляка. У меня в руках новая книга стихов «Берегите любовь» А. Иванова, поэта и журналиста. Его я повстречал на берегу матушки-Волги, ширь и

плавность которой ощущается во многих ивановских стихах. От его книги веет большой и сложной жизнью.

«Любят ли в Ярославле поэзию?» — на эту тему в городе был проведен вечер. И оказалось: любят! Слушатели горячо благодарили хороших и разных поэтов — Николая Якушева, Ивана Смирнова, Евгения Савинова, Александра Иванова за прочитанные стихи. Верно сказал Якушев:

А песня явилась потом
Наградою за работу.

Дни поэзии проводятся и в некрасовской Карабихе, которая похорошела, обновилась к недавнему юбилею великого поэта. Сюда часто приезжают московские поэты. А Сергея Смирнова и Алексея Суркова ярославцы считают своими. Земляки…

Недавно я обрадовался, увидев на экране телевизора своего однокурсника Евгения Савинова, читавшего в первомайский праздник стихи с Красной площади. Прихожу в Союз писателей Российской Федерации, а там собираются обсуждать новую книгу этого ярославского лирика. Его дарование окрепло за эти годы.

«Горькая нежность» — так Савинов назвал свой однотомник избранных стихов, вышедший на родине. Метко сказал о нем Л. Озеров: «Открываю книгу, читаю стихи Евгения Савинова. Одни сразу ложатся на душу, другие останавливают на себе внимание построчно, мимо третьих и вовсе пройдешь… Но вот что важно.

Чем дальше заходишь в его книгу, чем глубже знакомишься с его стихами — более удачными и менее удачными, — видишь, что перед тобой певец со своей песней… Перед тобой коренной житель земли ярославской, волгарь. Эти рассветы, эти закаты, эти родники, эти перелески, эти буксиры, эти дожди, эти бочажки, эти туманы — сплошь и до конца ярославские».

Автор предисловия к савиновской книжке вспоминает о нашем поэтическом семинаре: «Это были, со слов самого Евгения Савинова, самые счастливые годы его жизни… Споры способствовали выяснению истины. Многое почерпнул на семинарских занятиях Александра Николаевича Макарова — страстного любителя и знатока поэзии, ныне покойного. А. Н. Макаров щедро открывал «семинаристам» свои кладовые, и тот, кто не ленился, мог жадно брать оттуда незримые, но весомые сокровища…»

Вот лирическое стихотворение Евгения Савинова, посвященное Виктору Тельпугову:

Весна. Иду проселком дымным.
Белеет облако над ним.
И тишина, как после гимна,
Когда без шапок мы стоим…
И легче по земле шагаешь,
Кивают встречные: привет!
И ничего, что их не знаешь, —
Чужих у нас в округе нет.
И, торопясь на ранний поезд,
Отрадно людям отвечать…
Как будто кланяешься в пояс
Самой России:
— Здравствуй, мать!

С поэтом Михаилом Глазковым мы — однополчане, вместе служили в парашютно–десантных войсках. Он пришел в армию накануне моей демобилизации. Мы, фронтовики, передали наши автоматы и стропы парашютов в надежные руки. Окончив учбат, Глазков командовал орудийным расчетом в истребительно–противотанковом дивизионе, где когда–то воевал я.

Шли годы. Редактор дивизионной газеты «Советский воин», ныне военный писатель Виктор Александров, прислал мне газету с циклом солдатских стихов Михаила Глазкова, который к тому времени и в прямом и переносном смысле стал на мое место, работал литературным сотрудником «дивизионки».

Демобилизовавшись из армии, Глазков стал слесарем–монтажником, машинистом паровых турбин, затем перешел в районную газету. Потом он, собкор «Северного рабочего», колесил по самым отдаленным уголкам Ярославской области. Теперь мой однополчанин в Ярославле, но журналистской работы не оставил. Его стихи я встречал в «Правде», «Крокодиле», «Звезде», «Волге», «Урале»… Вышла первая книжка лирики «Раздумье», потом книга литературных пародий «Даешь Парнас!»

Глазковские пародии своеобразны, их не спутаешь с пародиями других поэтов. Метко схватывая творческую манеру пародируемого, Глазков остается Глазковым со своей неизменной усмешкой.

После этой книжки у Михаила Глазкова, чьи талантливые пародии полюбились читателю, вышли еще два сатирических сборника — «Пегасовы усмешки» и «Дуплет солью». В лучших своих стихах и пародиях Михаил Глазков, не растеряв

своеобразия, успешно учится у наших поэтических снайперов — Сергея Смирнова и Сергея Васильева. Я рад, что мой однополчанин по–прежнему в боевом строю — в боевом поэтическом походе. Некрасовская земля щедро родит новых лириков и сатириков.

Течет Волга… И журнал с ее именем объединяет многих поэтов, живущих на берегах великой реки. Калинин дал Александра Гевелинга и Андрея Дементьева, которые мне памятны еще по Литинституту, Горький — Михаила Шестерикова и Владимира Автономова, Ульяновск — Николая Краснова и Николая Благова, Саратов — Василия Шабанова, Куйбышев — Николая Рубцова, в Волгограде работают талантливые лирики Маргарита Агашина и Федор Сухов, тоже памятные мне по Литинституту.

Открываю том «Священная война… (стихи о Великой Отечественной войне)», изданные «Художественной литературой», читаю фронтовое стихотворение Федора Сухова.

На трудном пути каменистом
Смотрел я вперед, а не вниз, —
И стал потому коммунистом,
Что вел меня в бой коммунист.

В той же книге напечатано и два стихотворения ныне покойного Бориса Шаховского, которого я хорошо знал. Это был поэт–боец, человек корчагинской закалки, упорно боровшийся с неизлечимым недугом сердца, наследием фронтовых лет. Поэту принадлежат замечательные строки, в которых обобщен опыт поколения победителей:

Огонь сжигает трусов, а бесстрашных
Переплавляет в бронзу на века.

Незабываемо стихотворение «Карандаш на полу», посвященное Семену Гудзенко.

Умирает поэт.
А больничные стенки

Так чисты и белы,
Даже больно смотреть…
Смерть, уйди, не мешай!
Это воин Гудзенко,
Он не может,
Не кончив стиха, умереть.

В этом стихотворении большая сила обобщения: в нем видится не только Семен Гудзенко, но и сам Борис Шаховский и другие воины–фронтовики, ушедшие от нас. А вот его коротенькое, но очень емкое стихотворение «Сто шагов».

На высотке село. Вот бы в нем
Отогреться и выспаться сладко!
Но к нему сто шагов под огнем
И одна рукопашная схватка!

Всю жизнь Борис Шаховский ходил в рукопашную: на врагов, на лютую болезнь. Из Москвы в последние годы он уехал в родную Астрахань, где легче билось его измученное сердце, написал много хороших стихов о своих земляках и умер, как солдат. «Художественная литература» издала посмертную книгу Бориса Шаховского «Стихи о нашей любви». Сердечное предисловие написал Михаил Луконин: «Двадцатилетним парнем Борис ушел на войну добровольцем. На войне вырос от командира танка до начальника штаба танкового батальона. Я представляю себе этот рост в вихре металла и огня в Сталинграде и на Днепре… И вся эта жизнь — подвиг. Редко–редко отпускала его болезнь. Он поднимался на ноги, и мы видели его — высокого и доброго человека… Борис Шаховский — настоящий поэт».

Б. Шаховский среди астраханских рыбаков

Проникновенное стихотворение «Памяти друга» написал его земляк Николай Поливин.

Инвалидность встает
жутким пугалом, грязным и рваным,
От нее не ускачешь знакомой спортивной тропой
Кто похлипче, другой —
разрешил бы все беды наганом.
Ну, а ты бьешь по недругам яркой партийной строфой!..

Николай Поливин, который в то время был секретарем Астраханского отделения Союза писателей, рассказывал мне, как одно время Борис Шаховский, почувствовав себя лучше после операции на сердце, стал инициатором поездки к астраханским рыбакам, в низовье Волги. С поэтами на двух баркасах поехали местные композиторы Анатолий Гладченко и Александр Фролов, написавшие много песен на стихи Бориса Шаховского, и участники художественной самодеятельности. Особенно тепло рыбаки принимали песню на слова Шаховского «Опять вернутся журавли» и страстные, бойцовские стихи.

О том, как рыбаки принимали его, Николая Поливина, он, конечно, умолчал. Но судя по его книге «Ладони моря», вышедшей в издательстве «Советская Россия», земляки должны

были остаться довольны. Поэту–лирику удалось передать своеобразие родного края и его людей.

Революционную историю Николай Поливин знает не только из книг, но и из семейных преданий. Вот портрет отца поэта:

Бескозырка чуть изломана,
Палец ловит сталь курка…
Средь неистового гомона
Улыбается слегка.

Удался поэту и романтический, яркий образ народного заступника Степана Разина, о котором до сих пор ходят замечательные легенды в астраханских краях. Гул колоколов и зарево пожаров слышится и видится в стихах, полных захватывающей экспрессии. Умело пользуется Николай Поливин и звукописью.

Ножи в ножны уже не влазят,
Еще ударь,
еще ударь!..
Два слова сшиблись насмерть —
И — государь,
Разин
и — государь.
Они вливают ярость в руки,
Булата сверк,
булата сверк…
Восстанья ветер гонит струги
то вниз,
то вверх,
то вниз,
то вверх…

Запоминаются в книге «Ладони моря» и стихи о любви. Суровый Каспий наложил свой властный отпечаток и на характеры людей, живущих под палящим солнцем, даже на юную Анастасию с ее шальной любовью.

И у меня была Анастасия
Кудрявая, с раскосинкой глаза,
Красивая, как матушка-Россия,
Отчаянная Настька–егоза.

Есть в книге Николая Поливина отдельные стихотворения, написанные, на мой взгляд, несколько облегченно, но не они определяют лицо книжки. Нас подкупает темперамент поэта, его искреннее стремление помочь людям, принести добро своим землякам и родному мелеющему Каспию.

Перечту все труды академиков водных,
Все препятствия вдрызг разнесу!
Раздобуду лекарства —
Какие угодно! —
И родимое море спасу.

Так пускай же широкая поэтическая Волга и впредь питает живой водой немелеющий лирический Каспий!..

ЛИРИКИ-ДОКУМЕНТАЛИСТЫ

Для того чтобы глубже понять новые явления в современной прозе, надо изучить не только литературные «реки», но и «речки», «ручьи», без которых не бывает больших рек.

Мне кажется, надо обратиться к опыту наших непосредственных «документалистов», которые неожиданно иногда оказываются «лириками». В этом смысле характерен творческий путь известного очеркиста Бориса Иванова, чья небольшая книжка новелл «Фарфоровый аист» привлекла меня своей поэтичностью. Борис Иванов, много ездивший по свету и отлично владеющий пером публициста, на этот раз предстал перед нами как тонкий и наблюдательный рассказчик с располагающей лирической интонацией.

Лаконичными, убедительными штрихами нарисовал автор портреты бывшего венгерского слесаря, а ныне скульптора Виктора Калло. музыкантов Ахтала Имре и Альберта Кочпша, бывшего узника Бухенвальда престарелого Яна Гомолы, всю большую семью которого нацисты бросили в концлагерь только за то, что они, живя на Одре (Одере), называли себя поляками,

простой чешской гардеробщицы Божены, высмеивающей молодых тунеядцев. Трудно рождаются новые отношения между людьми. Рвет со своей невестой–мещанкой, не верящей, что чумазый слесарь может стать скульптором, молодой горячий Виктор Калло; не уходит из кооператива вслед за взбалмошной женой–стяжательницей умный, трудолюбивый Иосиф Троусил. Разбился фарфоровый аист — символ семейного счастья, и понял Иосиф, что «фарфор слишком хрупкий материал для счастья».

Одной яркой деталью, удачным штрихом Борис Иванов умеет нарисовать целую картину. Оказывается, чайки, вольные птицы, любящие высокое небо и широкие горизонты, впервые прилетели на Влтаву, в самый центр Праги, после освобождения столицы Чехословакии. Так метко схваченная деталь, пройдя сквозь сердце художника, становится символом. Любовь Иванова к трудовым людям из братских стран не может не подкупить читателя. И хорошо, что автор не срезает острых углов, хорошо, что он в первую очередь интересуется душами человеческими.

Нельзя не согласиться с Вадимом Кожевниковым, пишущим в предисловии к новеллам Б. Иванова: «Впечатляющая сила их и в том, что они строго документальны». Да, и в этом, ибо автор ищет поэзию в самой жизни. Иногда короткой динамичной новеллой удается сказать многое. В следующей своей книге «Снег на зеленой ветке» автор еще больше расширил круг своих наблюдений. В него вошла поэзия (запоминается «Новелла о стихах», посвященная рано ушедшему из жизни талантливому русскому поэту Василию Кулемину) и современная жизнь в Европе, Африке и Америке.

Как бы итоговой для лирика–документалиста является книга «Где б ни был я…». Мне хочется привести из нее всего один абзац, чтобы показать, как неразделимо для автора личное и общественное и где истоки этого лирического документализма: «Отец приехал в Москву с врангелевского фронта по военным делам всего на два дня. Это было мое последнее свидание с ним. Через год к нам, в деревянный дом на Большой Грузинской, постукивая костылем, вошел чужой дядька и спросил: «Кто жена Владимира Николаевича?» Мать испуганно отозвалась. «Погиб наш комиссар на Перекопе, — сразу отрубил незнакомец, — там и похоронен. Вот его обручальное кольцо… Возьми». А еще через три года я вновь увидал мать, с глазами, полными слез. Она, утепляя мою дырявую шубенку бабкиным платком, говорила: «Отца не хоронила, пойдем у гроба Ильича постоим… Простимся…»

Этот лаконичный абзац — целая новелла о слитности судеб человеческих с судьбой революции, новелла, волнующая своей

суровой искренностью и, если хотите, документальностью в самом хорошем смысле этого слова. В новой книге Борис Иванов рассказывает, как ленинская правда всколыхнула все уголки земного шара.

Лиризм присущ и другому талантливому документалисту Юрию Грибову — почитайте его документальную повесть «Хозяин района» в журнале «Москва» и очерк «Пора зарниц и облаков» в журнале «Октябрь», и вы сразу поймете, что имеете дело с человеком, влюбленным в простых русских людей и в застенчивую русскую природу. С начальных же строк его проза подкупает естественностью интонации и наблюдательностью: «С первой недели июля устанавливается на северо–западе душноватая, ленивая теплынь. Воздух, напоенный сладким клеверным духом, весь день стоит неподвижно, а в самую жару, когда и в тени нет спасения, заливается почти осязаемой липкой густотой. В эти полдневные часы властвует над землей усыпляющая тишина. Упадет в лопухи источенное червями яблоко, прогудит над лепестками кипрея тяжелая пчела, неведомо отчего затрепещет вдруг осина, и снова все замирает, погружается в блаженную, сытую дремоту».

Юрий Грибов, как и Борис Иванов, посвятил много новелл–очерков солдатам ленинской гвардии, солдатам революции. Они оба могут нарисовать своеобразный характер человека, сердечно рассказать о его борьбе, помыслах, судьбе.

Не так давно «Роман–газета» напечатала «Арктический роман» Владлена Анчишкина, и его уже не только читают, но и смотрят на многих театральных подмостках страны. Чем эта вещь привлекла внимание читателей и зрителей? Да своей жизненностью, правдивостью нелегких, но честных трудовых человеческих судеб, тем же самым сплавом документальности и лиризма. Герои романа — полярные шахтеры, люди думающие, мужественные вызывают уважение и любовь.

«Арктический роман» своей достоверностью напомнил мне «Далеко от Москвы» Василия Ажаева. Что же касается формы, то она особенно «прощупывается» в финале романа: с лирическим письмом героини здесь соседствует скупая радиограмма героя. Лиризм и документальность. Интересно вспомнить рассказ Валерия Осипова, кстати сказать, тоже «полярный», который так и называется «Рассказ в телеграммах». Время властно диктует лаконичную и выразительную художественную форму.

В свое время наши читатели и печать тепло встретили повесть Семена Новикова «Справедливость», полную гражданского пафоса, правильно ставившую морально–этические проблемы современности. Мне запомнился отзыв об этом

произведении Галины Серебряковой в газете «Советская Россия», который она так и назвала «Книга о справедливости»: «Язык книги Новикова хорош, точен. Диалоги острые, конфликты жизненны, волнующи, его герои — выхваченные из жизни люди».

И вот вышла в свет новая повесть Семена Новикова «Тюльпанам цвести», во многом очень родственная предыдущей вещи но позиции автора, знанию жизни, хорошей публицистичности. Если в центре «Справедливости» был коллектив журналистов, то в новой повести главной героиней является учительница литературы Анна Столярова. Автор тонко раскрывает психологию ее мужа Матвея Столярова, который самым искренним образом стремится внешне подражать секретарю обкома партии Ивану Журавлеву, человеку большой души, принципиальному и демократическому. Но Столярову не хватает в работе и в общении с людьми именно той сердечности.

Через многие испытания проходит в повести Семена Новикова его главная героиня. Нюше, бросившей работу, еще суждено стать Анной Прохоровной, преподавательницей литературы в школе. Многие хорошие люди помогут ей снова обрести себя. Но ее ждут и утраты, даже разрыв с любимым человеком. Да, настоящее призвание, дело всей жизни человеческой, требует мужества.

Мне невольно вспоминается и повесть Владимира Андреева, «Два долгих дня», правдиво рисующая будни войны. Отход наших войск прикрывают пять солдат. Автор заглядывает глубоко в их душевный мир.

Лирическая концовка оттеняет сдержанное повествование, близкое к документальности. Автор «Двух долгих дней» прошел хорошую школу журналистики. Повесть издана в библиотечке «Короткие повести и рассказы» издательством «Советская Россия». Доброе дело делает эта библиотечка. С интересом прочел я в ней и новеллы Александра Зеленова, где чувствуется неподдельный гуманизм автора, его вера в человека, в добро.

Много лет занимался журналистикой Андрей Фесенко. Он хорошо знает современное село. И вот я читаю его новую повесть «С добрым утром, Марина», где рассказывается о девушке, приехавшей в колхоз работать киномехаником. Писатель тонко уловил, как жаждет настоящей культуры молодежь в нынешнем селе. И надо сказать: образ увлеченной, ищущей главной героини ему удался.

Герои Бориса Иванова, Юрия Грибова, Андрея Фесенко, Владимира Андреева, Леонида Почивалова, Николая Сизова, Александра Зеленова активно утверждают свой взгляд на мир. Мне кажется, что рождение среди наших документалистов новых

и новых лириков — явление интересное и обнадеживающее.

НАШИ ПОИСКИ

На мой взгляд, так называемая лирическая проза объединяет очень разные, иной раз полярные друг другу по форме и содержанию произведения и вообще очень слабо исследована нашими литературоведами и критиками. Есть произведения лирической прозы, где выдержан принцип историзма, и есть такие произведения, где он отсутствует.

Первые попытки разобраться, что из себя представляет лирическая проза, в частности, повесть в новеллах, уже сделаны. Послушаем, что об этом интересном процессе в современной литературе говорят литературоведы. Несколько лет назад в журнале «Волга» была опубликована статья Б. Смирнова «Повесть в новеллах и эволюция очерка», который отмечает: «За последние годы в советской художественной прозе появился ряд оригинальных произведений на так называемые деревенские темы, жизнь в которых воссоздается не в строго организованном сюжетном полотне, а как бы в новеллистической мозаике» и ссылается на творческий опыт Михаила Алексеева, Сергея Крутилина и автора этих строк.

Интересны мысли Владимира Солоухина, написавшего предисловие к повести М. Алексеева «Хлеб — имя существительное». «Напрасно стали бы мы искать в алексеевской повести завязку, кульминацию, развязку, как этому учили нас, бывало, в школе. Писатель взял как бы крупный самоцвет и, медленно поворачивая его перед нами и ярко освещая своим талантом, показал нам каждую, его грань». Дальше он говорит о повести в новеллах как о качественно новом этапе деревенской прозы. Прав В. Смирнов, когда отмечает, что известные очерки самого В. Солоухина есть «особый, своеобразный вид художественной прозы», родственный повести в новеллах. Любопытно мнение старого очеркиста Михаила Жестева, что «очерк может входить да и входит в любой жанр — будь это новелла, повесть или роман».

По–моему, это очень тонкое и верное наблюдение. Сошлюсь на собственный опыт. Работая над «Сумкой, полной сердец», я учитывал плодотворный «багаж» очерков Валентина Овечкина и того же Михаила Жестева с его интересной очерковой книгой «Золотое кольцо». В литературе взаимовлияния — вещь обычная. Главное, чтобы они были не внешние. Так непосредственным толчком для формы «Сумки» послужила повесть известной шведской поэтессы и прозаика Сельмы Лагерлеф «Сага о Гесте

Берлинге», на которую в свою очередь оказали большое влияние гоголевские повести.

Мне кажется, ограничивать повесть в новеллах, а я бы добавил и роман в новеллах, рамками только «деревенской прозы» — неверно. Стоит только вспомнить роман в новеллах «Тронка» Олеся Гончара, который явно не влезает в сугубо «деревенскую прозу».

Мы не имеем права забывать и о богатейшем опыте русской классической литературы. Легко доказать, что создателями лирической прозы были Гоголь, Лермонтов и Тургенев. У них есть прекрасные образцы повести в новеллах («Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, ч < 3 аписки охотника» Тургенева) и романа в новеллах («Герой нашего времени» Лермонтова, «Мертвые души» Гоголя).

Наконец, вспомним опыт советской литературы довоенных и военных лет. «Разгром» Александра Фадеева и «Педагогическая поэма» Антона Макаренко — это, по существу, романы в новеллах, а повесть Николая Чуковского «Княжий угол» и повесть Веры Пановой «Спутники» — это повести в новеллах. Безусловно, все мы, авторы нынешних повестей в новеллах и романов в новеллах, сознательно или подсознательно использовали весь этот богатый опыт.

Недавно в издательстве «Знание» вышла книжка кандидата филологических наук Веры Синенко «О повести наших дней». Автор, анализируя современные повести, разделяет их на повесть–драму, где заострен сюжет («Кража» В. Астафьева, «Жив человек» В. Максимова, «Беглец» Н. Дубова, «Поденка — век короткий» В. Тендрякова и другие), на лирико–документальную повесть («Владимирские проселки» В. Солоухина, «Дневные звезды» О. Берггольц, «Мой Дагестан» Р. Гамзатова, «Люблю тебя светло» В. Лихоносова и другие), на повести в новеллах («Хлеб — имя существительное» М. Алексеева, «Белый ангел в поле» Н. Грибачева, «Лето моего детства» Ю. Нагибина, «Своя земля и в горсти мила» 10. Сбитнева и другие).

Со многими мыслями В. Синенко можно согласиться. Она права в том, что «М. Алексееву важно выявить «физиономию» селения, «характер» которого во многом определяется неким «набором» лиц и что «Ю. Сбитнев в серии новелл о жизни приокских деревень воссоздает облик народа трудолюбивого и щедрого, терпеливого и сильного».

Скажу больше. По–своему добрая, тихая тетя Ариша из повести Юрия Сбитнева совершенно не похожа на добрую и когда надо жестковатую почтальоншу тетку Арину из моей повести в новеллах, как не похожи и сбитневские герои на алексеевских

героев. Из своих жизненных наблюдений Сбитнев создал обобщенный образ приокской деревни Пешня и образы ее жителей, для многих из которых характерна привязанность к своему любимому делу. Своеобразным глашатаем, объясняющим смысл этой привязанности, является мудрый старик Лукьян Калиныч.

Однако я никак не могу согласиться с утверждением В. Синенко, что «драматическое напряжение, вызываемое событиями внутри новеллы–клетки, действует на коротком расстоянии ее длины» и исчезает бесследно. Не убеждает меня и ссылка на критика Н. Яновского: «Неизбежно наступает момент, когда произведение останавливается во времени». И дальше собственное утверждение В. Синенко: «Думается, что недостатки этой художественной формы, не так заметные первоначально из–за ее общей новизны, все более обозначаются сегодня в книгах молодых писателей…» Во–первых, новизна этой формы относительная, во–вторых, о каждой форме надо судить по лучшим образцам. Сколько в тургеневских «Записках охотника» новелл? Целых двадцать пять! Однако мы что–то не чувствуем, чтобы где–либо спало напряжение и произведение «остановилось во времени». Все зависит от мастерства писателя, от его темперамента, от желания помочь людям разобраться в сложностях жизни.

Воздавая должное скрупулезности труда Веры Синенко, мне хотелось бы бросить ей и еще один упрек: в ее работе чувствуется уравниловка, стремление всех назвать, никого не обидеть. Хотелось бы, чтобы исследователь проследил, как одни вещи повлияли на рождение других.

Из истории литературы XIX века мы знаем, как роман в стихах «Евгений Онегин» повлиял на рождение романа в новеллах «Герой нашего времени» или как лермонтовское стихотворение «Бородино» оказало влияние на толстовский роман «Война и мир». К сожалению, в советской литературе такие влияния, без которых не может развиваться ни один жанр, в том числе и лирическая проза, покуда еще мало изучены.

Сложная современная жизнь требует новаторских, синтетических форм отображения ее. Формы эти диктуются самим исследуемым жизненным материалом. Повесть в новеллах и роман в новеллах, на мой взгляд, очень перспективны, так как очень емки.

ВТОРОЕ ПРИЗВАНИЕ

Каково оно, то поколение, которому предстоит строить

города, возводить плотины, укреплять колхозы в новой пятилетке?

Мне, как и большинству моих товарищей по перу, довелось немало поездить по стране. Вспоминаются молодые шахтеры Кузбасса, беседовавшие со мной под землей, веселый электросварщик — верхолаз на новой домне, застенчивые каменщицы — десятиклассницы из Дивногорска, дружный экипаж шагающего экскаватора на Лебедянском карьере Курской магнитной аномалии, интересные встречи с молодежью в клубе Боринского сахарного завода Липецкой области, с молодыми колхозниками Новомихайловки Белгородской области…

На этих парней и девушек можно положиться. Об их думах и мечтах рассказывают первые стихи, первые рассказы в местных газетах, журналах, сборниках. На многих заводах и стройках я встречал литературные кружки и объединения. Так было в новых сибирских поселках, молодом горняцком городе Губкине и здесь, в столице.

Участники литературного объединения при заводе «Серп и Молот» пригласили меня к себе. Признаюсь, я не без волнения подходил к заводу, где полвека назад в литейном цехе работал мой отец. Более двадцати лет литобъедпнением «Вальцовка» руководит поэт Александр Филатов. Замещавший его в то время поэт Дмитрий Ковалев познакомил меня с дружной семьей заводских стихотворцев, среди которых был и Михаил Савельев.

В стихах Михаила Савельева много ярких образов, молодых сил. Широк кругозор поэта. Он с одинаковым увлечением говорит о современности и об истории родной земли. От всего, к чему бы ни прикоснулось его перо, — веет свежестью.

И ковш, как чаша с золотистым медом
Стоит в пролете,
словно на лугу.

«Веди себя, как вел в бою» — эти строки воздушного стрелка Бориса Орлова не звонкая фраза, а девиз поколения победителей.

Мне вспоминаются недавние подвиги наших людей: знаменитая четверка, не дрогнувшая в бушующем океане, молодой земляк Николая Островского, героически погибший при разминировании алжирской земли, четверка железнодорожников, ценою жизни предотвративших крушение двух поездов, московский шофер, спасший пассажиров автобуса… А наши космонавты, наши целинники? Жизнь властно требует героики.

А вот передо мной сборник стихов калининских, рязанских и смоленских поэтов, изданный «Московским рабочим» — «У истоков великих рек». Характерно признание сельского фельдшера Риммы Смирновой:

Стихи для меня не профессия.
Я с ними встречаюсь ночами…
Они,
Как родник,
Как песня,
На свет пробиваются сами.

Скромный опыт этой способной молодой поэтессы и ее товарищей говорит о том, что они избрали единственный верный путь. Они душевно, темпераментно рассказывают о родных краях, где трудятся, мечтают, любят. Если бы и некоторые другие молодые поэты, избалованные ранней профессионализацией, последовали бы их примеру — со страниц молодежных газет и журналов наверняка бы исчезли то трескучие, то манерные, то заумные стихи и поэмы.

По работе с семинаром заочников Литературного института имени Горького знаю: способный человек может стать поэтом только тогда, когда ему есть о чем сказать. И тут нельзя не согласиться с бывшим штукатуром, а нынешним калининским журналистом Константином Соколовым:

Но, уходя на стройку,
Прячем мы
Стихи,
Безвестные пока еще.
…Все новостройки
Нами начаты.
Вот мы какие
Начинающие!

И разве могут не тронуть сердца стихотворные строки тридцатилетнего председателя колхоза имени Каширина Рязанского района Вячеслава Карасева, ушедшего в село добровольцем по призыву партии:

Последний раз
над черноталом
По–вдовьи, с оханьем
навзрыд
Пурга опять запричитала
О тех, кто нами не забыт.
О тех, кого мы долго ждали
И верим, что придут назад, —
Глядят отцовские медали,
Как незакрытые глаза.

Не могу не привести и зрелые стихи смоленского диспетчера Алексея Машкова, раздумывающего о бурных событиях на нашей беспокойной планете:

Вероломством еще богат
Наш двадцатый
Ракетный век.
Коль в душе человек не солдат,
То какой же он человек?
Мы — земли
Самый яркий цвет,
Вдохновенней нас
В мире нет.
Коль в душе человек не поэт,
То какой же он человек?!

Наш народ любит поэзию, зовущую к подвигам.

В Волгограде живет обыкновенная советская семья. Коммунист Владимир Юрьевич Мордовии, потомственный военный летчик — фронтовик, подполковник в отставке, ныне ставший речником. Его старший сын, коммунист Александр, бывший суворовец, ныне летчик. Второй сын, коммунист Владимир, тоже бывший суворовец, окончил инженерно–авиационное училище. Третий сын, комсомолец Юрий — армейский водитель. Четвертый сын, Алеша, пионер, ходит в школу, мечтает стать летчиком. Это, можно сказать, семейная профессия.

Александр пишет стихи. Любовь к поэзии тоже семейная склонность: мать Нинель Александровна — автор трех лирических книг, изданных в Волгограде. В своих стихах она воспевает крылья, помогающие взлетать в небо ее мужу и сыновьям.

Я уже писал о Нинель Мордовиной и о ее стихах в «Красной звезде» и «Правде». Пожалуй, лучше всего своеобразие ее поэзии выражает стихотворение «Характер».

Меня шатало после смены:
Всю ночь заказ для фронта шел,
А дома не было полена
И ноги жег холодный пол…
Ах, вяза вязанные жилы!
А мне всего пятнадцать лет…
Лежит колода камнем стылым,
Топор звенит, а толку нет…
Я с вязом бой вела, как ратник,
И сдался мне, девчине, вяз.
Завязывался мой характер,
Крутой, как тот военный час!

Из таких характеров и складывалось крутое племя, племя патриотов. Теперь, когда даже Марс заговорил на нашем языке, мои товарищи по перу стараются нарисовать в полный рост нашего удивительного современника–творца.

Высокое чувство гражданственности — неотъемлемая часть писательского мастерства. Нашу стремительную эпоху нельзя отразить без огня революционной романтики — вот о чем думаем мы, писатели, стремясь претворить в жизнь решения XXIV съезда партии.

ОДНОПОЛЧАНЕ

После майской победы, которую мы встретили в Чехословакии, в нашем десантном соединении родилась своя строевая песня. Особенно мне врезался в память припев:

Так пусть же вьется дороженька вспыленная!
Шагай, товарищ, время нас не ждет.
Сотая Свирская краснознаменная

Прошла гвардейской поступью вперед!..

И теперь, через много лет, когда повстречаешь десантников–однополчан, мы снова запеваем нашу песню.

Мои друзья были полны самых дерзновенных мечтаний. Уралец Игорь Гаев, москвичи Ипполит Виноградов и Леонид Полищук мечтали стать художниками, обзавелись походными этюдниками, украинец Григорий Легенький и москвич Александр Васильев читали стихи с солдатской эстрады. А наш конферансье — одессит Виктор Колтенюк, сибиряк скрипач Владимир Пулин, певцы, акробаты, плясуны!..

Где–то голос пробуют певцы,
Машут гирей рослые сержанты.
Плясуны, поэты и борцы…
Черт возьми, вокруг одни таланты!
Это юность хлещет через край.
Ведь ее и танки не сдержали.
Тот задумал повесть про Дунай,
Тот боксер, тот бредит чертежами.
Все мечтами дерзкими полны.
Сколько будет Родине подарков!
Звезды той победы, той весны
И сквозь двадцать лет нам светят ярко.

Теперь уже прошло гораздо больше, чем двадцать. Где же они, участники нашей гвардейской самодеятельности, члены нашего литературного объединения? Где же он, тот, кто «задумал повесть про Дунай»?

Он был тогда поэтом, сухощавый старший сержант Иван Пантелеев. Писал стихи крепкие, разлапистые, как корни дуба. Потом его захватила проза. В стихи все не вмещалось. Еще на фронте он задумал и стал вчерне набрасывать главы повести о голубом Дунае. Потом люди читали «Голубой Дунай» Олеся Гончара, а повесть моего однополчанина осталась в его вещевом мешке недописанной.

Мне рассказывали, что Аркадий Гайдар, узнав, что у Валентина Катаева вышла повесть «Я — сын трудового народа», прекратил писать свою новую книгу о гражданской войне. И зря. Такие художники, как Гайдар, даже на «использованном»

материале создают самобытные вещи. Недаром сказано, что стиль — это характер. И я верю, что мы еще прочтем повесть о голубом Дунае моего однополчанина.

Литературный институт имени Горького, как магнит стальные крупинки, притянул много демобилизованных солдат из разных концов России. Среди вновь принятых заочников был и сибиряк Иван Пантелеев. Трудные годы работы и ученья. Помню исхудалое лицо однополчанина, вернувшегося из Владивостока. Он работал и писал в вагоне дальнего поезда. Нелегко давалась Ивану эта двадцатидневная вахта.

Прошли годы, прежде чем в далеком Абакане вышла первая книга очерков и рассказов «Человек идет по степи». Мне довелось бывать в хакасской волнистой степи, над которой возвышаются приенисейские кручи Саян. Там все особое, даже звезды и луна. И люди самобытны. В первой книжке Пантелеева удачны образы земляков и особенно сибирских ребят.

И вот вторая книжка «Тапочки», вышедшая в Иркутске. Она посвящена детям. Сколько тонкого знания психологии ребят, лукавого юмора, настоящего педагогического такта без нудной морализации и схемы! Взять хотя бы рассказ «Тапочки», давший название всей книжке. Он ведется от лица отчаянной девчонки Лорки, которая любит, «чтобы все было по правде». Вот и писатель это любит, чтобы все было по правде. Рассказ о случае в школоперерастает в большой разговор о дружбе и чести маленьких граждан. Разговор живой, убедительный. Не подражая Гайдару, Иван Пантелеев близок по духу этому замечательному романтику.

Я давно заметил: дети читают или «взрослых» писателей, или таких детских писателей, которых с удовольствием перечитывают и взрослые. Иван Пантелеев именно такой.

В Воениздате одна за другой выходят книги моего другого однополчанина — офицера Виктора Александрова. Повести «Выстрелы в степи», «Под белыми куполами», книга «Крылатые пехотинцы»… Радостно было читать в газете «Советская Россия» рассказы конструктора и неугомонного туриста Александра Васильева, которому и посвящены мои стихи, приведенные выше, рассказы сибиряка–журналиста Маврикия Резника в «Литературной России», стихи офицера запаса Алексея Старикова в «Советском воине» и кубанском альманахе, рассказы беспокойного рабочего из Норильска Владимира Ледорезова в сборниках, изданных «Советской Россией» и Воениздатом, книги пародий язвительного Михаила Глазкова, вышедшие в Ярославле. Все это наши однополчане.

Где же вы, друзья–однополчане?

Накануне двадцатой весны Победы от однополчан стали чаще прилетать письма, открытки, телеграммы. «…Весна, апрель вот уже двадцать лет мучают память видениями войны. Ты, наверное, помнишь ночные переходы по Венгрии, бои за Вену, потом предгорье Альп… Хотелось бы встретиться в День Победы», — предлагал один. «Будем же достойны тех, кто отдал жизнь за победу. Они завещали нам дружбу и борьбу за лучшую жизнь. Давайте не подведем их», — взволнованно писал другой.

И вот на моем столе лежит приглашение от горкома КПСС. Здесь, в рабочем городе, 9 мая встретятся мои однополчане, парни из Сотой Свирской. Впрочем, конечно, они уже давно не парни, а крепкие мужчины с побелевшими висками. Отсюда нас провожали на фронт…

В памяти встают еще необстрелянные восемнадцатилетние ребята, притихшие в густых северных лесах, до отказа набитых могучей военной техникой, которую мы укрыли маскировочными сетями и зелеными ветками. Стояли чудесные, таинственные белые ночи. Где–то совсем рядом холодно поблескивала Свирь. Почему–то не верилось, что ее предстоит форсировать. Лишь треск веток да назойливый гул неотступных комаров нарушал настороженную, обманчивую тишину.

Конечно, мы в то время не знали, что недавно Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин вызывал в Ставку командующего Карельским фронтом К. А. Мерецкова и приказал разгромить свирско–сортовальскую вражескую группу войск. Тогда–то Ставка и дала Мерецкову из резерва Главного командования наш десантный корпус.

Замечательные, бесстрашные парни были в нашей Сотой гвардейской дивизии. Большинство из них недавние десятиклассники, курсанты–добровольцы, москвичи, волжане, сибиряки, сыны далеких казахских степей и узбекских долин. Пожалуй, наша молодая, разноязыкая, геройская дивизия была живым олицетворением ленинского интернационализма.

— В орлиной стае не место мокрой вороне! — говорил юным солдатам высокий, бравый, горбоносый командир полка Хасан Харазия.

Солдаты его любили, еще до фронта слагали о нем легенды. Рассказывали, что Харазия позвонили из комендатуры: «Товарищ полковник! Задержаны два ваших солдата. У них не оказалось увольнительных». — «У моих? Не может быть!» — уверял Харазия. «Товарищ полковник! Пока мы вам докладывали, они исчезли». — «Тогда это наверняка мои!»

Лихой кавказец любил не только юмор, но и порядок. Поговаривали: если уж он взялся пальцами за кончик носа — даст

несколько нарядов, а если дотронется до горбинки — отпустит взысканий «на всю катушку». Харазия всегда был справедлив и требовал этого от своих офицеров. Мне помнятся его любимцы комбаты Хабеков и Калоев, горячие, неустрашимые кавказцы. Первому из них поставили памятник в Вене…

Я служил тогда в отдельном истребительно–противотанковом дивизионе, которым командовал капитан Панкратов. Истребители–противотанкисты и любили и побаивались его. «Воздух!» — негромко передавалось из усг в уста при приближении стремительного, сухощавого командира с чапаевскими усами.

Помнится, он приказал мне, выпускавшему в батарее стенгазету, и гвардии рядовому Леониду Полищуку, отлично игравшему на аккордеоне, сочинить для нашего дивизиона песню. И мы сочинили.

Мы истребители,
Всегда нас видели
Лишь впереди, там, где грохот и дым,
Работой четкою,
Прямой наводкою
Мы вражьи танки в костры превратим.

Видно, высокие, шумливые сосны под Раменским помнят эту песню. А вскоре за далекой Свирью мы и вправду увидели костры вражеских машин.

После взятия Вены наша дивизия стала краснознаменной. Чешские, словацкие, венгерские девушки слушали дружное, могучее пение четко шагающих парней с алыми звездами на пилотках.

Мы Вену взяли, мы с боем вышли на реку.
Нам всем запомнилась дунайская вода.
И командир наш генерал Макаренко
В приказе Сталина отмечен был тогда.
Так пусть же вьется дороженька вспыленная!
Шагай, товарищ, время нас не ждет.
Сотая Свирская краснознаменная
Прошла гвардейской поступью вперед.

Музыку и слова песни написал помощник командира музыкального взвода старший сержант Юрий Шпильберг, москвич. В нашей дивизии было много москвичей. Некоторые из них, побывав на Параде Победы, погостили и дома: Всеволод Котиков, бесстрашный разведчик, рабочий–умелец, а ныне заместитель председателя Киевского райсовета столицы, Леонид Полищук, ныне художник–монументалист, автор строгого и волнующего проекта памятника погибшим героям, Ипполит Виноградов, после демобилизации закончивший Строгановку и ныне там преподающий, автор впечатляющей скульптуры «Победитель», украсившей выставку московских художников–фронтовиков. Сержант Александр Васильев, написавший историю нашей Сотой Свирской. В один из недавних дней Победы он пришел ко мне в гимнастерке с медалями…

Ко мне часто заезжают однополчане. Прошлым летом из далекого татарского села Большие Ачасыры заглянул учитель Салим Абдуллин. Оказывается, венгерские коллеги пригласили его в город Кечкемет, где когда–то учился Шандор Петефи и откуда мы шли в бой. Потом я получил задушевную весточку от венгерского педагога Кароля Вамоша, в которой он благодарил меня за книги, переданные моим однополчанином.

Мои боевые друзья благодарны писателю Георгию Холопову за новеллу и повесть о наших героях Умаре Хабекове и Степане Кузакове.

Ближе всех к месту нашей отправки на фронт, работает на местной опытной станции кандидат сельскохозяйственных наук, бывший противотанкист Василий Булаев, лукавой улыбкой похожий на Василия Теркина. Помнится, как, приехав из части в Тимирязевскую академию, он сдавал экзамены сразу за два курса. А теперь наш Вася готовится защищать докторскую. Есть у нас и однополчанин, живущий в самом городе. Это генерал–лейтенант Харазия.

Добрую десантную закалку в Сотой Свирской получили многие мои ровесники. Талантливый участник фронтовой агитбригады гвардии рядовой Александр Жуков, блестяще исполнявший в паре с гвардии младшим лейтенантом Серафимой Тимониной дуэт из «Свадьбы в Малиновке», к удивлению всех, стал не актером, а чародеем современной синтетики, кандидатом технических наук. Некогда приставленный сопровождать демобилизованного офицера Симу, Саша женился на ней. Теперь Серафима Жукова, всеми уважаемый врач–окулист подмосковного города Электросталь. Земляк Тараса Шевченко, стихи которого он так любил, бывший артмастер сержант

Григорий Легенький, нынче доцент славянского пединститута. Мой друг шутит:

— Всю жизнь я хожу под началом у Макаренок: сначала у генерала, а теперь у маршала педагогических наук.

Повидались мы не в двадцатый, а в двадцать пятый День Победы: и генерал–лейтенант Хасан Харазия, и Герои Советского Союза Мурат Карданов, Георгий Калоев и Иван Щукин, и Александр Мантуров, бывший политотделец, один из старейших десантников, теперь работающий в завкоме подольского завода, и полковник Ваньков, бывший писарь, недавно окончивший адъюнктуру, и майор Ланцман, с которым мы ели из одного котелка, и сын старого большевика полковник Извеков, который года три назад с развернутым знаменем нашей Сотой Свирской второй раз форсировал памятную северную реку. Теперь уже не под вой снарядов, а под вспышки праздничных ракет: было большое народное гуляние, устроенное горкомом Лодейного Поля. Памятный значок прислали и мне. А в городе растут деревца из далекого Шушенского, посаженные боевыми товарищами.

После опубликования моих очерков о боевых товарищах в «Правде», «Красной звезде» и «Литературной газете» я получил около сотни писем. Однополчане настойчиво требуют, чтобы я написал о нашей дивизии новую «Сумку, полную сердец». Присылают дневники, письма, воспоминания… Я чувствую перед павшими и живыми себя в большом долгу. Что ж, название будущей книги уже есть — «Парни из Сотой Свирской».

ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Не знаю, взялся бы я за перо, если бы не соловьиная природа Белгородщины, ее березовые и дубовые рощи, меловые кручи, пахучие луга и огороды у Донца и маленькой Везелки, где мы в ребячестве прятались в конопле. Если бы не протяжные русские и украинские песни, бывальщины, рассказы отца о революции и гражданской войне…

Родился я в степном зеленом Белгороде в семье русского большевика и беженки–белоруски, приехавшей в германскую войну из Польши.

В годы коллективизации и позже отца часто бросали из одного конца Центрально–Черноземной области в другой. Мы жили в Грайвороне, Курске, Ельце, Грачевке, Жердевке, Боринском. Эти названия до сих пор звучат в моей памяти, как музыка.

Когда в Ельце я с букварем вошел в первый класс, молодая

учительница сказала нам, что в этой школе учились писатель Бунин, уехавший после революции за границу, и писатель Пришвин, никуда не бегавший от родной земли и ее целомудренно–застенчивой природы.

Гулкая новь врывалась в нашу мальчишескую жизнь работягой–трактором, пыльными грузовиками Каракумского автопробега, двухкрылым самолетом, кружившим над сельским лугом. Наши карманы были набиты порыжевшими патронами гражданской войны, мы рвались в осажденный фашистами Мадрид.

Народная артистка СССР С. Гиацинтова в роли Анны Генриховны. Кадр из кинофильма «Сумка, полная сердец».

Не знаю, взялся бы я за перо, если бы не мой старший брат, мои одноклассники, мои однополчане, которые писали стихи, рисовали, пели. Перелистывая свои фронтовые блокноты, я вспоминаю белую ночь перед форсированием студёной Свири, обгорелые чужие танки у степного озера Балатон, прозелень Венского леса в черном дыму и майскую радугу, расцветшую над весенней землей братьев–славян.

Стремительной победной весной сорок пятого года мои первые стихи, присланные из–за Дуная, напечатал журнал «Советский воин». К тому, чтобы я всерьез стал писать, приложил

свою щедрую руку Михаил Исаковский. Этого душевного поэта и еще колючего драматурга Бориса Ромашова я считаю своими учителями.

В меру своих сил пытаюсь следовать доброй традиции русской литературы: не отгораживать каменной стеной поэзию от прозы. Хорошей школой для меня как прозаика послужили лирическая хроника «Белгород», поэмы «Любовь моя», «Дунайская быль», «Крутогорье», «Звезды России» и другие.

Первой моей прозаической вещью была повесть в новеллах «Сумка, полная сердец», которую я вначале пытался писать стихами. Для того, чтобы поведать об одном селе Чистый Колодезь, хаты которого белеют в вишняке на границе России и Украины, мне довелось объездить немало русских и украинских сел, побывать в грохочущем карьере Курской магнитной аномалии, где рядом с нынешними демобилизованными солдатами работают фронтовики и партизаны. Захотелось осмыслить, распутать клубок человеческих судеб, рассказать, как в борении, в столкновениях с отживающим очищаются души людские. II в этом немалая заслуга Советской Армии, дающей своим сынам добрую закалку на всю жизнь.

Когда вышла моя вторая повесть «Марс над Козачьим бором», некоторые режиссеры предлагали мне ее инсценировать, не подозревая, что эта повесть выросла из драматической поэмы «Шумит дубрава». Очевидно, опыт драматурга помог мне и в прозе.

В своих книгах я стараюсь создать обобщенные образы своих современников. Так было с теткой Ариной и с другими героями–партизанами и фронтовиками из повести «Сумка, полная сердец», офицером Геннадием Колечко, Конеевыми и Ястребовыми из повести «Марс над Козачьим Бором», «Майскими соловьями» — победителями и их антиподами из романа «Вечный огонь», бывшим солдатом Шурыгиным, Белоневестннским и дочерью погибшего комбата Ниной из лирико–юмористической повести «Белая Невеста».

Старая коммунистка Ольга Румянцева, работавшая в секретариате В. И. Ленина и тонко разбирающаяся в литературе, одной из первых ознакомившись с рукописью повести «Сумка, полная сердец», неожиданно мне сказала:

— Вы, по–моему, учитесь одновременно у Шолохова и Хемингуэя.

В меру своих сил я и в самом деле стараюсь сочетать образность с лаконичностью, которую властно диктует наше время.

В работе над романом «Вечный огонь» и повестью «Белая

Невеста» мне помогли встречи с бывшими однополчанами из Сотой Свирской, гвардейцами–десантниками,. с которыми мы плечом к плечу сражались в карельских болотах и пригородах Вены. Я внимательно слежу за судьбами боевых друзей.

«Вечный огонь», посвященный живым и павшим в боях десантникам–однополчанам, я специально пересмотрел для воениздатовского однотомника «Белая Невеста», стараясь подчеркнуть главное в романе — патриотизм победителей, их верность воинскому и гражданскому долгу, их интернационализм, готовность всегда дать отпор буржуазной идеологии.

Советские воины — одни из самых благодарных читателей. Наш солдат всегда стоял и стоит на «литературном довольствии». Армия, где роднятся люди со всех концов России и других братских республик, учит и творить. Из литературного объединения, которым мне в нашей части в свое время привелось руководить, вышел добрый десяток писателей и журналистов.

Александр Фадеев в своем знаменитом романе открыл наше поколение, поколение Олега и Ульяны. И нам надлежит сказать большую правду о своих ровесниках. Дети тех, кто штурмовал Зимний, они освобождали Европу от фашизма, штурмовали рейхстаг. Этому поколению суждено было первым шагнуть в космос, поднимать целину и сибирские новостройки, воспитывать молодых солдат. И разве тут обойдешься без крылатой революционной романтики!

Еще в детстве от отца–болыневика я услышал имя одного из соратников В. И. Ленина — Николая Подвойского, председателя петроградского Военно–Революционного Комитета, одного из организаторов и строителей Советской Армии. Потом читал о нем стихи Маяковского и Тычины. Пришло время — шесть лет я посвятил сбору материала и работе над романом–хроникой «Мы были счастливы». Поездки в Нежин, Ярославль, Ленинград, встречи со старыми большевиками, работавшими с Н. И. Подвойским и его боевыми товарищами, знакомство со многими архивами… Главное — схватить дух Октября, дух эпохи, неповторимые характеры В. И. Ленина, его соратников, а также комиссаров, красногвардейцев, матросов… Я, как многие мои сверстники, с детства был влюблен в романтические фигуры солдат Октября.

Давно прошло то время, когда наша Родина была единственной страной социализма. Приветствуя съезд венгерских коммунистов, генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев подарил нашим братьям картину «Да здравствует революция!» На ней изображен В. И. Ленин, выступающий на Красной площади

перед бойцами Всевобуча. Рядом с вождем стоят его соратник Н. И. Подвойский и наркомвоен красной Венгрии Т. Самуэли, отдавший молодую жизнь за революцию. Символическая картина, овеянная духом пролетарского интернационализма. Да, они были счастливы…

Книга вышла в Профиздате к XXIV съезду партии. Для меня высшей наградой было узнать, что на московской фабрике «Красная швея» книгу «Мы были счастливы» вручили передовикам предсъездовского соцсоревнования, а в ярославской школе имени Н. И. Подвойского — выпускникам сурового сорок первого года. Дороги для меня читательские конференции в московском Доме учителя, ярославском клубе революционной, боевой и трудовой славы «Прометей», Белгородской центральной библиотеке имени Николая Островского, на знаменитой московской Трехгорке, куда весной 1918 года Ленин и ЦК прислали Подвойского на партийный учет и где Николай Ильич стоял 30 лет — до последнего своего часа…

Дороги теплые письма члена Петроградского Военнореволюционного комитета Михаила Ефремова, участника штурма Зимнего и коменданта «Золотого эшелона» Александра Вострикова, председателя Рождественского райкома Петрограда, члена КПСС с 1905 года Евгении Соловей, бывшего директора ярославской школы имени Н. И. Подвойского, старой коммунистки Екатерины Васильевой и многих ее воспитанников. По–особому меня взволновало коротенькое письмецо неизвестной мне читательницы Л. Дмитриевой из Минска: «Эта книга учит многому и самому главному: как жить, на что направлять свои силы, энергию». Должен сказать: большую помощь в работе над романом оказали мне научные работники ИМЛ при ЦК КПСС и старший редактор Профиздата Евгений Марков, в свое время закончивший аспирантуру Литинститута.

Запомнилась мне встреча группы писателей, организованная ВЦСПС и Профиздатом, с рабочими Московского завода. имени Владимира Ильича. Нас представляла секре: тарь ВЦСПС Людмила. Землянникова. Прозаики и поэты, Михаил Бубеннов, Владимир Попов, Николай Поливин, Владимир Котов делились своими творческими планами. Потом читатели из заводского коллектива сказали, что хорошо знают книги выступавших и с нетерпением ждут новых, посвященных современному рабочему классу и его славной истории.

А мне невольно вспомнилось: именно здесь, на этом заводе, в гранатном цехе, в присутствии рабочих принимал вместе с бойцами присягу в мае 1918 года Владимир Ильич Ленин.

— Я сын трудового народа!.. — неторопливо и торжественно

звучал голос Ильича.

— Трудового народа!.. — гремел гранатный цех.

Обо всем этом я рассказал в романе «Мы были счастливы». Многочисленные встречи мне очень много дали. При переиздании романа постараюсь учесть отдельные читательские замечания.

Сейчас я работаю над романом об Отечественной войне «Запах зоринских подснежников» и повестью о детстве в дни великого перелома «Жаворонок в зените». В издательстве «Советский писатель» выходит моя новая книга лирики «Есть вечная любовь».

Обобщая опыт своей тридцатилетней литературной работы, хочу сказать: очевидно, лучше у меня получаются те вещи, которые я долго вынашиваю, быстро пишу и долго шлифую. Так было в свое время с лирической хроникой «Белгород». Тот материал, который лег потом в стихотворение «Наша родословная», я еще до войны хотел использовать в большой поэме. Но время и особенно Отечественная война спрессовали эту поэму до стихотворения.

Шесть лет я собирался написать роман о судьбе тетки Арины, а время спрессовало этот роман до новеллы «Каменное сердце», вошедшей в «Сумку, полную сердец». И песню «Калина во ржи», и поэму «Дунайская быль», и комедию в стихах «Ливень», и такие большие вещи, как романы «Вечный огонь» и «Мы были счастливы», и, наконец, эту книгу я старался писать лаконично.

Так получилось, что образ родной Советской Армии со дня ее рождения до наших дней проходит сквозь все мои книги стихов и прозы. И все же я чувствую себя в долгу перед нею, перед отцом, старым солдатом, перед своими боевыми товарищами.